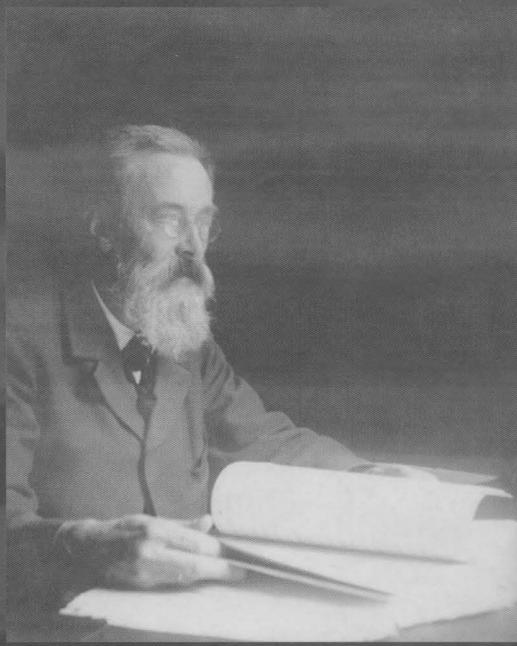


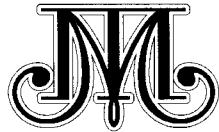
Н. А. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ

ИЗ СЕМЕЙНОЙ
ПЕРЕПИСКИ



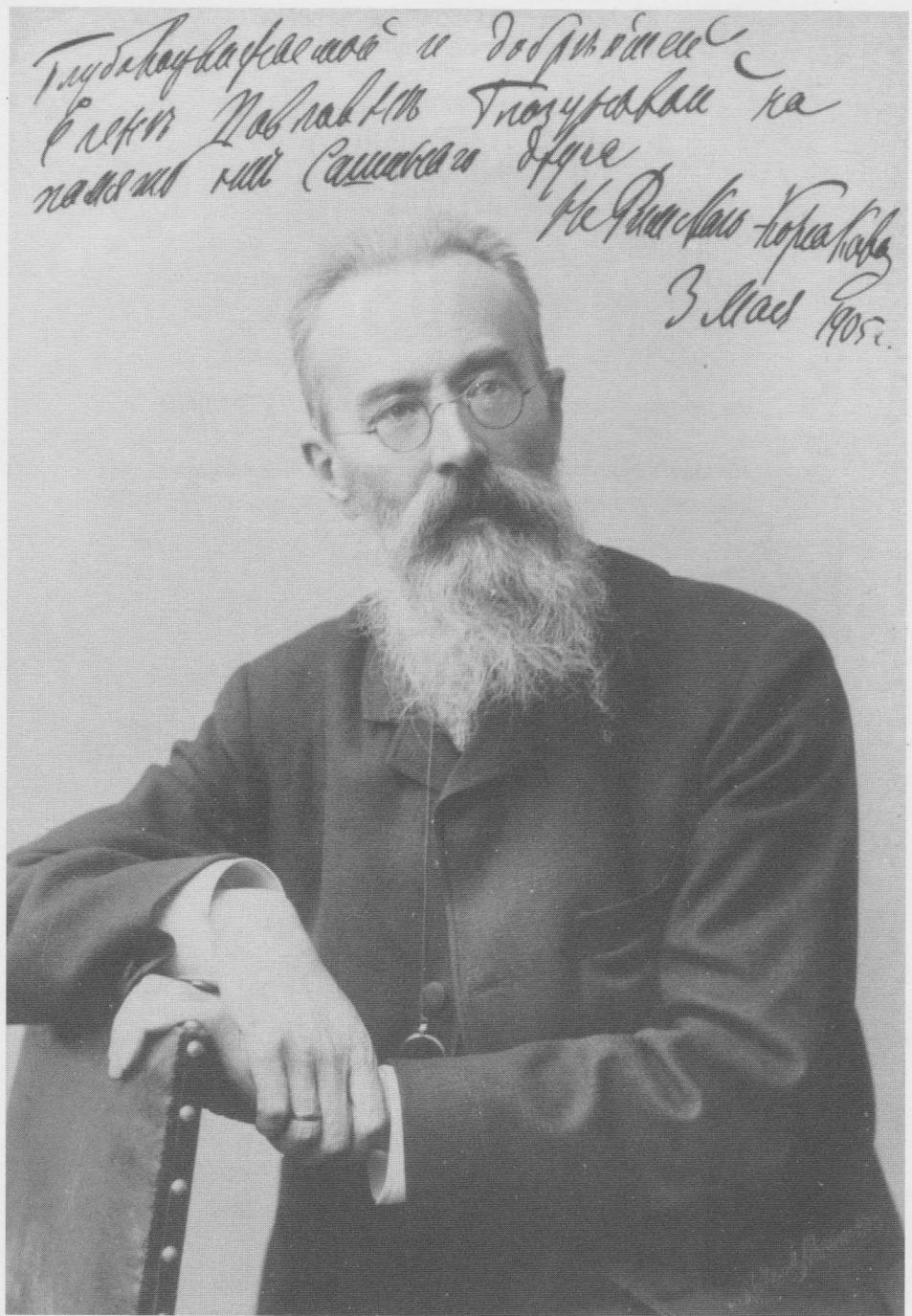
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

ГУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ ТЕАТРАЛЬНОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО
ИСКУССТВА



Программа, посвященная 100-летию СПбГМТиМИ

*Издание приурочено к 100-летию со дня смерти
композитора Н.А. Римского-Корсакова*



Губернаторской и добрым
Софии Николаевне Тюзуковой на
память от сына Сашеки ее дяди

Н. Римский-Корсаков
3 мая 1905.

Николай Андреевич Римский-Корсаков. 1900 г.

Н. А. Римский-Корсаков

*Из семейной
переписки*

По книгам

Татьяны Владимировны Римской-Корсаковой
«Детство и юность Н. А. Римского-Корсакова»,
«Н. А. Римский-Корсаков в семье»



Издательство
«Композитор • Санкт-Петербург»
2008

ББК 85.313(2)1

Р 51

Общая редакция директора Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства

Н.И.Метелицы

Руководитель проекта

Н.П.Галовко

Редактор-составитель

В.С.Фиалковский

Автор послесловия — статьи о Мемориальном музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова — заведующая филиалом *Н.В.Костенко*

*На переплете и фронтиспise использованы фотографии
Н.А.Римского-Корсакова из собрания СПбГМТиМИ*

*В книге использованы фотографии интерьеров
Мемориального музея-квартиры Н.А.Римского-Корсакова
в Санкт-Петербурге, выполненные фотографом Jaime Ardiles-Arce*

ISBN 978-5-91461-005-7

ISBN 978-5-7379-0413-5

© ГУ СПбГМТиМИ, статья, иллюстрации, 2008

© Издательство «Композитор • Санкт-Петербург», 2008

Предисловие

Эпистолярное наследие Римских-Корсаковых составляет значительную часть сохранившегося обширного архива семьи композитора. При знакомстве с ним поражаешься, с каким желанием, охотой близкие люди, разлученные силой обстоятельств, обращались к письму как к единственной возможности не прерывать родственных и дружеских отношений. Их письма — продолжение разговоров, закрепленная на бумаге устная речь с индивидуальной манерой выражать мысли. Благодаря сохранившейся переписке мы получаем живое, а потому самое достоверное и яркое свидетельство и о людях, ее участниках, и о самом времени. Эти письма по праву можно назвать произведениями эпистолярного творчества.

Младший сын композитора Владимир Николаевич Римский-Корсаков в свое время подготовил к изданию полную переписку между Николаем Андреевичем и его женой Надеждой Николаевной и составил подробный комментарий к ней. Но из отобранных им писем (более 500) опубликованы были лишь те, что представляли интерес в основном с точки зрения истории музыки (Музыкальное наследство: Римский-Корсаков. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2.). Большая часть переписки осталась неизданной.

Татьяна Владимировна Римская-Корсакова, дочь Владимира Николаевича, внучка композитора, продолжила дело отца и издала в двух книгах значительную часть семейной переписки, носящей более личный характер (Римская-Корсакова Т. В. Детство и юность Н. А. Римского-Корсакова. СПб.: Композитор, 1995; Она же. Н. А. Римский-Корсаков в семье. СПб.: Композитор, 1999). Этот труд имеет научный интерес, так как содержит обширный материал для тех, кто изучает жизнь и творчество Римского-Корсакова.

Настоящее издание объединило две книги Т. В. Римской-Корсаковой, сохранив все самое важное и интересное. Оно выпущено в 2008 году к двум знаменательным датам: 100-летию Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства (а Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова является его филиалом) и 100-летию со дня смерти композитора.

Как пишет Татьяна Владимировна, семья Римских-Корсаковых «была на редкость дружная, осененная ничем не омраченной взаимной любовью и уважением, равной родительской заботой обо всех детях. В письмах к жене Николай Андреевич неизменно спрашивал о них, посыпал им поцелуи, при этом перечень детей со временем возрастал, наподобие того как в сказке о репке прибавляются персонажи, участвующие в вытаскивании ее из земли: „Поцелуй Мишку“, „Поцелуй Мишу и Соню“, „Поцелуй Мишутку, Софьище и Андеюшку“. И так далее».

Но жизнь есть жизнь, и в ней всегда найдется место для противоречий, и чем дальше, тем они становятся заметнее и острее. В судьбе Николая Андреевича они касались, к счастью, внешних, несемейных, обстоятельств. Отражен в письмах и глубокий творческий кризис, от которого не убережен ни один художник.

Представляют интерес письма Николая Андреевича, написанные им в дни его участия в дальнем походе к берегам Америки. Описания природы, подмеченных черт быта местного населения, достопримечательностей, увиденных собственными глазами, даны им с большой точностью и выразительностью, что говорит о явной литературной одаренности будущего композитора. События, объективно уже известные, преподнесены здесь эмоционально: через описания переживаний их участников, переданные в письмах оттенки настроений. Не случайно именно Римский-Корсаков впоследствии стал автором «Летописи музыкальной жизни», уникального документально-художественного свидетельства эпохи.

Музыка, как известно, это язык эмоций. Жизнь композитора, узнаваемая нами из писем — хранителей эмоций, непосредственных реакций, настроений, — как ничто другое сближает нас с его творчеством.

В. С. Фиалковский

Часть первая



I

В СЕМЬЕ

Род Корсаковых Римских

История рода Римских-Корсаковых на русской земле насчитывает шесть веков, начиная с 9 января 1390 года, когда из Литвы в Москву прибыл Венцеслав Корсак, «...и от того Венцеслава Корсака в Московском государстве Корсаковы Римские начали принять родословия своего». Так сказано в «Генеалогии Корсаков Римских», составленной неизвестным автором в 1670-х годах.

Вскоре после прихода Корсака в Москву он и его потомки стали называться на русский лад — Корсаковыми, и в первых десяти поколениях из них и состояло генеалогическое древо, к середине XVII века уже весьма разветвленное. За различные заслуги они были жалованы поместьями на Новгородской, Калужской, Смоленской и других землях и, таким образом, распространились за пределы самой Москвы. Среди них было немало отличившихся в военных походах.

По прошествии трехсот лет со времени появления в Москве Венцеслава Корсака род его сильно преумножился, и некоторые его члены стали утверждать, что часть Корсаковых прозвываются так произвольно. С целью сохранения в дальнейшем чистоты своего рода трое братьев из старшей ветви — Григорий, Федор и Воин — подали царю Федору Алексеевичу челобитную, прося разрешить им и еще пятнадцати представителям рода, в отличие от других, писаться Римскими-Корсаковыми, как прямым потомкам подданных Римского императора. Это было узаконено повелением царя 15 мая 1677 года.

Сами челобитчики потомства не имели, ряд других ветвей от первых Римских-Корсаковых оборвался через два-три поколения, и лишь от шести из них род продолжился и существует до наших дней.

Первым представителем морской профессии в роду Римских-Корсаковых стал Воин Яковлевич Римский-Корсаков (1702–1757).

Об Андрее Петровиче Римском-Корсакове, отце композитора, известно, что он служил по Иностранной коллегии, а затем секретарем при министре внутренних дел и за верную службу был награжден орденом Владимира 4-й степени.

Мать Николая Андреевича, дочь богатого помещика Орловской губернии Василия Яковлевича Скарятина Софья Васильевна, родилась 15 сентября 1802 года в отцовском имении Троицкое, но не стала Скарятиной. Ее матерью была одна из крепостных Василия Яковлевича, и ей, как незаконнорожденной, была дана фамилия по имени отца — Васильева. Тем не менее она жила в семье Скарятина и получила прекрасное по тому времени для девицы воспитание и образование. Училась французскому языку, на котором с юных лет свободно говорила и хорошим слогом писала письма; брала уроки игры на фортепиано и пения, занималась рукоделием, виртуозно вышивала мельчайшим бисером. С детства она стала очень религиозна и, увлекшись чтением книги «Жития святых», задумала по их примеру спасаться: бежать от людей в пустыню и посвятить себя Богу. Этого, к счастью, не случилось, но под влиянием прочитанного она стала очень строго относиться к себе самой. Впоследствии она вспоминала, как в девятнадцать лет, после знакомства с Андреем Петровичем, она сдерживала себя в желании принарядиться, поправить прическу и полюбоваться на свой вид в зеркале перед приходом понравившегося ей молодого человека. Она убеждала себя, что проявлять такое кокетство нехорошо.

Скарятин, видимо, не считал Андрея Петровича, не имевшего солидного положения в обществе и располагавшего весьма скучным состоянием, партией, достойной своей дочери. Неизвестно, просил ли Андрей Петрович руки Софьи Васильевны и получил отказ или чувствовал, что отказ неизбежен, и не хотел быть им унижен, но, так или иначе, ему ничего не оставалось, как тайным образом увезти Софью Васильевну в Петербург, где они и обвенчались.

Брак с незаконнорожденной являлся препятствием для продолжения государственной службы. Андрей Петрович поехал в Царское Село к графу Кочубею, объявил о своем браке с Софьей Васильевной и просил увольнения. Граф доложил государю, и Андрей Петрович был переименован из начальника отделения в чиновника особых поручений с увольнением в отпуск бессрочно.

В семье Римских-Корсаковых Софья Васильевна была принята с любовью и уважением.

Сразу после свадьбы молодые уехали в Тихвин и поселились в доме, принадлежавшем Римским-Корсаковым с начала XIX века.

Софья Васильевна хоть и была дочерью крупного помещика, но никакого приданого с собой не принесла. Причиной тому, видимо, было ее положение незаконнорожденной, а возможно, и то, что бежала из дома и вышла замуж за Андрея Петровича против воли отца. Брак Софьи Васильевны и Андрея Петровича, однако, был исключительно счастливым, скрепленным любовью, высокой нравственностью и взаимным уважением, чemu нисколько не мешала большая разница в возрасте: ведь Софья Васильевна была на восемнадцать лет младше мужа.

Софья Васильевна посвятила себя заботам о муже и домашнему хозяйству, но не сторонилась и незатейливых тихвинских развлечений: провинциальных концертов, спектаклей, балов и визитов. Для Софьи Васильевны были характерны живость характера, любознательность, жадность ко всему украшающему жизнь, стремление к жизненной полноте в пределах их скромного быта. Любимым ее чтением были романы и стихи. Ее альбомы полны выписанных из разных изданий поэтических произведений. Она очень любила животных, и в тихвинском доме всегда было несколько собак, в комнатах летали канарейки и жил большой попугай. Особое внимание она уделяла цветам, за которыми собственно ручно ухаживала и в комнатах и в саду. Не забывала и свое любимое занятие — вышивание.

В те времена были распространены издававшиеся в виде карманничек книжечек календари-месяцесловы. Наряду с обычными календарными таблицами по месяцам, там были вставлены пустые страницы под названием «Листки для записывания добрых и худых дел наших». Они использовались главным образом для записей семейных событий и дат. В одном из сохранившихся календарей-месяцесловов из тихвинского дома Римских-Корсаковых на листке, помеченном 14 июля, имеется запись рукой Софьи Васильевны: «Рождение Воиньки. 1822». Первый сын Андрея Петровича и Софьи Васильевны, Воин (1822–1871), был назван в честь его славного прадеда.

Восьмилетним мальчиком Воин Андреевич покинул родительский дом, будучи помещен в морское отделение Александровского корпуса в Царском Селе. Проучившись там три года, он поступил в петербургский Морской кадетский корпус и, таким образом, продолжал жить вне семьи. Окончив Морской корпус в 1836 году, Воин Андреевич целиком посвятил себя морской профессии, подолгу бывал в плаваньях и лишь изредка навещал родителей.

Они жили в Тихвине тихо и мирно, иногда выезжая погостить летом в Троицкое к Скарятиным, а зимой в Петербург к Николаю Петровичу, брату Андрея Петровича. В те годы еще одним членом их семьи стал другой брат Андрея Петровича — Петр Петрович, который ранее жил с Николаем Петровичем. В Тихвине Петр Петрович поступил простым чиновником на почту. На большее он не был способен, так как в детстве сильно зашиб себе голову и почти остановился в своем умственном развитии. Это был немного чудаковатый, но очень добрый и в своих обязанностях чрезвычайно аккуратный человек. Местные жители старались свои письма отдавать именно ему, считая, что тогда они не затеряются и будут сразу отправлены.

Софья Васильевна уже перешагнула за сорок, а Андрей Петрович находился накануне своего 60-летия, когда неожиданно в их ничем не нарушающуюся, спокойную жизнь вошло значительное событие: выяснилось, что Софья Васильевна снова ждет ребенка. Перспектива иметь ребенка в таком возрасте и после 22-летнего перерыва немало смущала ее. Но она воспрянула духом после того, как ей привиделся удивительный сон: спускавшийся с небес ангел протягивал ей ярко горящую свечу. Впечатление от этого сна было столь сильным, что, будучи глубоко религиозной, она истолковала его как знамение свыше, обязывающее ее дать жизнь новому человеку. Софья Васильевна рассказала о своем сне, и кто-то из тихвинских друзей запечатлел его на одном из листков ее альбома. Впоследствии с этого рисунка была сделана фотография. Окантованная под стекло и повешенная на стену, эта картинка стала известна среди внуков Софьи Васильевны под названием «Бабушкин сон».

И невольно напрашивается мысль, что сон этот был вещим, что горящая свеча в руках ангела была провозвестницей появления яркой личности, великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, которого суждено было явить миру Софье Васильевне.

Детство Ники

Семейная переписка, касающаяся второго сына Софьи Васильевны и Андрея Петровича — Николая, началась задолго до его рождения. Из письма отца Воин Андреевич узнал о предстоящем прибавлении семейства месяцев за пять до этого и тотчас же отвечал Андрею Петровичу:

«Письмо Ваше так меня поразило, так удивило, что я не могу сбраться с мыслями, чтобы изобразить Вам чувства, взволновавшие

меня: тут смешивались страх, неведение своих будущих чувств относительно этого события и желание узнать их; все это произвело во мне такое волнение, что я долго не мог опомниться. Одно только могу сказать наверное, что тут не примешивалось ни тени какой-нибудь зависти или опасения утратить малейшую частицу той любви, которую Вы ко мне питаете.

Не хочу также лгать и говорить, что я принял это в первую минуту с радостью. Чувство братней любви так для меня ново, так незнакомо, и так мало я его разбирал в своем уме, что невозможно, чтобы оно так внезапно во мне появилось и радостно на меня подействовало. Но теперь, когда я уже начал разбирать и приводить свои мысли в порядок, то вижу, что во мне образовывается какое-то новое, незнакомое мне чувство: это не братская любовь, не дружеское расположение к равному возрастом брату, могущему быть мне товарищем и спутником в жизни, — нет, это чувство более нежное, в нем более сердечной теплоты, что-то похожее на любовь отца, на нежную почтительность наставника о своем питомце. Да, милые мои папа и мама, с какою бы заботливостью я принял участие в воспитании ребенка, если бы это был мне брат. <...> Вот мои теперешние чувства. Желаю и надеюсь, что они еще более разовьются».

Воин Андреевич, которому шел еще только двадцать второй год, писал так не из сиюминутного порыва молодого человека. Об этом свидетельствуют последующие его письма, которые посыпал родителям на протяжении многих лет этот любящий, добрый и в то же время строгий заочный воспитатель своего маленького брата. Можно лишь удивляться, сколько заботы и разумности в его письмах, вызванных стремлением участвовать в нравственном и физическом формировании и обучении нового члена семьи. Ведь сам он был тогда еще не женат и, казалось бы, вовсе не умудрен жизненным опытом.

Появление Ники, как стали называть новорожденного Николая, вызвало у родителей, давно отвыкших от присутствия малого ребенка, обильный поток нежных чувств к новому члену семьи. В своем календаре-месяцеслове на 1844 год Андрей Петрович сделал первую трогательную запись о нем на листке марта месяца: «*Ника родился 6 числа в 4 часа 53 минуты пополудни*». И далее последовали такие записи, как: «*Мать кормила его собственным молоком в течение 9 суток; а с вечера 15 числа, по невозможности продолжать, вверила кормилице Федосье*».

Через три недели после рождения Николай был крещен, для чего Воин Андреевич приезжал в Тихвин. На том же листке календаря Анд-

рой Петрович записал: «*27 числа в 7 часов пополудни совершен над ним обряд крещения. Восприимным отцом был Воин...*»

Продолжая вести записи о младшем сыне, Андрей Петрович написал на апрельском листке календаря: «*20 числа в первый раз кормили кашею*», а через три дня «*прекратили, ибо признали для него эту пищу неудобоваримою еще*». 12 июня: «*В 5 час. пополудни привита остра в три разреза на каждой ручке*». «*26 числа по болезни кормилицы Федосыи она заменена другою, от Головыных по имени Катериною*». Позднее, когда Ника уже учился в Петербурге в Морском корпусе, он не забывал в письмах домой посыпать поклоны Кате, которая кормила его почти до годовалого возраста.

Прожив некоторое время в Тихвине, старший брат Воин Андреевич сильно привязался к малышу и, вернувшись в Петербург, писал родителям: «*Что-то делает мой Ника? Твердите ему чаще об его брате, когда он будет что-нибудь понимать; а пока расцелуйте его в пух*». Если из Тихвина долго не было вестей, Воин Андреевич беспокоился, не случилось ли что-нибудь с братом. «*Давно уж я ничего не слышу об Нике, — писал он в конце октября, — требую от мамаички рапорта*». А заканчивая следующее письмо домой, он писал: «*Благодарю мамаичку за рапорт об Нике. <...> Всех вас целую и остаюсь любящий вас сын Воин*».

На декабрьском листке календаря, 8 числа, отец снова записал о Нике: «*Прорезался первый зубок спереди на нижней челюсти*». Подобные записи о появлении у младшего сына новых зубов продолжились до шестилетнего его возраста.

Интерес Воина Андреевича к брату был столь велик, что он сам испугался этого. «*Я не знаю, об чем просить мамаичку, — писал он родителям в 1845 году, — об том ли, чтоб она рапортовала мне об Нике, или чтобы перестала мне совсем о нем писать. Каждый раз, как я получаю письмо, где заключается описание его успехов... я теряю целый день в мечтаниях о том, как я приеду в Тихвин и буду сидеть вместе с Никой за столом*». Эти мечтания отвлекали его от главного дела — морской службы, которой он был настолько предан, что даже мысленные отвлечения считал недопустимыми.

Все же он продолжал интересоваться братом и переписываться о нем с родителями.

Зиму 1845/46 года Андрей Петрович и Софья Васильевна решили провести в Петербурге и прожили там девять месяцев с осени до весны. За время свидания с братом в Петербурге привязанность к нему

Воина Андреевича еще возросла, и он писал в Тихвин: «*Поцелуйте за меня милого Нику. Это истинное благодеяние этот мальчик, который вас так утешает в вашем одиночестве. Непременно привезу ему все игрушки, о которых вы пишете. Меня только пугает немножко страсть к машировке и ружью: чтоб это не имело отголоска впоследствии, особенно если его от этой склонности не отвлечь.*» И в другой раз: «*Что делает брат мой Ника? Много ли гуляет? Далеко ли может ходить? В силах ли обойти кругом монастыря? Все это меня интересует, ибо я с удовольствием думаю о том, как буду с ним гулять.*»

В два с половиной года у Ники появились первые попытки, очевидно в подражание родителям, писать письма. У него еще ничего не получалось, все же одно такое «письмо» было послано Воину Андреевичу, который в своем ответе родителям просил расцеловать маленького брата за его каракульки. «*Бог даст, подрастет, — писал он, — я ему покажу, какой он мастер был писать на третьяком году от роду.*»

Вскоре Ника сделал явные успехи и в неполных три года стал писать отдельные слова. Воин Андреевич в восторге сообщал родителям, что «*показывал всем писание Ники. Никто не верит, что он сам это написал.*»

При той нежной любви и родительской заботе и ласке, которые окружали младшего члена семьи, излишнего баловства в его воспитании не было. Домашняя атмосфера была простой и искренней, чуждой всякой деланности, проникнутой взаимным доверием и высоконравственной.

Визиты Воина Андреевича в Тихвин не были частыми, но они все же позволяли ему хоть изредка самому наблюдать за развитием брата, за формированием его характера, привычек. Это давало поводы к дальнейшим практическим советам, которые он высказывал в письмах: «*Мне кажется, не лучше ли будет совсем запретить ему приходить к вашему столу, как он это делал при мне. Он тут всегда отведывает того, другого. <...> Я не думаю, чтобы клейкое тесто „гофф“, которое он так любит, было для него удобоваримою пищею.*»

Ника рос ребенком здоровым и резвым. По мнению Воина Андреевича, это могло утомлять родителей, и он просил их в одном из своих писем: «*Скажите от меня Нику, что если он не перестанет шуметь, то я пришию каши, чтобы накладывать ему в рот.*»

Как-то Петр Петрович, любимый Никин дядя Пипос, подарил своему племяннику игрушечный барабан, который, естественно, еще

прибавил шуму в тихвинском доме. Но эта игрушка оказалась небесполезной, развивавшей у мальчика чувство ритма. Когда Андрей Петрович садился за фортепиано, Ника брал свой барабан и бил в него, попадая в такт, следуя за всеми изменениями темпа и ритма музыки, нарочно производимыми отцом. Вскоре, однако, интерес Ники к барабану пропал. По этому поводу Воин Андреевич писал родителям в конце 1847 года: «Очень похвально, что он отстал от барабана. <...> Не пора ли приучить Нику играть и возиться так, чтобы не мешать вам заниматься чтением? Мне кажется, что в его возрасте можно несколько ослабить беспрестанный присмотр, а то он, пожалуй, привыкнет к этому, и потому, когда по необходимости придется оставить его одного, то он будет боязлив. <...> Помните, что если пред вступлением в корпус или в какое-нибудь учебное заведение он будет мало-мальски робким, не привыкшим несколько управлять своими действиями, то первый шаг в общественном воспитании будет для него весьма невыгоден».

Игры и впечатления Ники не были городскими. Софья Васильевна, сама неравнодушная к природе, прививала сыну с младенческих его лет любовь к красоте природных явлений. Он заслушивался пением птиц и, лазая по деревьям, подражал их звукам. Знал названия всех растений, наблюдал за бабочками, стрекозами, жуками.

Дом Римских-Корсаковых, незадолго до рождения их второго сына несколько расширенный пристройкой с восточной стороны и сохранившийся до наших дней¹, стоит на высоком берегу реки Тихвины. Напротив дома, через реку,— Большой Успенский мужской монастырь, перед которым в то время расстился у реки огромный монастырский луг. Позади монастыря — большой массив сада. Близ дома, выше по течению Тихвины, или, как ее обычно называют, Тихвинки, тогда с оживленным судоходством, имеется шлюз, через который с шумом прорывается вода. Рядом — покрытая лесом круглая гора. На том же берегу, где дом Римских-Корсаковых, неподалеку стоит небольшая полковая церковь — каменное здание, построенное в XIX веке. Самый же дом, где рос Ника, — деревянный, одноэтажный, с мезонином и анфиладой просторных комнат с окнами на реку и монастырь. Этот дом не похож на купеческие или мещанские, каких было много в Тихвине, и даже назывался «барским». При доме был уютный сад, а за ним начинались поля и лес, в те времена дремучий, с поэтичным Царицыным озером, о котором ходила легенда, что на его берегу спасалась

¹ В 1944 году он стал Домом-музеем Н. А. Римского-Корсакова.

от шведов Анна Колтовская, одна из жен Ивана Грозного, заточенная им в Тихвинский женский монастырь.

Находясь сам в суровой обстановке военно-морской службы, Воин Андреевич считал, что ребенка надо пораньше приучать не быть белоручкой, и по этому поводу писал: «*Когда я был в Тихвине, то Ника ужасно боялся запачкать себе руки. Вы приучили его к такой опрятности, что он, бывало, если запачкает себе пальцы, то так загорюет, что иногда доходило до слез. Опрятность — дело хорошее, но не надобно, чтобы она доходила до изнеженности. Пусть себе мальчик выпачкается в чем угодно, лишь бы только вымыть его, когда он кончит свое пачкальное занятие. Теперь, летом, самое лучшее время отучить его от нежности. Заведите ему какой-нибудь рабочий балахон и пустите его в сад. Пусть его роется в земле, пусть выпачкается хоть с головы до ног, а потом его всегда можно сейчас же отмыть, и наши Ника будет вечером так же опрятен, как был грязен утром. Мне кажется, что мальчик не должен бояться пачкотни*». Это было в апреле 1848 года, когда Нике не так давно исполнилось четыре года.

Как все здоровые дети, Ника много шалил, дома умел играть один, сам себе выдумывал занятия. Например, запрягал стулья вместо лошадей, представляя кучера; надев на нос вырезанные из бумаги очки, изображал, как приходивший в дом часовой мастер разбирает часы. Он стал увлекаться и сооружением кораблей, что было, несомненно, навеяно профессией брата и чему способствовала жизнь у реки.

Воина Андреевича беспокоило физическое развитие Ники, и, когда тому исполнилось пять лет, он рекомендовал родителям использовать летнее время для укрепления организма младшего брата: «*Пожалуйста, заставляйте Нiku побольше рыться в саду да лазить на гору у шлюза. Да не пора ли уж начать купать его в реке и приучать плавать? Пользуйтесь летом для укрепления физических сил Ники. Я думаю, что теперь ему всего нужнее сильные мотивы: беготня, лазание, купанье и пр. Скажите ему от меня, что он должен в нынешнем лето выучиться влезать на гору у шлюза*».

Воин Андреевич считал необходимым продолжать физическое воспитание Ники и в зимнее время: «*Пожалуйста, побольше ему гимнастики: упражняйте и воспитывайте в нем телесную силу. Много ли и долго ли он может гулять?*»

Младший сын радовал своих родителей. Судя по записям отца и матери, в пять с половиной лет он начал учить французские слова, затем читать по-русски, к шести годам — читать по-французски. Но как

раз в этот период безмятежная жизнь тихвинской семьи была несколько нарушена размышлениями родителей и старшего сына о дальнейшей судьбе Николая. Ведь ему предстояло, как и Воину Андреевичу, поступать в какое-либо учебное заведение для приобретения профессии, чтобы материально обеспечить себя в будущем. Об этом и начались переписка между родными, когда Нике минуло пять лет, то есть когда уже полагалось определять мальчика кандидатом на обучение в том или ином заведении.

Воин Андреевич, нашедший в морской службе свое призвание, вдруг пишет родителям: «*Скажу вам откровенно, что я и желаю и не желаю, чтоб он пошел по морской службе. Не желаю, потому что покуда служба наша в таком положении, что очень немногих может интересовать.*» В том же духе и в другом письме: «*Вы, конечно, поверите мне, что, любя мою службу искренне, я старался ознакомиться со всеми ее сторонами и что, будучи в ней уже десять лет, я достаточно мог узнать, чего в ней можно ожидать для ребенка, которому бы захотели избрать ее поприщем. <...> Наша морская служба в теперешнем ее виде представляет одно из самых печальных проявлений гражданского и политического быта нашей матушки Руси. Заброшенная, покинутая во всем, что составляет ее главную жизненную силу, она подобна плоду, свежему на вид, но сгнившему внутри. Имея все данные для того, чтобы быть лучшею и почетнейшою из всех служб, она этими данными не может пользоваться, потому что лишина главного двигателя всех человеческих дарований и привязанностей — интереса. <...> Молодой человек, поступив во флот с поэтическими мечтами в голове и с надеждами в сердце, скоро и горько разочаровывается; сначала он усерден, старается узнать свое дело, ищет высказаться, но вскоре, видя, с каким равнодушием не замечают его ни начальники, ни товарищи, не видя вокруг себя ни одного примера, который бы подстрекал его к соревнованию, он постепенно хладеет и окончательно служит не более, как настолько, чтоб не подвергнуться замечанию или оштрафованию. — Где нет любви к делу, там и дело пропадает. <...> Не ставьте меня в пример: мое расположение какое-то особенное; я сам его не сознаю, ибо не вижу ему наружных причин. — В моей службе до сих пор не встречалось ничего, что могло бы приохотить меня к ремеслу, а между тем я люблю его и люблю тем более, чем дальше в нем подвигаюсь; это удача, счастье, за которое сердечно благодарю Бога и которое не ставлю себе в похвалу, потому что отнюдь не сам себе его подготовил.*

Среди прочих возможностей обсуждалось и зачисление Ники в Пажеский корпус, дававший прекрасное воспитание и образование и позволявший выбирать дальнейшую карьеру. Но обучение там стоило дорого, и сын действительного статского советника не из особо знатного рода, каковым был Андрей Петрович, не имел неоспоримого права на поступление в Пажеский корпус. Для этого требовалось еще ходатайство какого-нибудь значительного лица. Получить такое ходатайство было не от кого, денег тоже не было. Так, после продолжительных размышлений судьба Ники была решена: он должен был поступить в Морской корпус и стать моряком по примеру старшего брата, дяди и прадеда.

Обучением младшего сына занимались сами родители, главным образом Софья Васильевна. Она научила его читать и писать, ей он был обязан и своим первоначальным музыкальным развитием. Домашняя обстановка располагала к этому. Андрей Петрович часто садился за фортепиано и играл по слуху различные отрывки из опер Россини, Моцарта, Керубини, Верстовского, Глинки. Софья Васильевна пела романсы Варламова и Гурилева, знала народные русские и польские песни. Еще младенцем Ника засыпал под колыбельную песенку, которую пела ему мать. Песенка эта сохранилась, записанная позднее с голоса Софьи Васильевны.

С двух лет Ника хорошо различал мелодии песен, стал обнаруживать прекрасный слух и очень верно подпевал отцу, когда тот играл на фортепиано. К шести годам он начал подбирать мелодии и пьесы с гармонией из репертуара отца. Выучил названия нот и мог угадывать любые тона фортепиано из другой комнаты. Шестилетнего Нику стала учить игре на фортепиано Екатерина Николаевна Унковская, которая жила по соседству с Римскими-Корсаковыми. Это были обычные уроки с гаммами, упражнениями и легкими пьесами, не особенно увлекавшие ученика. Для собственного развлечения он по слуху акомпанировал попугаю Софии Васильевны, ею же, видимо, наученному петь незамысловатую мелодию.

Когда Воин Андреевич приезжал в Тихвин, Ника обрушивал на него поток вопросов о кораблях и морских терминах, за что брат прозвал его «вопросительным знаком». Воин Андреевич был разносторонне одарен. Кроме музыки он увлекался литературой и сам пробовал писать. В семейном архиве хранятся некоторые из его произведений, в том числе пять маленьких рассказов для детей. Занимался он и поэтическим творчеством. Андрей Петрович завел тетрадь под названи-

ем «Пробы стихотворства сына Воина», куда переписывал стихи, которые тот присыпал, и даже предлагал сыну показать их сведущему человеку для оценки. Но Воин Андреевич судил весьма трезво, не придавал значения своему стихотворству и не считал нужным кому-либо показывать свои произведения.

С необычайной добросовестностью посыпал Воин Андреевич ответы на все вопросы брата о вооружении кораблей и часто, для наглядности, сопровождал их рисунками. «*Если эти рисунки не поймешь сам, — писал он в одном из ответных писем, — то попроси мама́ или папа́ растолковать, а ежели и они не поймут, то я в другой раз лучше нарисую*». Воину Андреевичу, обладавшему чрезвычайно мелким, бисерным почерком, не так-то легко было заставлять себя писать крупными печатными буквами. «*Пожалуйста, — продолжал он в том же письме, — попроси мама́, чтоб научила тебя разбирать рукописную грамоту, а то мне тяжело так писать. Прощай, друг мой; да благословит тебя Бог здоровьем. Брат твой, Воин. Да пожалуйста, привучайся держать в порядке свой письменный ящик. Сам после увидишь, как это полезно*».

Лет около восьми Ника стал заниматься музыкой с другой учительницей — гувернанткой в семье Фель Ольгой Никитичной. Он разучивал с ней переложения из итальянских опер, из «Пророка» Мейербера, играл в четыре руки сонатину Бетховена. Музыкальные занятия пошли на лад.

Не только родителям, но и самому Нике твердил Воин Андреевич о пользе физического развития: «*Плаваешь ли ты? Если не плаваешь, то пора учиться. Попроси папа́, чтоб он этим занялся*». А тот продолжал задавать вопросы, просил написать, что означают термины: каболка, трос, снасть, кабельтов, канат, линь и прочее.

Неожиданно в жизни Воина Андреевича произошло значительное событие, о котором он не замедлил сообщить родителям 26 августа 1852 года: «*<...> Я назначен в экспедицию, отправляющуюся с адмиралом Путятиным к реке Амур и в Японию. <...> Меня назначают командиром пароходной шхуны, которая будет куплена собственно для этой цели в Англии*».

Плавание Воина Андреевича продолжалось без малого пять лет, и за это время он побывал в восточных пределах России, в Японии и Китае. Отовсюду, где ему пришлось побывать, он посыпал в Тихвин письма с подробными и в литературном отношении прекрасными описаниями всего виденного и пережитого.

В первом же своем письме к Воину Андреевичу на шхуну «Восток», написанном все еще крупными буквами по двум линейкам, Ника засыпал брата бесчисленными вопросами: «*Воин, мне очень хочется знать, сколько у тебя на шхуне парусов; <...> сколько у тебя якорей и как они называются, <...> в каком ярусе стены для мачт... сколько у тебя пушек на шхуне... в каком ярусе находится у тебя машина, сколько у тебя штурманов и матросов, да напиши, пожалуйста, сколько на шхуне парусов<...>*» Писал Ника и о своих развлечениях: «*У нас перед домом гора. Сбегу в реку я на ней катаясь, катая мама, роняю ее другой раз. Я катаясь на Ваниных санках, а когда мама катают, то на ее хороших санках, которые обиты: чудесная гора, но крутая, только без боков, но это ничего, кто умеет править. Няня тебе кланяется. Прощай. Ника Римский-Корсаков. Тихвин. 5-го числа 1853 года, четверг, март.*

С десяти лет у Ники появилось увлечение звездами. Еще ранее Софья Васильевна обращала внимание сына на красоту звездного неба, которое так хорошо было наблюдать в темные августовские и сентябрьские вечера из сада, а зимой из окон тихвинского дома. К одиннадцати годам он самостоятельно проштудировал популярные лекции капитан-лейтенанта С. И. Зеленого. Он запомнил многие созвездия Северного полушария и, изучив их карту, находил эти созвездия на небе. Теперь уже не Софья Васильевна учila его, а он объяснял ей, когда и в какой стороне небосклона можно видеть те или иные звезды, планеты и целые созвездия.

Музыкой Ника продолжал заниматься с Ольгой Никитичной, и довольно успешно, так что как-то раз на одном из тихвинских музыкальных вечеров он был представлен учительнице Ольге Феликсовне Фель — прекрасной пианистке, в свое время бравшей уроки у кого-то из хороших музыкантов. Она обратила внимание на одаренность мальчика и предложила его родителям, что будет сама с ним заниматься игрой на рояле. Хотя она и не была профессиональной учительницей, занятия с Никой пошли хорошо. Впоследствии Ольга Феликсовна вспоминала, что во время уроков, играя пьесы, он то что-то прибавлял свое, то не кончал, говоря, что это лишнее или что так красивее. Внутренне, может быть, и соглашаясь с ним, она для дисциплины говорила ему, что это недопустимо: «Ты не лучше композитора-автора, а потому изволь играть, как написано».

По ее отзывам, Ника был с ленцой, тем не менее, наблюдая его успехи и музыкальные способности, она настойчиво советовала роди-

телям серьезно учить сына музыке. У Ники уже был довольно обширный репертуар, так что он мог принимать участие в домашних тихвинских музыкальных вечерах. Найдя дома ноты «Песни сироты» из оперы «Жизнь за царя» Глинки, музыка которой доставляла ему особое наслаждение, он самостоятельно стал проигрывать ее.

Втайне от взрослых начал пробовать сам сочинять музыку и написал дуэт для голосов и фортепиано на детские стихи «Бабочка». Затем взялся сочинять увертюру для фортепиано в две руки. Родители же, если и видели его старания сочинять, не придавали этому значения, да и сам он видел в своем сочинении музыки просто игру. Впечатления от писем брата с рассказами о морской жизни заслоняли все остальное. Он знал, что ему предстоит поступать в Морской кадетский корпус. О подготовке к этому родители советовались со старшим сыном, который считал, что Нику надо дома готовить к экзаменам в корпус. В Петербурге же один из ближайших друзей Воина Андреевича Павел Николаевич Головин, тоже морской офицер, обещал, в случае отсутствия старшего брата, окказать младшему всяческую помощь при поступлении в корпус и принять в свою семью.

Близился день расставания Ники с родителями. Его детские музыкальные сочинения были им же самим в порыве каприза разорваны. Морская профессия, море, о котором он знал лишь по книжкам и рассказам в письмах брата, привлекали его воображение. Музыка же его не занимала, а Андрей Петрович и помыслить не мог, чтобы его сын стал музыкантом.

В МОРСКОМ КОРПУСЕ

Первый год

Ко времени поступления Николая Римского-Корсакова в Морской кадетский корпус история этого учебного заведения насчитывала уже более полутора веков. Первоначально это была Навигацкая школа, основанная Петром I в январе 1701 года в Москве. Она разместилась сначала в Замоскворечье, а затем в Сухаревой башне и соседних с ней строениях. Как сказано в юбилейном издании, посвященном 200-летию Морского корпуса, в эту школу «велено было принимать детей: дворянских, дьячих, подьячих, церковнослужителей, посадских, дворовых, солдатских и других чинов в возрасте от 12 до 17 лет». В первый год существования школы дети дворян составляли лишь одну пятую часть всех учащихся, немногим больше было детей подьячих и столько же — церковнослужителей, остальные были детьми посадских и из других сословий. Но постепенно контингент учеников стал подбираться на все менее демократичной основе, с преимуществом для детей дворян.

В 1715 году Навигацкая школа была переведена в Петербург и вошла в состав учрежденной там Морской академии. Она помещалась в доме Кикина на набережной Невы, где позднее был возведен Зимний дворец. Через двенадцать лет академия переехала на Васильевский остров в по жалованный ей Анной Иоанновной дом, ранее принадлежавший князю Долгорукову, стоявший на месте тогда еще не существовавшего здания Академии художеств. При Елизавете Петровне из этого дома, который стал тесен, Морская академия перебралась в каменный двухэтажный дом, бывший Миниха, на набережной Невы у 12-й линии Васильевского острова. С 1752 года она была переименована в Морской шляхетский кадетский корпус. Позднее здание было перестроено и расширено. В 1802 году опять произошло переименование — в Морской кадетский корпус, куда и должен был поступать Николай Римский-Корсаков.

Андрей Петрович сам привез его 26 июля 1856 года в Петербург. По рекомендации старшего сына они остановились у Павла Николаевича Головина. Николай усиленно готовился к экзаменам, а в свободное время гулял с Андреем Петровичем по городу. Отец показывал ему Невский проспект, набережные, здание Биржи, объяснял расположение улиц, вместе с сыном нанес визит адмиралу Нахимову.

К 20 августа вступительные экзамены кончились, и в «Книге регистрации воспитанников, поступающих в Морской кадетский корпус», на строке, где был вписан Николай Римский-Корсаков, появилась резолюция «принять». На экзаменационном листе были записаны следующие оценки его знаний: «По-русски читает очень хорошо, пишет хорошо, по грамматике — довольно хорошо. Арифметика на программу своего возраста — очень хорошо; знает более требуемого. География — очень хорошо, французский язык: читает весьма хорошо, переводит с французского свободно и говорит». По результатам медицинского осмотра было записано кратко: «Вообще здоров».

24 августа Николай переступил порог здания Морского корпуса, чтобы провести в нем пять с половиной лет. Привыкший к уюту родного тихвинского дома и теплу родительской ласки, он попал в холодную, казенную обстановку корпуса. К счастью, Николай мог посещать дом Головиных, во многом заменивший ему родительский.

Из первого письма к родителям: «Я уже начал съykаться с новою жизнью моей в корпусе. Мы встаем в половине шестого часу, в седьмом часу пьем чай, в 7 часов садимся за приготовление уроков, в 8 идем в классы; в 11 часов классы кончаются, в час мы обедаем, после обеда в хорошие дни нас водят гулять по Васильевскому острову. В 3 часа снова идем в классы, в 8 ужинаем, а в 9 ложимся спать, и это повторяется в одном порядке каждый день. <...>

Меня еще ни разу открыто не калотили, один кадет было попробовал, но неудачно, а прочие же не бьют, а только иногда толкнут, щипнут или подразнят, но это еще не беда. Вторая рота помещается внизу, окошки выходят отчасти во двор, а отчасти в 13 линию. Я знаю почти уже всех кадет второй роты, но ни с одним еще хорошенько не познакомился, но подружился с одним новичком, кадетом Алексеевым, как мне кажется, с очень хорошим мальчиком. В строю я стою первым во второй шеренге; ...в нашей роте находятся отделения 17, 18, 19 и 20, и я нахожусь в 19-м отделении. Вчера меня отпустили в шесть часов к Головину, и сегодня мы собираемся вечером

идти смотреть иллюминацию, которую я вам опишу. Итак, прощайте, милые мои папá и мамá. <...> Прошу вашего благословения, любящий вас сын ваш Ника».

Этим письмом началась переписка младшего сына с родителями, бережно сохранявшими письма обоих сыновей, что позволяет восстановить события тех лет.

Занятия в корпусе еще не были налажены полностью, и через день Николай снова был у Головина. Павел Николаевич решил показать ему Кронштадт и повез его туда с вечера. Вернувшись из этой поездки к Головиным, Николай взялся за новое письмо к родителям: «*Милые мои папá и мамá! Вчера я получил ваше письмо. Спешу ответить на него. <...> В прошлом письме моем к вам я обещался рассказать вам об иллюминации. Летний сад был освещен прекрасно разноцветными шарами, которые представляли фрукты на деревьях, и бенгальскими огнями, красными, синими, белыми, зелеными, так что деревья принимали эти цвета; — Биржа казалась сплошью огненною массою, где прекрасно от Летнего сада можно было различить колонны и вензель. Английский магазин был в первый раз освещен посредством газа; дума была украшена разноцветными врачающимися колоннами, а на каланче был огненный двуглавый орел. На углу Литейной в доме Кокарева были три прекрасно освещенные русские избы, у думы играла музыка».*

Посещение Кронштадта было для Николая особенно интересным. Он впервые попал на настоящий корабль и мог своими глазами увидеть многое из того, о чем в свое время выспрашивал у брата. Об этой поездке он рассказывал родителям в том же письме: «*Мы... смотрели домик Петра Великого, Саардамский, потом отправились на вооружающийся 84-пушечный винтовой корабль „Ротвизан“, на котором Штакельберг старшим офицером; он показывал мне весь корабль, видел я и гребной винт. В одиннадцать часов мы сели вместе со Штакельбергом на пароход „Луну“ и прибыли в Оранienбаум. <...> В Оранienбауме местоположение прекрасное, все горы, и прекрасные, покрытые деревьями и кустами; много мостиков, перекинутых через ручьи с одной горы на другую; тут же близко и море, оттуда виден Английский 100-пушечный корабль, стоящий на якоре у Кронштадта. <...> В шесть часов приехали в Петергоф, где тотчас же сели на пароход и на нем возвратились в Петербург».*

Вспоминая преподанные ей сыном «уроки астрономии», Софья Васильевна продолжала и в его отсутствие смотреть на звезды. Но как-

то раз, засмотревшись, оступилась и упала, зашибив ногу. Она сообщила об этом происшествии Николаю, и в конце своего письма он приписал: «*Мамá, ты, пожалуйста, гляди на звезды, но не заглядывайся и не падай.*» И тут же давал матери пояснения: «*Орион еще долго не покажется; когда он будет виден, я тебе напишу. Звезда над домом отца Петра, я тебе писал, что она называется Капелла, правее и ниже ее ты увидишь две звезды, первая из них — Альдебаран, а под ними туманное пятно — это Плеяды.*»

Вскоре Николай снова писал в Тихвин: «*В корпусе я обзавелся уже вещами. Павел Николаевич подарил мне бумаги порядочное количество, астидную доску, грифели, 15 стальных перьев, пенал для перьев, несколько гусиных перьев, перочинный ножик, прекрасную чернильницу и, наконец, книжку для расходов. Барон Штакельберг подарил мне свой атлас Российской империи.*

В этом письме он рассказывал и о прогулке по Петербургу, совершенной им в обществе Олафа Романовича Штакельберга на другой день по возвращении из Кронштадта: «*Позабыл я вам описать нашу прогулку, превосходящую все прогулки с папá. Я с бароном отправился на Московскую железную дорогу, там положил письмо в кружку; оттуда мы прошли по Невскому проспекту до Аничкова моста и повернули влево по берегу Фонтанки, дошли до Измайловского моста и по Вознесенской к дворцу Марии Николаевны, оттуда в Большую Морскую, на Невский проспект, в Луговую Мильонную, по берегу Мойки до Фонтанки, по Пантелеймоновской на Литейную, оттуда на Фурштатскую, затем к М. Зальцман, потом по Литейной на Невский проспект, по Невскому проспекту до Аничкова моста и по берегу Фонтанки домой. Я мерил по карте по масштабу, и оказалось, что мы прошли ровно шестнадцать верст; после этой прогулки я не чувствовал никакой усталости.*» Беспокоясь о матери, он добавлял: «*Что, прошла ли у тебя нога, мамáичка, гляди на звезды, но не падай.*» И в заключение письма: «*Я опять сегодня у Головина и в восемь часов пойду снова в корпус, чтобы в девять часов быть там. <...> Прощайте, милые мои папá и мамá. Прошу вашего благословения, всегда любящий вас сын ваш Ника. Петербург, 2 сентября 1856 года.*

С этого времени занятия в корпусе приняли регулярный характер, и кадет стали отпускать за корпус раз в неделю — в субботу, а иногда и с пятницы до воскресенья.

Каждую неделю кадетам выставляли отметки по всем предметам по 12-балльной системе. «*Покамест науки мои идут успешно,* — писал

Николай домой 9 сентября, — на неделе я получил из арифметики — 11, из алгебры — 11, из французского — 10, из географии — 10, из русского — 8. <...> Нас начали учить английскому языку; я уже знаю некоторые слова и могу составлять фразы. Покамест английский язык мне кажется очень легким».

Назначенные родителями карманные деньги, которые передавал Николаю Павел Николаевич, были весьма невелики. «Я аккуратно записываю расход и сегодня получу от Павла Николаевича двугривенный на неделю», — сообщал он в том же письме и затем снова обращался к Софье Васильевне, которая жаловалась, что не может найти на небе звезды, что их совсем не видно. «Когда звезды будут видны, — утешал ее сын, — то ты, надеюсь, повторишь мои уроки астрономии, т. е. прощешь мои письма к тебе и возьмешь карту и отыщешь опять созвездия». Кончая свое письмо, как обычно, просьбой о родительском благословении, Николай приписал: «Любезный мой дядя, очень я рад бываю получать от тебя письмо; ты меня спрашиваешь, начали ли меня учить фронту. Да, я уже знаю, как надо стоять, знаю все повороты и начинаю маршировать учебным шагом. Ружья еще долго мне не дадут».

Скудость средств да и собственные скромность и неизбалованность не позволяли ему быть расточительным. В следующем письме, поздравляя Софью Васильевну, он писал: «День рождения и день именин мама я отпраздную тем, что вместо трехкопеечной булки я куплю булку с маслом в 4 копейки».

Кроме занятий в корпусе Николай начал брать уроки музыки у учителя, нанятого по распоряжению Воина Андреевича, считавшего это необходимым для общего развития брата. Этим учителем стал виолончелист Александринского театра Улих, сам владевший фортепианной игрой не блестяще и оказавшийся педагогом весьма заурядным. Все же кроме обычных упражнений он давал своему ученику разучивать различные пьесы, разбирать некоторые оперы. «Сегодня я иду брать первый урок на фортепиано...» — писал Николай в Тихвин 16 сентября.

Приученный матерью наблюдать за всеми явлениями природы, он и в городе следил за ее изменениями и делился своими впечатлениями с родителями: «Пока я жил в Тихвине, мне думалось, что широкая река, подобно Неве, некрасива, узкая Тихвинка — лучше; но теперь я очень полюбил Неву. Погода теперь у нас непостоянная, то солнце, то дождь, в Мойке вода довольно высока. Деревья начинают желтеть и лист падать, многие деревья еще совсем зеленые, и это большая часть, но некоторые уже сделались совсем красными или желтыми,

на Александровском бульваре многое осыпалось листьев; вообще погода стоит осенняя, только некоторые дни напоминают минувшее лето, но только уже не теплом, а безоблачным небом».

Прошла еще неделя, появились новые впечатления. О них Николай сообщал домой: «*Милые мои папа и мама! <...> Сегодня нас водили в залу и там в одной шеренге построили прилежных за эту неделю, а в другой — ленивых. Директор и Зеленый благодарили и хвалили прилежных и делали выговоры ленивым. Я был прилежным в неделю из трех предметов: из истории, французского и русского языков, и получил за неделю 10 средних баллов и раз был записан на хорошей доске».*

В Морском корпусе в классах были заведены доски, разделенные красной линией на две части, на которых каждый день записывали на правой — ленивых, то есть тех, кто получил от 0 до 2 баллов; а на левой — прилежных, получивших от 10 до 12 баллов. «*Меня директор погладил по голове, — продолжал Николай, — и потом, обойдя всех прилежных из трех предметов, поклонился нам и поблагодарил нас*. Младших кадет награждали за прилежание яблоками и грушами. На первом же месяце обучения удостоился такой награды и Николай, о чем не замедлил сообщить домой: «*Вчера в корпусе после обеда получил от директора три яблока, как и все, которые были на этой неделе прилежными. Раздавал директор яблоки: кто из скольких предметов был прилежным, тот получал столько яблоков*».

В дни больших праздников того времени занятий не бывало. Кадеты были отпущены 1 октября на три дня по случаю коронации Александра II. Заботами Павла Николаевича Николай смог попасть в Зимний дворец, из окон которого увидел много интересного. «*В 11 часов мы отправились во дворец смотреть на процессию, — писал он домой. — Я видел все прекрасно... все кареты проехали мимо окошек... шествие начиналось и оканчивалось войсками. Вчера мы ходили на иллюминацию. Хорошо был освещен Почтамт, Английский магазин посредством газа и Главный штаб; но иллюминация, устроенная хорошо, горела бурно — был сильный ветер, и притом полная луна так и светила и блестела*». Писал Николай и о своих успехах: «*Вчера я получил от директора шесть яблоков, три за то, что на неделе я был прилежным из трех предметов, а другие три потому, что записан на красную доску в классе за целый месяц. <...> На красную доску в классе записывают тех, которые за месяц имели не меньше 8 средних баллов, я получил их за месяц 9,55, потому меня и записали. Но на*

красную доску в роте попадают только те, которые прекрасно учатся и имеют 12 баллов за поведение и за фронтовую службу 9 баллов».

Николай писал домой очень аккуратно, за редким исключением, каждую неделю, когда с субботы на воскресенье приходил к Головину. О Тихвине и родном доме Николай вспоминал постоянно. Родители тоже не забывали писать младшему сыну, посылая свои письма на квартиру Головина так, чтобы он получал их, приходя к Павлу Николаевичу по субботам. Отсутствие в очередной раз письма от родителей взволновало его: «*Петербург, 21 октября 1856 года. Милые мои папа и мама, что это значит, что я, прибыв к Павлу Николаевичу вчера вечером, не застал вашего письма?*

Здесь же Николай рассказывал о заведенном в корпусе новом порядке: «*Встаем мы в шесть часов, в 1/2 седьмого идем в залу пить чай, после чего надеваем шинели и идем гулять до 8-ми часов по улицам во фронте; в 9 часов идем в классы, в 11-ть возвращаемся и все идем в залу на гимнастику; в час идем обедать; после обеда нас водят всех вместе на парадный двор играть до трех часов, в 3 часа идем в классы, приходим назад в роту в 6 часов; тогда идем на гимнастику до 8-ми часов; в 8 часов идем ужинать; после ужина опять надеваем шинели и идем гулять по улицам; в 9 часов возвращаемся и идем спать. Один раз в неделю бывает фронтовое ученье и один раз танцевальный класс; через неделю ходим в баню. <...> Вчера было два месяца моего пребывания в корпусе, и в четверг будет три месяца со времени моего выезда из Тихвина.*

Через неделю Николай писал: «*В пятницу я получил ваше письмо, милые мои папа и мама, в котором был очень рад найти портрет твой, папа, очень благодарю тебя за этот подарок, всегда мне его будет очень приятно видеть*». В этом письме он выписал все свои баллы к концу октября: «*Закон Божий 9, 10; арифметика 12, 12, 12; алгебра 12, 12, 12, 10; история 11, 11, 12; география 10, 11; русский язык 10, 10, 11, 11; французский 10, 11, 11; английский 10, 10, 10, 9, 10; из чистописания средних баллов 7, а из рисования — 9.*

Если за прилежание кадет награждали яблоками, то за плохое поведение наказывали, часто бывало даже секли. Такому жестокому наказанию Николай не подвергался ни разу, но, как он сообщал далее в этом же письме, «*из поведения — стоял под лампой 6 раз; хлеб и щи — 3 раза; стоял в классе в углу 3 раза; в коридоре 1 раз. Вчера мне прибавили один балл в поведении, так что я теперь имею 10 баллов*.

Получив такие сведения о поведении сына, родители встревожились, но в следующем письме он объяснял им: «Вы меня спрашивали, за какие проступки я стоял под лампой и проч. Это самое обыкновенное наказание за то, что долго не спишь и разговариваешь, за то, что пуговица оторвана, опоздаешь к фрунту или заговоришь в классе и т. п., за школьничество и драку. Стоять под лампой — все равно что стоять в углу. Раз за то, что читал постороннюю книгу, во время перемены класса встал на скамейку, это увидел офицер. Вот и все».

«На этой неделе, — писал Николай домой, — я был прилежным из шести предметов и получил шесть яблок и две груши за красную доску, на которой остался опять». Он не забывал полюбоваться звездами, которые в те времена и в городе бывали хорошо видны. «Приснувшись ночью у Павла Николаевича, — заканчивал он письмо, — и поглядев в окно, я увидел, к моему удовольствию, созвездие Ориона, Ригеля, Пояс Якова, Сириуса, Проциона, Кастора и Полукса, Регула и все те звезды, которыми мы так любовались с тобой, мама, в Тихвине в прошлую зиму, глядя из окошка в зале. Сириус и Процион, а также и красный Марс в созвездии Льва, куда он теперь перешел из Девы, сильно блестели. Прощайте, милые мои папа и мама. Прошу вашего благословения, любящий вас сын ваши Ника. Петербург, 11 ноября 1856 года». Последнюю страницу этого письма Николай посвятил дяде и тут же нарисовал план помещений роты.

С ноября месяца кадет стали рассаживать в классах по их успехам. «Кто получил более всех средних баллов, того сажают первым по классу, — сообщал он родителям 25 ноября. — В классе я посажен вторым». Тут же он добавлял, что был дважды посажен «на хлеб и щи за то, что немного рано, прежде команды вошел в столы».

В следующий раз кадет отпустили по случаю праздника Сретенья с пятницы. «В это время мне было очень весело, — писал Николай домой, — потому что я с Павлом Николаевичем был в цирке, который близ Александринского театра. До сих пор я и не воображал, чтобы человек мог быть до такой степени ловок, как те люди, которых я там видел. Кости у них, кажется, как будто из резины». Он с восторгом сообщал родителям о жонглерах, канатоходцах, клоунах-гимнастах, дрессированных лошадях и собаках: «Всего я вам не могу описать, нет места, да и невозможно все это рассказать на словах так, как оно в самом деле было. Прощайте, милые мои папа и мама. Прошу вашего благословения. Любящий вас сын ваши Ника Римский-Корсаков. 3 февраля 1857 года».

В день рождения Николая, 6 марта, когда ему исполнилось тринадцать лет, состоялось столько раз напрасно ожидавшееся посещение Морского корпуса Александром II. В который раз был наведен порядок, и кадет одели в парадную форму, царь все не появлялся. «Как нарочно, лишь только... мы начали переодеваться в старые платья, чтобы идти в классы, — продолжал Николай свое письмо, — как отдано было приказание остаться в новых мундирах, потому что приехал государь; тотчас же скомандовали „по кроватям“, а потом и „во фрунт по дивизионному расчету“». Оставшись доволен осмотром, царь велел распустить кадет до следующего дня.

Как и в других заведениях, где воспитанники и учились и жили, в Морском корпусе кадетам полагалось соблюдать все религиозные ритуалы и перед Пасхой говеть, исповедоваться и причащаться. Для этого отводилась четвертая неделя Великого поста, о которой Николай писал домой: «Вся прошлая неделя для нас была праздничная, классов не было, полагалось фруктовое ученье два раза в день, но оно было в понедельник и во вторник по одному разу, а в остальные дни совсем не было, ходили только в церковь к обедне и вечерне и все прочее время ничего не делали, шлялись по коридорам и дворам».

В эти дни Николай вспоминал Тихвин, посещения с родителями и дядей церковной службы в Успенском соборе Тихвинского мужского монастыря, родной дом, предпраздничные хлопоты: «Христос Воскресе! милые мои папá и мамá. Вот уже и Светлое Воскресенье. Вероятно, вы, как и прежде, уже занялись приготовлением к Великому Празднику, красите яйца, а Афанасья варят их, печет кулич, делает пасху, а я проведу праздники у Павла Николаевича и побываю на Святой у Волховских и Абсолешевых. <...> Подумаешь, как скоро время идет, кажется, недавно я только что сюда приехал, между тем как я уже здесь восемь месяцев; уж скоро и опять экзамены... учителя уж раздают билеты для экзаменов, но это по обыкновению не обойдется без плутовства со стороны кадет; так, например, все четные билеты вырежут из бумаги с гербами и нечетные без гербов, так что кадет и учит одни какие-нибудь билеты, или четные, или нечетные, и приготовляет их, и на экзамене они и берут, если выучили четный билет, то с гербом, а если нечетный — без герба. <...> Каждое письмо я хочу вас спросить об канарейках, здоровы ли они все, так же ли летают по комнатам и садятся к мамá на голову и на плеча и много ли их; я позабыл уже всех их названия, помню только Эри, Маню, Алексу, Мэри, Пипоса, а прочих совсем позабыл».

С наступлением весны Николай стал острее чувствовать тоску по всем любимым тихвинским местам. «*Вот уже и месяц май скоро наступит*, — писал он 28 апреля. — *Погода у нас стоит прекрасная, в саду у церкви Николы Морского трава зазеленела. Я думаю, что и у вас в Тихвине показываются почки на смородине, и расцвели фиалки, и скоро расцветут тюльпаны и нарциссы.*

Первые для него корпусные экзамены начались 3 мая. «*Вот, слава Богу, один экзамен свалился с плеч благополучно, милые мои папа и мама*», — сообщал он родителям через день, — из русского языка я получил одиннадцать». Затем он сдавал экзамены по арифметике и получил за задачи 11, а за устный ответ 12; по закону Божьему — 11, по истории — 12.

Готовясь к экзаменам, Николай не переставал мечтать о родных местах и писал домой: «*Я с нетерпением жду от вас известий о том, что с кем я поеду в Тихвин и когда это будет. Я воображаю то время, когда приеду в Тихвин, первую радость, прогулки... в которых будут принимать деятельное участие мама, дядя, воображаю землянику или любимую дядей малину, грибы, тебя, мама, варящую в саду варенье или поливающую цветы; купальню и купанье в ней с папа и дядей, наконец, Буку, Шафику, Серко, или, как называет его Варвара, Тымонею толстым, Матроску, корову, куриц, твою, мама, кладовую. Большой сад, елку, березу, клубнику, смородину, малину, рябину, иву, акации, цветочную и картофельную яму, капусту, картофель, свеклу, укроп, брюкву, репу, морковь, которые я так любил; Иванову траву, что росла за огородом, коноплю, которую прошу тебя, мама, немного посеять в ненужном уголке Большого сада, сирень, тюльпаны, нарциссы, фиалки, гвоздики, георгины и проч; наконец, овес, который посейн в огороде, бабочек, жуков, пчел, мух, слепней, комаров, шмелей, стрекоз, кузнецов и проч: Я все это воображаю, как будто я в Тихвине. Скорее бы туда. Когда вы будете ко мне писать, то более всего описывайте садов и вообще растительность и насекомых и проч. Но все мысли мои, которые я вам описал, утихают, когда подумаешь о том, что как и с кем я поеду, да отпустят ли меня, да выдержу ли экзамен и т. п. Итак, прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, любящий вас сын ваш Н. Римский-Корсаков».*

Остальные экзамены — по географии, алгебре, английскому и французскому языкам — Николай сдал тоже хорошо. «*Слава Богу, экзамены кончились благополучно и препятствия к отпуску нет, милые мои папа и мама*», — писал он в Тихвин 22 мая. — <...> Теперь стараюсь

как можно более прилежать к фронтовой службе, забочусь о своей стойке... чтобы Павел Яковлевич не сказал мне замечания и не прибавил к этому, что не отпустит в отпуск. <...> Следовательно, я с вами скоро увижу после десяти месяцев разлуки с тобой, мама, и почти девяты — с папа. Как, я думаю, будет весело всем нам, когда я приеду в Тихвин. Желаю я, как бы скорее это сбылось. Не знаю, услышу ли я того соловья, который поет за госпиталем; и его, вероятно, поймает, если еще не поймал, птицелов. <...> Напишите, пожалуйста, высока ли у вас трава, распускается ли черемуха, береза, осина, рябина, дуб, бузина, клен, липа, акация, смородина и проч. Теперь, должно быть, самое приятнейшее время в Тихвине. В Большом саду трава усеяна желтыми цветочками цикория и куриной слепоты, душистой кашкой или клевером, калина цветет, а по улицам летают желтые, а по садам пестрые и малиновые бабочки, и, я думаю, по вечерам всегда можно слышать пение ласточек, малиновок, жаворонков и проч. Надеюсь, что скоро все это услышу и увижу, приехав в Тихвин. Но, конечно, для меня главное будет свидание с вами. Прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, любящий вас сын ваш Н. Рим.-Корсаков».

Мечта его осуществилась: после сдачи экзаменов он уехал в Тихвин, чтобы провести все лето с отцом и матерью, насладиться атмосферой родного дома и жизнью среди любимой природы.

Как же трудно было ему снова со всем этим расставаться, когда в середине августа пришло возвращаться в корпус.

Вернувшись в Петербург он писал в Тихвин: «<...> Жду с нетерпением вашего письма. Я нахожу очень большое удовольствие с вами беседовать. Что-то вы поделяете теперь? Должно быть, папа почивает и скоро встанет. Дядя тоже, а ты, мама, сидишь и вышиваешь в пяльцах, или ты шьешь, и папа тебе читает. <...> Вероятно, вы напишите ко мне сегодня... Прошу вас, рассказывайте обо всем, что слышите, пишите мне наставления, замечания свои надо мной; напоминайте мне почаше о пользе, для которой я сюда приехал, о том, что не годится в мои лета сидеть за печкой дома, что не надо так думать, как говорят маленькие дети в „Овсяном киселе“, и чаще наблюдать звезды, мама, и этим вспоминай меня. А ты, папа, вероятно, не играешь на фортепиано, а я бы желал этого и стал бы каждый день слушать, не услышу ли отсюда? <...> Вспоминайте, как было и я с вами пел. Почаше пишите. Прощайте, милые мои папаичка и мамаичка, прошу вашего благословения, остаюсь нежно любящий вас сын ваш Ника Римский-Корсаков. С Петербурга. 15-го августа 1857-го года».

Увлечение оперой

Занятия в корпусе шли своим чередом, Николай получал хорошие баллы. Об уроках музыки с Улихом он писал: «*Не знаю еще, остался ли он мною доволен, потому что я играл одни гаммы да „Весталку“, в которой он нашел несколько ошибок, которые я исправлю и которые происходят от неосмотрительности и от невнимательности.*» Эти уроки не особенно увлекали его. Но вскоре произошло событие, открывшее ему совершенно новый мир музыки. Головин повел его в театр слушать оперу.

«*Много есть о чем рассказать, — писал он в следующем письме. — Павел Николаевич доставил мне удовольствие быть в Русской опере в театре-цирке. Там давали “Indra” (Индра), перевод с немецкого, музыка Флотова, в трех действиях с танцами.*» В ту пору русскую оперу, то есть на русском языке, давали как в Большом театре, стоявшем на месте современного здания консерватории, так и в театре-цирке — на той же площади, напротив, позднее перестроенном в Мариинский театр.

Первый в его жизни оперный спектакль произвел на Николая впечатление больше всей постановочной частью, нежели музыкой. Он подробно описывал родителям все, что происходило на сцене в каждом действии оперы, его поражали декорации, костюмы. Уже через день он снова был с Головиным в опере, на этот раз в Большом театре. Перед тем как отправиться в театр, он писал в Тихвин: «*Но представьте мое удовольствие, когда сегодня я поеду в Большой театр в оперу. Дают “Lucia di Lammermoor” (Лучию), музыка Доницетти, в трех действиях. Оркестр состоит из 86 человек музыкантов под управлением Бовере.*» В приписке к дяде он продолжал: «*Сегодня я поеду в театр! Увижу Лучию, услышу огромный оркестр и тамtam. И увижу, как капельмейстер махает палочкой. В оркестре 12 скрипок, 8 альтов, 6 виолончелей, 6 контрабасов, 3 флейты, 8 кларнетов, 6 валторн и проч. в том же духе.*»

Итальянская музыка произвела на него значительно большее впечатление, чем музыка Флотова. В следующем письме он поздравлял Софью Васильевну с днями рождения и именин и, кроме того, рассказывал о «Лучии». Подробно описав постановку оперы, он писал далее: «*Декорации были прекрасные, а музыка и того лучше. <...> Мне понравился тенор г-н Манжини, баритон г-н Бартолини, и все другие голоса были тоже хороши; но главное, мне понравилась музыка (сочинение Доницетти), в которой есть прекрасные мотивы; мне понравилось очень соло на арфе, игранное г-ном Шульцем, не говорю уж об оркестре;*

он так хороши! <...> В опере участвовали семь человек, кроме не показанных в афише, как-то: хористов, которые представляли солдат, гостей, пажей, народ».

Описание декораций занимало в письме Николая все же больше места, чем отзыв о музыке, и Софья Васильевна решила, что постановка спектакля и была главным, что увлекло его в «Лучии». Но он объяснял ей: *«Ты совсем ошибаешься, мама, думая, что декорации меня больше заняли, чем музыка; отписав декорации, я не мог же отписать тебе музыку, я мог только сказать, что она мне понравилась. Если б были фортепиано, которых звук достигал бы вас, то я сыграл бы вам два или три мотива, которые я запомнил; не писать же мне в письме эти мотивы в нотах, да если б я и написал, то никто из вас не сумел бы их разыграть. <...> Скажите дяде, что я очень сожалею, что он не слыхал ударов в литавры и тимпан, бряцание тарелок и звона треугольника да звука погребального колокола в Лучии».*

Именно с «Лучией» Доницетти оперная музыка вошла в душу юного Николая Римского-Корсакова, покорила его на всю жизнь. Через некоторое время, придя к Головину, он снова писал родителям: *«Теперь, сидя за бюро, я пишу к вам, между тем как шарманка на улице играет дуэт из Лучии, который я с удовольствием сыграл бы на фортепиано, если б были ноты; вообще, если б у меня были деньги, я бы купил в магазине эту оперу, которая мне так понравилась в оркестре. Не знаю отчего, только многие мотивы в ней казались ужасно знакомыми, как будто я прежде играл их; между тем ни у меня, ни у Ольги Феликсовны] нет нот из Лучии, одним словом — я тебе, мама, признаюсь, что мне ужасно хотелось бы иметь эту оперу, да нет, негде ее достать, разве купить в нотном магазине».*

В середине сентября вернулся из долгого плавания Воин Андреевич. «Воображаю вашу радость, — писал Николай родителям, — когда вы узнали, что Воин в Копенгагене, и, может быть, на нынешней неделе я обниму его». Воин Андреевич пришел в Кронштадт 16 сентября уже не на шхуне «Восток», а на корвете «Оливуца», которым стал командовать на обратном пути, получив звание капитана второго ранга. На следующий же день он навестил брата, проведя с ним всего лишь минут двадцать, и снова уехал в Кронштадт. Но вечер ближайшей субботы и все воскресенье братья провели вместе.

Свидания братьев стали частыми. Когда Николая отпускали на воскресенье «за корпус» и он шел к Головину, туда приезжал из Кронштадта и Воин Андреевич.

Интерес его к оперной музыке не ограничивался «Лучией», хотя ей он и отдавал предпочтение. По нотам, которые удавалось достать у кого-либо из петербургских знакомых, он самостоятельно разбирал на фортепиано оперы Мейербера, Беллини, Флотова, Россини. В том же письме он сообщал, что ходил к сестре Павла Николаевича Праксевые Николаевне Новиковой и взял у нее, чтобы разбирать, ноты некоторых опер. *«Буду их играть, но все-таки из ее нот, то есть опер около десяти, мне нравится Норма да Лучия, слышанная мною. Учу теперь на память дуэт, сектет и арию сумасшедшей из Лучии, чтобы если, Бог даст, я приеду на Рождество, то вы бы услышали их, и я желаю, чтобы и папа выучился играть их. Все легко, только в сектете левая рука должна быть поворотливее той, которую имеет папа, и не должна слушать правой. Ты не поверишь, как я люблю разбирать оперы и, напротив того, фортепианные пьесы не люблю играть. Мне кажется, они такие скучные, сухие; а оперу играя, воображаешь, что сидишь в театре, слушаешь или даже сам играешь или поешь, воображаешь декорации, одним словом, что ужасно весело».*

Софье Васильевне удалось найти у одной знакомой ноты с переложенными для фортепиано отрывками из «Лучии», и она незамедлительно переслала их сыну. *«Благодарю вас за ноты, принесшие мне много удовольствия, — писал он в Тихвин неделю спустя, — мотив, который мама указала на 12-й странице, я знаю, его-то и играет каждое воскресенье шарманка, и теперь она наигрывает его под окном. Еще нравится мне сектет, помещенный на восьмой странице, но он слишком вафьеван в этой пьесе и еще притом с 5 бемолями и потому очень труден. А если его сыграть так, как я его играю, а именно с одной диезой и без вариации, то он гораздо мелодичнее и лучше играется; также хороша Ария на второй странице. <...> Могу вам сказать, у меня страсть сочинять что бы ни было, и статьи, и ноты, одним словом, что попало. <...> Прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, любящий вас сын Ника Римский-Корсаков».*

Музыка, все более его увлекавшая, стала с этого времени превращаться в «соперницу» морской профессии, хотя сам он этого еще не сознавал. У Воина Андреевича, твердо решившего, что брат должен стать моряком, тоже никаких опасений на этот счет не возникало; наоборот, он по-прежнему считал необходимым дать брату музыкальное образование.

Николай продолжал писать в своих письмах о музыке, при этом не ограничивался только своими впечатлениями, но и делился

с родителями размышлениями о ней. «Я вам скажу, что, чем более слышу опер, тем более развивается у меня охота к музыке, так что это удовольствие не бесполезно для меня. Очень приятно слышать такую музыку, как в „Севильском цирюльнике“, „Гильом Телле“, „Лукреции Борджии“, „Сомнамбуле“ и проч.; при этом в этих операх участвуют лучшие певцы. Те, которых я слушал в Лучии, очень хороши». И в других письмах: «Уж я попрошу папá позволить мне издержать копеек 15 на нотную бумагу, тогда мы вместе с тобой, мамá, будем переписывать что-нибудь из „Волшебного стрелка“, и хотелось бы списать увертюру, да боюсь, что долго писать, а она такая прекрасная, и еще бы песню, которая так хороша на театре, особенно игра оркестра с крошечными флейточками, что просто чудо. <...> Музыка идет по-прежнему; я уже выучил марш, достал у Прасковьи Николаевны увертюру „Волшебного стрелка“ в 4 руки; Прасковья Николаевна одолжит мне ее, наверно, вместе с „Нормой“ и другими нотами».

Чем ближе были каникулы, тем сильнее охватывало его стремление в отчий дом. В том же письме он писал: «Вот, скоро, милые мои папá и мамá, мы с вами увидимся. <...> Еще неделька, и я, Бог даст, облобызано вас; о, когда-то настанет эта счастливая минута, приходила бы скорей! Сколько удовольствий предстоит при свидании после 4-месячной разлуки. А как время-то пролетело скоро, кажется, не успел оглянуться — и много воды утекло; давно ли я, кажется, был в Тихвине, гулял с вами, вот уже и приехал в Петербург, опять уже в корпусе, чего не несмогрелся, прожил четыре месяца, а все кажется, что это только какой-то сон, в котором все перемешалось, какой-то хаос, продолжавшийся всего две минуты... Прощайте, милые мои папá и мамá, прошу вашего благословения, любящий сын ваш Ника».

Получив это письмо, Андрей Петрович пометил на нем: «Ника приехал к нам 23 дек. в 11 час. утра».

На два дня позднее брата приехал в Тихвин и Воин Андреевич, чтобы провести с родителями отпуск, так что вся семья оказалась в сборе под Новый год.

Андрей Петрович заметно дряхлел и все более избегал общества, кроме домашних. В письме к одному из своих друзей Андрей Петрович писал: «О себе скажу, что хотя по теперешнему образу моей жизни я никого не посещаю, но как меня навещают хотя изредка знакомые, а жену мою довольно часто дамы, — то не свободен от праздного слышания. Стараюсь, когда заведется разговор, осуждающий чужие поступки, полагать хранение устам моим».

Средства к существованию были весьма невелики, и Воина Андреевича стала беспокоить судьба престарелых родителей, вынужденных жить в одиночестве, вдали от сыновей. Беспокоила Воина Андреевича и замкнутость отца. Он советовал ему избегать затворнического образа жизни, предложил родителям переехать в Петербург, где они могли бы жить под его присмотром. Но Андрей Петрович ехать в Петербург на жительство категорически отказывался.

Николай вернулся из Тихвина в корпус 6 января 1858 года. Он снова болезненно переживал расставание с домашней обстановкой. «*Какое-то неприятное чувство все теснило грудь, — писал он, — о чем ни задумаешься, что ни делаешь, оно, как червяк, точит сердце, все напоминая: вчера ты был дома, у папа и мама, а теперь в корпусе между чужих*». Все же теперь у Николая появилась возможность скрашивать свою корпусную жизнь посещениями оперных театров. «*Вообразите мое удовольствие, — продолжал он, — сегодня дают по-русски Роберта, который, по словам П.Н., превосходно исполняется, и я иду в театр смотреть его. Я уже достал билет в третьем ярусе на галерее*». В приписке к Петру Петровичу он добавлял: «*Сегодня иду смотреть Роберта, которого я так часто играл в Тихвине, наслушаюсь лятив; ровно в 7 часов загремят они, потому что увертюра ими начинается, услышу соло на Cornet a piston, наслушаюсь барабанов, простых и турецких*».

По слухам тенора П. П. Булахова опера «Роберт-дьявол», которую собирался слушать Николай, была заменена «Мартой», что его разочаровало. «*Увертюру Марты я играю в четыре руки, — писал он в письме к отцу, — и играл в Тихвине, если помнишь. Но Павел Николаевич был так добр и сказал мне, что я могу идти в театр сегодня, потому что опять назначен Роберт, который мне так хочется видеть. <...> Прощай, милый папа, прошу благословения твоего, любящий сын твой Ника Римский-Корсаков. 19 января 1858 г.*

Через неделю он снова писал в Тихвин: «*Вот и Масленица наступила, милый мой папа, скоро и мама приедет. Я опишу тебе подробно Роберта. Ах, как он мне понравился! Лучше всего, что я видел до сих пор. Какая музыка! В особенности аккомпанемент великолепный, все инструменты удивительно как употреблены*». Далее самым подробным образом шло описание всего происходившего на сцене.

А в воскресенье, на «широкой Масленице», Николай побывал еще в двух театрах: утром — в Александрийском, где смотрел драму «Мангиким бен Израиль», комедию «Умерший муж и его вдова» и оперетту

«Русские песни в лицах», вечером — в Большом театре, на опере Россиини «Вильгельм Телль». В том же письме он писал: «Увертюра — одна из самых лучших и представляет постепенно: восход солнца, бурю, пастуха, который гонит овец, и оканчивается превосходным галопом; ее заставили сыграть два раза и чрезвычайно аплодировали. Вся опера мне чрезвычайно понравилась, а в особенности увертюра и трио. <...> Все это я видел на деньги, которые подарил мне Воин, собственно чтоб быть в театре». Здесь же он сообщал свои баллы за неделю: 10, 10, 10, 11, 10 — и добавлял: «Яблоков теперь уже не раздают, и многие кадеты более стали лениться: ничего не получишь».

Вечером того же дня, когда Николай писал это письмо, Головины взяли его в итальянскую оперу на «Травиату» Верди.

Частое посещение театров не мешало Николаю заниматься «постоянно и прилежно». Кроме того, он старательно учился кататься на коньках и проводил на катке все свободное время по утрам и вечерам.

Продолжая занятия с Улихом, он играл разные вещи, в том числе Тирольские вариации, «Тройку», увертюру к «Марте», Коронационный марш из «Пророка», вальс Розлени; кроме того, он разбирал оперы, сделал переложение увертюры к «Роберту-дьяволу» из двух- в четырехручное.

В день своего 14-летия он писал родителям: «Мне наступил 15-й год, а давно ли я бегал в саду у вас маленький, играл в лошадки, ходил за грибами в лес с покойной нянькой; давно ли, кажется, я играл в куклы с Верочкой Левской или устраивал разные машины, заводы и т. п. на дворе. А теперь мне уже 14 лет, я больше чем полтора года в корпусе. Но что мечтать-то о прошедшем, хотя бы оно было веселее настоящего».

Приближались пасхальные каникулы, и Николай уже мечтал о посещении оперного театра: «У меня осталось два рубля Воиновых, на которые четыре раза можно быть в опере. Я постараюсь слышать „Фенеллу, или Немую из Портичи“, которая очень хорошо идет, в особенности хоры, „Жизнь за царя“, которая, как русская народная опера, тоже очень хорошо исполняется; еще „Аскольдову могилу“, „Русалку“ или какую-нибудь другую хорошую оперу. Еще когда-нибудь смогу побывать в театре на полтинник, который оставлю от присланного Федором Федоровичем рубля». Тут же он оговаривался: «Не думайте, чтобы я, веселясь таким образом, забывал уроки: нет, я не позабуду об них».

Воин Андреевич считал необходимым развивать у брата стремление к овладению морской профессией. Поэтому он часто брал брата к себе в Кронштадт, где можно было показать ему много интересного.

Николай мечтал о лете, которое он проведет в Тихвине, а брат строил для него совершенно другие планы, которыми делился с родителями: «Как только начнутся в корпусе каникулы, взять его к себе с тем, чтобы он ежедневно ходил к работе на фрегат и исполнял там обязанности гардемарина или кадета. <...> Надеюсь, что мне в одно лето удастся положить прочное основание его морским познаниям. <...> Может статься, и в плавание ему удастся со мною сходить».

Наконец начались экзамены. Несмотря на занятость экзаменами, Николай побывал в театре, смотрел балет «Корсар». «Собственно балет мне не понравился, гораздо хуже оперы,— писал он в следующем письме. — Но зато какие декорации! Первая — рынок, Роллера, вторая — гром — Вагнера, 3-я — дворик... Роллера, четвертая — комната — Петрова и 5-я — открытое море — Вагнера. Ax! Как это хорошо, какие волны натуральные!» И далее следовало подробнейшее описание всех действий и сценических эффектов.

По случаю дня рождения царя, 17 апреля, кадеты были отпущены «за корпус». В тот день в Русской опере под управлением К. Н. Лядова давали «Жизнь за царя», и Николай впервые слушал ее на сцене. Он был в восхищении от музыки Глинки и делился своими впечатлениями с Софьей Васильевной: «Ты, мама, говорила, что во всей опере только хороша песня „Как мать убили“ и дует „Ты меня на Руси возлеял“; нет, вся опера чудесная. Какое славное есть трио в первом действии, которое поют здесь Петров — бас, Булахов — тенор и Булахова — сопрано. <...> Потом Мазурка во втором действии, краковяк и другие танцы, потом трио, петое теми же, песня Вани в третьем действии; в четвертом — ария Вани, когда он один ночью стучит в избу, и длинная ария Сусанина, когда все поляки спят, а часовой и Сусанин ходят одни; в пятом действии в виду Кремля трио Вани, дочери Сусанина и начальника русского отряда; потом последний гимн. Представление кончилось „Боже, царя храни“, петым всеми артистами. Трио первого и последнего действия заставили спеть два раза».

В письме к родителям от 4 мая Николай признавался: «Оперы сделали то, что я музыку теперь люблю так, как нельзя больше любить». Он был в таком восторге от оркестровки «Жизни за царя», что решил попробовать воссоздать ее по имевшемуся у него фортепиенному переложению, где были указаны оркестровые инструменты. Задача была для него непомерно трудна, поэтому он пошел в нотный магазин, чтобы, не имея возможности купить партитуру оперы, хотя бы там рассмотреть ее и запомнить, как это сделано у Глинки. Но все равно у него ничего не получилось.

В начале мая Воин Андреевич был назначен командиром учебного артиллерийского 84-пушечного парусного корабля «Прохор», и его планы относительно брата несколько изменились. Он отправился к С. С. Нахимову, ставшему директором корпуса, чтобы просить разрешения взять Николая к себе на корабль в учебное плавание. Как сообщал Воин Андреевич родителям, «*тот не только без затруднения, но даже с охотою согласился и сам без моей просьбы и даже вопреки просьбы моей назначил ему порционных денег наравне с гардемаринами. Деньги эти поступят в основу его собственного капитала*». А Николай писал домой 12 мая: «*Итак, я еду в поход. Я очень доволен. Мы поедем в Ревель. Не правда ли, очень весело, да и полезно пройтись по морю? Я и качки вперед не буду бояться. А какую пользу мне принесет поход: я буду знать все вооружение судна так же хорошо, как будто я проходил уже курс практики в М[орском] к[орпусе]*». Первый курс морской практики кадеты проходили после третьего учебного года.

Но и о музыке Николай не забывал. «*Aх, как бы мне хотелось теперь взять... кое-какие ноты, хоть "Freischütz", если он не нужен Ольге Феликсовне на лето, чтобы переделать на него в 4 руки что-нибудь*».

Крещение морем

Находясь на «Прохоре» еще на кронштадтском рейде, Николай отправил родителям 2 июня свое первое письмо с корабля: «*Приехав в корпус, я не застал там гардемарин, а сам на пароходе приехал в Кронштадт. Слова Воина исполнились, я пробыл этот день без обеда, все бродил, отыскивая его шлюпку. Наконец встретил на Петровской пристани его катер. Я сказал, чтоб меня свезли на корабль. Тогда было еще 5 часов, а до ухода катера надо было прождать еще 3 часа; я проходил по Летнему саду, постоял на пристани, наконец в 8 часов мы отправились, сначала к лодке „Стерлядь“, которая взяла нас и другой катер на буксир и потащила к кораблю, потому что противный ветер и волнение мешали шлюпкам идти на веслах и, кроме того, они были загружены людьми. Итак, я в первый раз проехался по волнам порядочным, которые еще усиливались от винта лодки. Да, такое волнение в Неве считается бурею. Нас так славно окатывало водой, мы могли видеть весь киль шедшей позади лодки*».

Погода не благоприятствовала уходу «Прохора» в плавание. «*Не знаю, что дальше будет, — продолжал Николай, — мы не могли выйти вчера, как брат надеялся, потому что ветер противный,*

а лавировать нельзя, потому что с обеих сторон вехи, некуда сунуться. Сегодня ветер переменился и засвежел, так что брат надеется выйти. Что-то вы поделываете, теперь у вас лето, все цветет, а я завтра, может быть, уж буду в море. Нам славно видно в зрительную трубу Рамбов; Бронная гора, дворец Марии Николаевны, батареи, наши бараки, мачта с фрегата, каждое деревцо, как на тарелке. Прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, любящий вас сын ваши Ника Римский-Корсаков».

В следующем письме он снова подробно рассказывал родителям о своем пребывании на «Прохоре»: «Вот, милые мои папа и мама, я уже скоро неделю как на корабле. Мне здесь очень нравится. Я стою на вахте, меня посыпает вахтенный начальник с донесениями к брату, старшему офицеру, о виденных судах, о прибавлении парусов и проч. Также утром наблюдать за мытьем палуб, к осматриванию огней на корабле. Я веду, в свою очередь, шканечный журнал корабля, где записываются: ветер, курс, дрейф, ход и разные случаи. Меня назначили с прочими кадетами к пушке, и человек 8 нас отодвигают 36-фунтовую длинную пушку на небольшую тележку. <...> Я стою на задних талях. Хотя нас 16 человек, но я утомянул 8 или 10, потому что некоторые не тянут, у них есть другие обязанности... <...> Я буду очень доволен, если меня пошлют на один из марсов».

В этом же письме Николай сделал приписку к дяде: «Я учился грести на катере с прочими гардемаринами, натер мозолей и содрал кожи вдоволь». Здесь же он нарисовал план каюты Воина Андреевича с обозначением места, где он спал.

«Прохор» ушел с кронштадтского рейда 2 июня, но, дойдя до Красной Горки, встал на якорь у Лондонских мелей, недалеко от Сойкиной горы, близ Ораниенбаума. Более суток дул сильный шквалистый ветер, не позволявший идти к Ревелю. Лишь через десять дней они двинулись с места и через двое с половиной суток стали на рейде Ревеля.

В первый же день стоянки у Ревеля Николай вместе с одним из кадет сошел на берег и отправился на прогулку к развалинам монастыря св. Бригитты; они прошли на мызу Кош, где пили молоко с хлебом. «Вообще, вся эта дорога напоминает мне Тихвин», — писал он в письме к родителям и приложил к нему собственный рисунок развалин монастыря.

«Теперь я немного умею грести на шлюпке, править рулем, поворачивать оверштаг или через фордевинд. У нас началась пальба; мы отошли к острову Карлосу, поставили там щит и вчера целый день

стреляли в него. <...> Теперь я знаю немного, как спустить брам-стеньги, стеньги, реи, как тянуть ванты, штаги и проч. Вчера мои руки были жестоко выкупаны в смоле: очень похоже, будто я обмакнул их в банку с красной патокой, и все это оттого, что я тянул ванты, смолил их и проч.».

Одновременно писал в Тихвин и Воин Андреевич: «С Никою обстоит благополучно, и даже погода во всем благоприятствует». Но тут-то и произошло событие, едва не стоившее Николаю жизни. Сам виновник происшествия сразу не написал родителям, а Воин Андреевич, ничего не говоря брату, сообщил им: «С Никою был случай, который поможет ему вылечиться от рассеянности. Будучи послан вместе с прочими кадетами и гардемаринами на крейс-марс, он стоял на вантах и до того замечтался, что не держался за них руками. В это время лопнула одна снасть по соседству, ванты встряхнуло от сотрясения мачты, и он слетел в воду, да счаствие еще, что не задел ни за что при падении, так что отделался только синяком на глазу, происшедшем, вероятно, от удара об воду при падении, да ссадил себе кожу в нескольких местах на теле, катаясь по вантам».

На это письмо старшего сына Андрей Петрович отвечал: «Случай падения Ники в море, о котором он ничего не написал, возбуждает в нас чувства благодарности к милосердному промыслу, не допустившему значительногоувечья и пригнувшему катер с гребцами, не давшими ему врем я захлебнуться».

Лишь через месяц, когда Николай обнаружил, что родители уже знают о случившемся, он решился сам описать свое падение: «Давно я хотел рассказать вам подробности моего падения, милые мои папа и мама, но я не смел об этом писать, боясь, что это вас обеспокоит, но когда узнал, что вы уже знаете об этом от Воина, то хочу вам описать это приключение вполне. Я стоял на вантах бизань-мачты, в то время их стали стягивать, но так как тали были худы, то лопнули. Я между тем не держался, а лежал животом на вантах, ванты тряхнуло, и я полетел назад себя кувырком, сосчитав все выбленки (веревки, по которым бегают) своей головой и ногами. Перевернувшись раза три, я проскочил между шлюп-балками (длинные толстые брусья, на которые подымается катера), ударился боком о гроб-брас (веревка, которая поворачивает рей) и свалился в воду. Я ушел туда глубоко, сапоги налились водой, и казалось, как гири навешаны на ноги, так что я поднялся на аришин от поверхности и более не мог; вниз тоже я не шел, да и вверх не поднимался. В это время подошел катер,

и меня поймали крючьями, однако я сам взошел по трапу на палубу и вошел в каюту и сейчас же улегся на койку, мне только примачивали свинцовой водой. На другой день я встал, на третий вышел наверх и опять уже лазил на марс. Однако свалился из-под марса, ведь это выше, чем из седьмого этажа.

Воин Андреевич стремился к тому, чтобы проходившие у него на корабле практику кадеты получали максимум пользы не только для будущей профессии. Он устраивал для них в свободное время дальние прогулки, считая, что «это гораздо для них полезнее, чем шатание по городским улицам и садам, с привалами в кондитерских».

Воин Андреевич еще не усматривал в увлечении брата музыкой особой помехи для освоения им морской профессии; наоборот, он считал, что надо поощрять музыкальное образование Николая и не следует прерывать занятия на лето. Поэтому на время пребывания «Прохора» близ Ревеля Воин Андреевич нанял там комнату с инструментом и посыпал брата заниматься игрой на фортепиано. За отсутствием учителя Воин Андреевич сам следил за музыкальными занятиями брата и докладывал о них родителям: *«Вникая в его игру, я нахожу, что механизм выполнения его не затрудняет, но нет у него надлежащего вкуса и сочувствия к исполняемым пьесам, даже и тем, которые ему наиболее нравятся. Может статься, в его возрасте и рано еще этого требовать, но тем не менее я считаю обязанностью пытить его иногда повторением играемых пьес, причем сам стою сзади и исполняю должностную капельмейстера, отбиваю такт и голосом, и руками, и ногами. Не знаю, поможет ли это ему приблизиться к настоящему выполнению, но, по крайней мере, надеюсь, это его приучит к обдумыванию всего того, за что он принимается у фортепиано».*

Андрея Петровича беспокоило, что Воин Андреевич тратит много денег для того, чтобы Николай мог и летом играть на фортепиано, но тот возражал отцу: *«Разумеется, я не рассчитываю на то, чтобы он был виртуозом, но мне кажется только, что теперь он в лучшей поре своей жизни для приобретения искусства, которое со временем послужит ему развлечением не только приятным, но нравственно полезным, как умягчающее и успокаивающее средство против тревожных настроений духа, без коих, вероятно, на его веку не обойдется. Не могу сказать, в какой степени велика в нем склонность к музыке, но полагаю, что степень его дарования в том такова, что пренебречь его развитием значило бы погрешить перед Богом, зарыть в землю талант, им ниспосланный. <...> Будьте уверены, что он ничего не потеряет, употребляя*

свои свободные вечера на музыку. Виртуозом ему не надо быть, но я хочу, чтобы он теперь добился того, чтобы только играть с листа. <...> Судя по тому, как он теперь разбирает ноты, ему уже немного до того осталось, и теперь такой случай ему практиковаться, что грехи его упускать. Итак, не тревожьтесь, милый папа, моими издержками на это, которые не превысят сорока рублей серебром».

Нанятое вначале фортепиано оказалось плохим, и Войн Андреевич взял напрокат другой инструмент. «Я предпочел, — писал он, — заплатить четыре рубля в месяц дороже, с тем чтобы иметь хороший рояль, ибо страшусь, что плохой инструмент отобьет охоту».

В следующем своем письме он подробно рассказывал о брате родителям: «С 9-ти до 11-ти часов дня он занят наравне с прочими гардемаринами либо у орудий, либо навигационными выкладками и упражнениями, либо на марсе, либо на шлюпках. <...> Независимо от этого, он стоит на вахте, а в свободное от учения время также большей частью занят. <...> После шести часов вечера я отправляю его на берег с моим стариком-денициком, и он на квартире упражняется на фортепиано весь вечер и следующим утром, часов с 6-ти до 8-ми. Я задаю ему разучивать разные пьесы и по субботам, когда корабль меня не занимает, съезжаю на берег с ним вместе, чтобы послушать все ему заданное, не выключая гамм, которые я требую, чтобы он безошибочно выполнял, а иначе заставляю повторять. Гаммы ему поставлены в обязанность проигрывать все ежедневно. Не мог до сей поры собраться взять для него запас нот по абонементу, и потому он сидит еще на повторении старого, но надеюсь на этой неделе уладить дело так, чтобы он на будущее время в течение недели разучивал, по крайней мере, две трудные пьесы, чтобы тем удостовериться, что он по вечерам занимается как должно».

Вероятно, Николаю так хотелось разбирать любимые им оперы и делать переложения, но он подчинялся требованиям брата и играл скучные гаммы и малоинтересные для него пьесы. Все же это позволяло не отдаляться от музыки.

В середине июля Николай послал родителям письмо, писанное на протяжении четырех дней: «12-е. Вот уже как давно у нас стоит теплое время, милые мои папа и мама; дни ясные, большей частью жаркие; вчера был шквал с дождем, но сегодня опять ясно, хотя и есть довольно сильное волнение и боковая качка, но, несмотря на это, мы кутаемся, хотя и каждому приходится хлебнуть раза два водички. <...> Почти каждый вечер я сажусь на вельбот и еду в город на дачу и

играю на фортепиано, так что, надеюсь, что Ульрих² не скажет, что я позабыл что-нибудь в походе. 13-е. Сегодня я после обеда отправился на Бригиттовку, на баркасе, с другими гардемаринами; мы только что приехали, наняли у чухонца маленькую двойку с рулем; нас было четверо — один на руль, двое гребли, четвертый отдыхал, и мы отправились вверх по реке, которая течет изгибами, довольно глубока (глубже Тихвинки, хотя и уже ее). Мы ехали с приключениями, садились на мель, проходили между каменьями и дошли до истока; она выходит из ручьев. Мы хотели купаться, а так как боялись, что лодку снесет, то подошли к берегу с тем, чтобы втащить на мель. Мы разделись и вышли на русло высохшего ручья, но земля была так мягка, что ноги уходили все дальше и дальше в нее. В одном месте мы стали копать ее палками, но она проваливалась аршина на полтора, так что мы были принуждены уйти с этого места. Мы вернулись домой поздно. 14-е. Все утро сегодня шел дождик, но к обеду погода прояснилась. После обеда я вышел на вахту и попросился у офицера слазить на бушприт и утлегарь, осмотреть некоторые снасти. Только что слез оттуда, налетел на нас сильный шквал с дождем, чрезвычайно крупным и частым. Несмотря на то, что я был в зипуне, но все-таки промок до нитки. Шквал был сильный, море заволновалось, но погода вскоре опять прояснилась. <...> Сегодня братчино рождение, ему минуло 36 лет; вероятно, у вас был круглый тирог, как всегда, а у нас ничего особенного. <...> Завтра у нас опять пальба. <...> Поход, кроме свидания с вами, мне приносит во всем столько же удовольствия, сколько и отпуск, гуляю не меньше по лесу, катаюсь каждый день на шлюпках, одним словом, все что угодно имею для своих удовольствий. Прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, любящий вас сын ваши Ника Римский-Корсаков. Ревель. 15-е июля 1858 года».

В самом конце июля Андрей Петрович тяжело заболел, и, как только Воин Андреевич узнал об этом, Николай был тотчас же отправлен в Тихвин. В сопровождении денщика Воина Андреевича, Блюма, Николай поехал на пароходе в Петербург, получил в корпусе разрешение на отпуск и 7 августа был у родителей. Андрей Петрович вскоре выздоровел, и Воин Андреевич снова писал в Тихвин: «Ника весьма кстати поспел, чтобы своим присутствием, оживляющим однообразный быт, помочь восстановлению, и я еще раз благодарю Бога, внушившего мне

² В своих письмах Н. Римский-Корсаков иногда писал Ульрих вместо правильного Улих.

мысль его отправить. Промелькнули дни, проведенные с родителями. Обратный путь в Петербург Николай совершил также в обществе Блюма, уехавшего затем в Кронштадт.

Музыка или море?

Кадет рассадили по новым классам. Николай попал в класс № 12 старшего кадетского курса. Через две недели он снова писал домой в том же тоне: «*Вот, милые мои папá и мамá, курс наши начался, и все вошло в обыкновенную колею, все пошло по-старому, так же точно скучно тянеться неделя, так же радостна суббота, так же неприятно возвращаться от Павла Николаевича в корпус. <...> Но я заговорился; нас отпустили на три дня по случаю Рождества Богородицы и рождения великого князя Константина Николаевича. Итальянская опера началась. Павел Николаевич с семейством идет в театр, а следовательно, я пользуюсь этим случаем. Дают „Ломбарды“, музыка Верди.*

Об этой опере, которую Николай слушал в Большом театре с Головиными и Воином Андреевичем, Николай отозвался без восторга: «*Есть мотивы довольно хорошие, только все сопровождается множеством барабанов и труб, так что певцы старались перекричать трубу, что мне очень не нравится. Во всей опере трескотня и гром.*

Его продолжало занимать звездное небо, а в ту осень еще прибавилась возможность наблюдать комету с ярким хвостом. «*Мы видим каждую ночь комету, она находится пониже Большой Медведицы, около созвездия Льва.*» В следующем письме он спрашивал родителей: «*Что вы поделываете, вероятно, все идет своим порядком, как и всегда шло. Видите ли вы прекрасную комету? Какой хвост! Как она красиво изгибает его, да и как она ярка!*»

Высказывание Николая о неприятном чувстве от необходимости отправляться в корпус взволновало родителей. Им представилось, что, может быть, их сын вовсе не хочет учиться. Но он успокаивал их: «*Не ожидал я, милые мои папá и мамá, что вас так огорчу. Я этого вовсе не хотел, да и вы огорчились оттого, что меня не поняли. <...> Я говорил, что неприятно ехать от Павла Николаевича в корпус не потому, что занятия надоели, а так, вообще, как-то невеселое чувство овладевает; все напоминает то время, когда я из отпуска уезжал в корпус. Разве тогда бывает весело? <...> К занятиям бывает возвращаться скучно не от лени, а так, сам не знаешь почему. Итак, прошу вас, пожалуйста, не огорчайтесь. Простите, что я вам так*

дурно писал о себе и что нанес вам огорчение своим необдуманным поступком; впредь постараюсь этого не делать. Но поговорим о чем-нибудь другом. <...> Занятия музыкой продолжаются, г-н Ульрих был сегодня. <...> Науки мои идут; я был на этой неделе из четырех предметов прилежным. Теперь мне понятно, как астрономы узнают расстояние до звезд. Прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, любящий вас сын ваши Ника Р.-Корсаков. 21 сентября 1858 г. С.-Петербург».

Николай продолжал по возможности посещать оперный театр. Давали «Аскольдову могилу» Верстовского, и он «взял билет, чтобы посмотреть, да и послушать, русской музыки, которой с тех пор, как видел я „Жизнь за царя“, уже не слыхал, а она намного приятнее. Хотя итальянская опера более изящна, но эта немного напоминает, даже много, наших русских мужиков, да и древние времена славян. <...> Хотя эта музыка проще и легче „Жизни за царя“ или „Руслан и Людмила“ Глинки, которые надо понять, чтобы оценить, но все-таки и эта очень хороша».

Чтобы предупредить возможные сомнения родителей о пользе посещения им оперы, он писал далее: «Вы, может, думаете, что если я бываю на спектакле, то это меня развлечет на целую неделю. Напротив, мысль, что я пойду в воскресенье в театр, заставляет меня более стараться, чтоб благополучно уйти домой, чтоб дурные баллы не препятствовали этому. Вы не можете поверить, как опера во мне возбуждает любовь к музыке. Мне кажется, что может быть приятнее, как слушать оперу. И я полагаю, что кто хочет приохотить мальчика к музыке, у которого есть к ней способности, то тот должен доставить ему несколько раз случай быть в опере; тогда охотнее станет играть на инструменте».

Опера Верстовского ему очень понравилась. Его удивил древнеславянский танец, где «все только ходят, становятся в шеренгу, расходятся в разные позиции; все в предлинных платьях из парчи, и все смеются во время пляски».

В том году корпусной праздник не был отмечен балом по причине большого числа больных корью. По слухам праздника усердных кадет поощрили: «Кто к корпусному празднику показался из 20-ти или более прилежным, так награждают театром; а кто более шести раз был ленивым, тех изволили большую часть подсечь. А я подался прилежным из 24-х, а ленивым ни одного раза, а потому мне велели явиться в корпус в 6 часов, чтобы ехать всем вместе в театр. Я еще

сам не знаю в какой, вероятно, в балет. Науки мои идут довольно хорошо, баллы мои на неделе были: из тригонометрии 11, из географии 10, из геометрии 10, из русского языка 9, из английского 10. Если вы думаете, что театр заставляет меня учиться, — нет, он только способствует старанию, собственно, заслужить хороший балл, а учусь я вовсе не для театра, а для собственной пользы».

Не только Николай, но и все кадеты с нетерпением ждали отпусков. «Поскорей бы настало Рождество, — писал он родителям, — весь корпус его только и ждет. Мы сосчитали, что до отпусков осталось только около 2 миллионов и нескольких тысяч секунд. Предмет разговора общий — отпуск и каникулы».

После посещения балета Николай писал родителям, что вообще балет «чрезвычайно утомителен, танцы все однообразные, так что очень надоедает». Совсем иным было его отношение к танцам в опере: «Я очень люблю, когда в опере бывают они: тогда это очень приятно посмотреть, потому что они разнообразят сюжет, да и музыка в них в тысячу раз лучше, чем сочинение какого-нибудь Пуни для танцев в балете. <...> Например, очень приятно смотреть танцы в „Роберте“, „Фенелле“ (балето и тарантелла), в „Жизни за царя“ — великолепную мазурку, в „Руслане и Людмиле“ — лезгинку и проч.».

30 ноября Николай сообщал в Тихвин: «Я сегодня совершенно счастлив. Вообразите, дают „Жизнь за царя“ Глинки, и я пойду посмотреть ее. Хотя мама и не очень-то нравится опера вообще, а только местами. <...> А я скажу, что [это] одна из классических опер, в самом деле хороших, а не миленьких. Я знаю эту музыку, и потому очень ее приятно слышать петой хорошиими певцами и сыгранный оркестром, а не какими-нибудь фортепианами, совершенно однозвучными. Да и приятно посмотреть краковяк и мазурку, протанцованные польскими артистами, да и музыка-то в них не такая, как в балльных танцах, — пустая, а с толком».

О музыкальных успехах Николая стало известно в Тихвине, и одна тихвинская барышня просила его через Софью Васильевну помочь ей сочинить польку. На что Николай отвечал: «Не знаю, но, может быть, сумею это сделать, хотя не совсем по правилам генерал-баса, которого я вовсе и не читал. Только с тем, чтобы она не выдавала ее в свет, потому что, хотя сыграть ее будет можно тем, кто не ведает правил сочинения, потому что те не поймут ошибок; а кто знаком с этой наукой, те раскритикуют польку, что она неверно написана, не по правилам генерал-баса, что аккорды написаны несогласно с теорией».

Во время Великого поста спектаклей не полагалось, можно было только ставить живые картины и давать концерты. Николаю удалось послушать концерт «фортепианиста Герца, известного и Европе, — сообщал он родителям 22 марта. — Мне понравилась его игра. Кроме того, там играл г-н Цабель соло на арфе, это верх совершенства. Он играет удивительно чисто, бегло и приятно. Оркестр сыграл увертюру „Иосиф в Египте“ и увертюру „Волшебной флейты“ Моцарта. Последняя лучшая первой». Представилась также возможность впервые побывать в настоящем симфоническом концерте, о чем он писал через неделю: «Завтра в Большом театре славный концерт, в котором участвуют 150 человек музыкантов и 180 хористов. Будет играть симфония (Pastorale) Бетховена и „Сон в летнюю ночь“ Mendельсона-Бартольди. Потом еще увертюра „Элеонора“ Бетховена и другие вещи, и мне хочется хоть раз услышать симфонии, так я и попрошу Павла Николаевича взять меня завтра... до 12-ти часов, чтоб съездить послушать».

4 апреля состоялось выступление Николая с Улихом у Головиных, и на следующий день он писал и Тихвин: «Концерт мой исполнился вчера, и с успехом, по словам слушателей, так что я очень остался доволен». Здесь же он писал: «Вот и Вербное воскресенье наступило, и потому спешу поздравить вас, милые мои папа и мама, с наступающим великим праздником Воскресения Христова; не удалось с вами на самом деле поменяться красным яичком. Что ж делать! Надо заочно пожелать вам счастья и здоровья. Благодарю за подарок шести рублей серебром, которые я, кажется, не употреблю на удовольствия, а на ноты. Так я думаю сделать. Удовольствия пройдут, оставя некоторое впечатление, приятное на непродолжительное время, а ноты пригодятся, может быть, на всю жизнь; хотя они сами не суть удовольствие, но могут приносить его, когда только мне захочется. <...> Нас отпустят в четверг утром... и я отправлюсь, я думаю, тотчас же покупать ноты. Что мне хочется купить — это полную оперу „Руслан и Людмила“. Это чудесная вещь М. И. Глинки, одна из классических опер».

Николай купил в нотном магазине оперу «Руслан и Людмила» и писал о ней родителям: «Я ее не видел на сцене; как говорят, это чудесная вещь, которую можно поставить наравне с „Робертом“ Мейербера и другими классическими операми. Она не уступает ни в чем своему собрату — „Жизни за царя“ — ни в многочисленности мотивов, но очень на него походит. Хотя музыка совершенно другого рода, но с первого взгляда можно узнать в них одного сочинителя». Восторгаясь «Робертом», Николай писал, что в нем «даже каждый речитатив

и монолог оркестра замечателен, а в русских операх мы то же видим в упомянутых двух операх Глинки».

Той весной Улих почувствовал, что его ученик опережает его самого в музыкальном развитии и что для совершенствования игры на фортепиано Николаю нужен настоящий педагог-пианист. Поэтому он посоветовал Воину Андреевичу подыскать для брата другого учителя музыки.

Новый учитель

Экзамены шли успешно, Николай получал 10 и 11 баллов. Немного подвела тригонометрия, по которой он получил 9. «Приходил в класс на экзамен Зеленый, да и задал мне дополнительно трудный вопрос. Я бы его и ответил хорошо, а он стал меня очень было загонять, да и спутал. <...> Но это случается со всяким, нельзя же, чтоб всегда одинаково везло, к тому же 9 хороший балл, хоть и не самый блестательный, как двенадцать, одиннадцать и десять, но даже не только что не худой, а и не посредственный».

Воин Андреевич на лето опять собирался взять брата на свой корабль, поэтому он предполагал съездить с ним хоть на денек в Тихвин для свидания с родителями. Но этой поездке помешало другое — они не поехали из-за внезапной болезни Николая. Воин Андреевич съездил в Тихвин один и, вернувшись оттуда утром 4 июня, в тот же день увез брата к себе в Кронштадт. На следующий день Николай писал родителям: «Вот я теперь и в Кронштадте, милые мои папа и мама, вчера приехал я совсем сюда с братом. Славная у него квартира, чистая такая; но он говорит, что теперь у вас подоконницы и рамы еще чище; я думаю, приятно посмотреть на ваш дом теперь. Завтра или в воскресенье корабль вытягивается на рейд, и Воин уже перебирается на него. Здесь теперь работа кипит, и то один, то другой корабль выходит из гавани. К кораблю назначены еще три канонерские лодки, на которые теперь ставится машина, и Воин таскает меня туда, чтоб мне вполне усвоить ее устройство. <...> Я думаю, сад машины уже в цвету, а сирень, тюльпаны и проч. отцвели. <...> Очень сожалею, что не удалось мне к вам быть. А то, кажется, суждено до Рождества опять с вами не видеться. А то бы приятно провести эти три дня с вами. Вы ходили слушать соловья, и очень понятно, что не слышали. Все тихвинские соловьи так поют, что никто их не слышит ни на воле, ни пойманых в клетку иногда там. Прощайте, милые мои папа и мама, любящий сын ваш Ника Римский-Корсаков».

Корабль «Прохор» довольно долго не выходил из Кронштадта, и Воин Андреевич использовал это время, чтобы знакомить брата с различными работами на корабле в порту. «Я сплю нынче с гардемаринами, — писал Николай домой с кронштадтского рейда, — а обедаю и чай пью у Воина. Я теперь вполне доволен, что я на корабле. <...> Что-то у вас теперь поделывается; вероятно, погода чудная, как и у нас. Я уже начал купаться и скажу вам, что вода в море претеплая, следовательно, в реке еще теплее. Жалко, что мне не удалось у вас быть, и чтобы я мог тоже, по-прежнему, поиграть на фортепиано. Я теперь без фортепиано сижу, но надеюсь в Ревеле опять начать игру».

Отсутствие возможности сесть за фортепиано удручало его, он писал родителям 20 июня: «Все еще стоим мы здесь, в Кронштадте, милые мои папа и мама, и не знаю, когда пойдем в Ревель. А для меня это ужасно скучно, в Ревеле гораздо лучше. В воскресенье я ездил в Петербург на дачу к Павлу Николаевичу и провел там день весь почти в игре на фортепиано. А хочется мне в Ревель не потому только, что там веселее, а потому, что занятия музыкой будут постоянны. Если после похода будут у меня деньги, то я непременно куплю рублей на пять бетховенских сонат, которые будут продаваться только нынешний год и так дешево — по 18 коп. соната, — так что, купив это, можно всю жизнь ими пользоваться, потому что они никогда не надоедают. Теперь я обзавелся порядочным количеством нот, особенно я накупил нынешний год много. Одна „Жизнь за царя“ стоит 10 рублей, опера „Руслан и Людмила“ тоже. Потом сколько пьес в четыре руки: „Камаринский“, увертюра „Жизнь за царя“, Польский, Краковяк, Мазурка, Антракты; потом „Сон в летнюю ночь“ Мендельсона, который меня, вместе с „Pastorale“, очаровал в концерте. Однако я, перечисляя ноты, позабыл, что пора на вахту. Надо кончать. Прощайте, милые мои папа и мама, прошу благословения вашего. Любящий сын Ника Р.-Корсаков».

Наконец «Прохор» снялся с якоря, но пошел сначала не в Ревель, а к острову Бьёркё, где было удобное место для стрельбы. Там «Прохор»остоял неделю, и, хотя место Николаю понравилось и он дважды участвовал в пикниках со своими товарищами, в письме к родителям он писал: «Жаль, что занятия мои музыкой будут на долгое время прерваны. Но что же делать? <...> Боюсь, что если долгое время занятия музыкой не возобновятся, то чтоб не пропала охота к ней. Сидишь, бывало, в корпусе, не играя недельку, и так и ждешь субботы, а тут, сколько ни жди, не придется играть, так что, пожалуй,

пройдет охота. Но если он не мог играть на фортепиано, то все же продолжал заниматься музыкой, делая переложения «Камаринской» для скрипки и фортепиано.

От острова Бьёркё «Прохор» вернулся к Кронштадту и стал на якорь у Толбухина маяка. Приход в Кронштадт порадовал Николая, так как появилась возможность съездить в Петербург. «*Я непременно за-пишусь в число желающих, — продолжал он. — Надо съездить на дачу к Павлу Николаевичу и поиграть. <...> Я думаю, пальцы мои по-рядком одеревенели, да и хочется немного позабавиться, потому что давно не играл. Что ж делать! Будучи офицером, может быть, придется и несколько лет просидеть не игравши; служба ведь нужнее, хотя и не приятнее*». Съехав на берег, он отправился к Головиным и, по словам Воина Андреевича, «*наигрался вволю на фортепиано*».

Лишь 15 июля «Прохор» пришел в Ревель. Николай был очень доволен: «*во-первых, потому, что время, проведенное в Ревеле, всегда будет приятнее, чем в Кронштадте; во-вторых, что занятия музыкой сделаются постоянными. <...> Воин сказал, Надежда Ивановна Аболешева здесь и поселилась на лето в Медвежьей улице, в доме и квартире той самой, которую мы с братом занимали. <...> Сегодня мы с братом пойдем выбирать рояль для найма*». Так Николай снова получил возможность почти каждый день играть на фортепиано.

Воин Андреевич сообщал родителям о брате все, что замечал, радовался его успехам в обращении с дамами, «*потому что, — писал он, — в первые разы, как я видел его с барышнями, я ужасался за его манеры, и мне казалось, что от такой крайней мешковатости ему век не излечиться. Не дай Бог, чтобы он вышел похож на меня, и пусть с более ранних лет приобретает самоуверенность в обществе. <...> Нику я отпустил, и он сегодня должен отличаться в четыре руки с одной малоденькой барышней, что, кажется, ему очень по сердцу*».

Николай взрослел, и родителей тревожила возможность появления у него дурных привычек. Они спрашивали его, не начал ли он курить. На что он отвечал: «*Признаюсь откровенно, я пробовал, но, собственно, не для того, чтобы это вошло в привычку, а так, попробовать, что за удовольствие, но лишь только взял дым в рот, как бросил и затоптал папиросу и уж, разумеется, не курил, потому что это совсем мне не понравилось. Вот вам мой ответ, теперь вы знаете, курил я или нет*». Взволновало родителей и увлечение младшего сына девицей Дингельштедт, но Воин Андреевич успокаивал их: «*Что у Ники эта пассия — настоящая первая юношеская пассия, такая, какой*

и быть следует, за это я могу вам поручиться. Но не пугайтесь, пожалуйста, и не делайте из муhi слона, а главное, не мешайте этой пассивии. Поверьте, никакие науки ему столько добра не сделают, как она. Я, со своей стороны, в восторге, что так случилось, и не только не разуверял Нику, но, напротив, пользовался этим, напоминая ему о необходимости быть отрятным, щеголеватым и ловким, чтобы нравиться барышням. Он уже здесь и ногти стал чистить, и на прическу свою обратил внимание, и наблюдает, чтобы рубашка у него не высывалась из-под мундира, и угловатую манеру свою переменил, даже я надеюсь с помощью пассивии заставить его прилежно приняться за французский язык, потому что мать Л.П. — француженка. <...> Уж успокойтесь вы, поручите все мне. Подумайте, можно ли тревожиться пассивией такого мальчика, как Ника? Ненатурально, чтоб она долго продолжалась, и я, напротив, боюсь, чтоб она не кончилась скорее, чем нужно».

По возвращении Николая в корпус ему выдали на погоны якоря и перевели в гардемаринскую роту, в другой класс. «Дяде можете сообщить, — писал он домой, — что рота помещается в верхнем этаже окнами на 11-ю линию (к Патриотическому институту) и на набережную, что стою я по ранжиру десятым с первого фланга и нахожусь в третьем отделении». Здесь же он опять нарисовал план роты с подробной экспликацией помещений.

Новый учебный год в корпусе начался. Одновременно в жизни Николая произошло знаменательное для всей его последующей жизни событие: ему был нанят новый учитель музыки — Федор Андреевич Канилле, прекрасный пианист, помощник известного Гензельта по классу фортепиано в Николаевском институте. Николай рассказывал о первой встрече с новым учителем в письме к родителям: «Он слушал мою игру и похвалил; сам играл и правда превосходно». А через две недели начались регулярные занятия. «Он мне очень понравился, — писал Николай домой после первого раза, — он делает урок приятным, а не сухим каким-нибудь. Задал он мне Polonaise Вебера, очень хорошую пьесу, играл со мной в четыре руки, разбирал. Много мы толковали о Глинке, играли его Испанскую увертюру и увертюру „Князя Холмского“, потом увертюру Глюка Iphigenie en Aulis и проч., рассматривали партитуру и проч. Вообще, я с большим удовольствием буду к немуходить». Николай был счастлив найти в новом учителе человека, разделяющего и поддерживающего его собственные взгляды на музыку, подтвердившего, что Глинка — величайший гений и «Руслан и

Людмила» — лучшая опера в мире. Но и Канилле сразу же распознал и оценил одаренность своего ученика и стал заниматься с ним с большой охотой и не считаясь со временем. О следующем уроке Николай писал: «*Был я у учителя... просидел часа два, все разговаривали о музыке. Дал он мне переложить сонату Бетховена из двух рук в четыре. Играли мы с ним в четыре руки разные увертюры; играл он мне много из „Руслана и Людмилы“ Глинки.*

Уроки с Канилле были Николаю чрезвычайно интересны, они не шли ни в какое сравнение с суховатыми занятиями у Улиха. Видя, как его новый ученик относится к музыке, как хорошо справляется с переложениями пьес, Канилле решил проверить его способности к музыкальной композиции. Таким образом, Канилле дал толчок композиторской деятельности своего талантливого ученика, направив его при этом на сочинение музыки исключительно по слуху, без инструмента.

Канилле стал играть с Николаем в четыре руки, знакомил с произведениями разных композиторов — Глинки, Баха, Бетховена, Шумана, Балакирева, предложил своему ученику пойти в концерт, в котором сам принимал участие. Николай писал домой: «*Вчера был в концерте университете и слышал Вторую симфонию (D-dur) Бетховена и вышел оттуда с восхищением. Это просто чудо что такое! Эта симфония у меня есть в четыре руки, и я ее знаю почти наизусть, а потом, когда услышал ее в оркестре, то и не могу сравнить с тем эффектом, который производит она на фортепиано. Дирижировал оркестром К. Шуберт. Публика заставила два раза повторить скерцо этой симфонии и долго аплодировала оркестру. Мой учитель играл Полонез Шопена.*

Николай был увлечен симфониями Бетховена и был очень доволен, когда один его приятель подарил ему ноты двух недоставших у него симфоний. «*Одну мы вчера играли с Прасковьей Николаевной, — писал он. — Она нам так понравилась, что сегодня мы опять ее сыграли. Что-то поделывается у вас в Тихвине, сбылся ли театр, который у вас хотели играть?*

Через неделю Николай снова писал в Тихвин, что на Масленице он усердно пожирает блины у Павла Николаевича и усердно занимается музыкой: «*Я хожу к учителю каждый день и играю часа два. В театре я не был, потому что дают такие пьесы, как “Il Trovatore” и “Traviata” Верди, так что мое музыкальное ухо не любит такой драмы. Мы любим Глинку, Мендельсона, Бетховена, Шопена, Мейербера и, пожалуй, Россини. Да, позабыл еще упомянуть о Франце Шуберте, который принадлежит также к числу классиков. <...> Я учителя*

выпросил увертюру из трагедии „Князь Холмский“ М. И. Глинки и отдал ее списать; а потом учитель обещался доставить мне антракты — одни из самых лучших произведений Глинки. На масленице я выучил экосез Шопена и сочинил сам анданте и скерцо по образцу Бетховена, чем учитель очень доволен. Я теперь окончательно сочинитель».

Угадав истинный талант своего ученика, Канилле помог ему раскрыть свои способности, привел к самостоятельному сочинению музыки.

Запрет на музыку

Николай все чаще стал посещать симфонические концерты и с восторгом писал родителям о том, что ему удалось слушать за истекшие две недели: «Я три раза был в концерте, слушал 6-ю симфонию (*Pastorale*), потом 7-ю и 8-ю Бетховена; из них 7-я самая лучшая из симфоний. Потом слышал финал „Жизни за царя“, исполненный 200-ми музыкантами и 170-ю хористами. Публика заставила повторить его два раза».

Наблюдая, как Николай поглощен своими музыкальными занятиями, как он старается использовать для этого все свое свободное время, Воин Андреевич не на шутку испугался. Теперь он увидел в музыке сильного соперника морскому делу, которое, по его мнению, должно было стать главным в жизни брата. Он писал в Тихвин: *«Насчет Ники, я уже решил отправить его в море, между прочим, и с тою макиавеллической целью, чтобы отнять его несколько от музыки, которой, я опасаюсь, чтоб он не увлекся в ущерб наукам. В Кронштадте... он каждый вечер имел бы случай присесть за фортепиано; тогда, наверное, на службе развлекался бы сочинением разных аккордов, как он к тому склонен».*

Поход затянулся до 20 августа. За время похода на «Воле» Николай был аттестован командиром корабля «в поведении и знании по службе — очень хорошо».

Николай с нетерпением ждал встречи с Канилле, но ему предстояло большое разочарование. В начале следующего письма он поздравлял родителей с днями рождения и именин Софьи Васильевны, а затем писал: *«Сообщают вам очень важное известие насчет моих занятий музыкой, а именно: уроков я брать больше не буду. Брат говорит, что это немного развлекает меня, хотя я и противного мнения, потому что в корпусе я не играю, а в воскресенье не сижу целый день да не приготовляю уроков недельных к классам, потому что для этого есть много времени в корпусе. Но я об этом с ним не спорю и не говорил даже ничего».*

потому что деньги не мои, а его, и я никогда не имею привычки просить у него когда-либо денег. Итак, заниматься я должен сам, поэтому я буду стараться если не подвинуться вперед, то не позабыть старого. Что бы вам сообщить еще нового, право, не знаю, нового ничего нет».

Решение Воина Андреевича о прекращении занятий с Канилле не могло не удручать Николая. Родители несомненно почувствовали по письму сына его настроение. Однако он писал им: «*Канилле, с своей стороны, принял это совсем не хладнокровно; он немедленно предложил мне брать у него уроки даром, но я немедленно отказался, зная, что это будет неприятно брату. Но он меня убедительно просил посещать его каждое воскресенье; я опять отказался, говоря, что хотя это будет мне очень приятно, но со стороны будет казаться уроками; и порешили на том, чтобы приходить иногда к нему поиграть в 4 руки. Надеюсь, что этого брат мне не запретит. Вы, верно, спросите его об этом.*

Хладнокровие Николая было лишь внешним. С юных лет ему была присуща внешняя сдержанность чувств, которую он сохранял и впоследствии, отчего многие, не знавшие его близко, принимали это за ходячность и даже суровость.

Видимо, родители посчитали распоряжение Воина Андреевича о прекращении уроков с Канилле мерой слишком жестокой по отношению к младшему сыну. Софья Васильевна была даже готова участвовать в оплате уроков музыки Николая, о чем и написала Воину Андреевичу. В то же время они сочли необходимым высказать младшему сыну свои опасения, не мешает ли все же музыка его занятиям в корпусе и не она ли причиной его неаккуратности в отправке к ним писем. На это он отвечал им: «*Я вас прошу, не попрекайте меня музыкой, во-первых, потому, что я вовсе не виноват, что письмо не пришло к вам в субботу; верно, опоздал человек, которому я отдал письмо; во-вторых, не упрекайте потому, что музыкой в корпусе нельзя заниматься, и потому я ей и не занимаюсь. Поверьте мне, мне очень неприятно слышать, что музыка, которую я люблю, сделалась для меня предметом упреков, и несправедливых упреков. Да если и в самом деле я провинюсь в чем-нибудь, то этому причиной вовсе не музыка.*» И в следующем письме: «*Брат говорит, что музыка отвлекает меня от серьезных занятий. Не думаю, чтоб он мог говорить это об наших корпусных занятиях, как-то: об астрономии, навигации и пр. Я думаю, что он говорит о занятиях моих в иностранных языках, в правописании и чистописании. Первыми я буду заниматься в корпу-*

се, потому что новый инспектор Епанчин назначил двух учителей английского и французского в роту заниматься разговорами; кроме того, я буду делать переводы с обоих языков. Правописание и чистописание буду стараться исправлять постепенно. Не думаю, чтобы брат после этого говорил, что музыка мешает занятиям моим, и не предоставил бы мне заниматься музыкой вволю в воскресенье. Разумеется, я не навязываюсь на уроки и опять говорю, что деньги не мои. Он, может быть, думает, что я ничего не читаю по воскресеньям, и то напрасно. У Павла Николаевича много книг занимательных, которые я читаю каждый раз».

Воин Андреевич твердо стоял на своем и писал родителям, что разрешит брату вернуться к урокам музыки лишь тогда, когда он сможет свободно переводить с французского и не делать ошибок в русском языке.

В одном из своих писем Софья Васильевна просила Николая написать музыку к песне, слова которой сочинил монах Тихвинского Успенского монастыря. Он отвечал ей на это: «Я охотно берусь за это и постараюсь сделать все по силам для тебя, но прошу также не распространять ее по всему Тихвину... потому что песня будет написана тебе по силам, а я не надеюсь, чтобы трудную вещь ты разобрала бы верно; а если делать хорошо, то она придется тебе трудна».

Воин Андреевич все же решил сменить гнев на милость, и Николай писал в Тихвин 20 октября: «Вчера Воин приезжал ко мне и просил меня приехать в Кронштадт в субботу. Он сказал, что не запрещает мнеходить к учителю, когда я захочу, но даже что будет очень рад». Это заявление брата освежающе повлияло на Николая, который совсем было приуныл, не знал даже, о чем писать родителям. «Все однообразно, — продолжал он в том же письме, — как день учения, так и праздники». Дождливая холодная погода тоже не поднимала настроения. Кроме того, по слухам смерти старой императрицы Александры Федоровны театральные спектакли и различные увеселения на время прекратились.

«Завтра, — писал Николай родителям 28 октября, — будут похоронены Александры Федоровны, и наши кадеты идут на церемонию, но я не назначен и очень рад, потому что более прозябну, чем увижу что-нибудь. В субботу я пойду в магазин и куплю у него „Жизнь за царя“ в 4 р. по поручению Marie³. Теперь не знаю, что вам еще написать, и потому целую ваши руки и прошу благословения, сын ваши Ника».

³ Мария Федоровна Римская-Корсакова, жена Воина Андреевича.

Николая тянуло в Тихвин к родителям, самым близким ему людям, относящимся к нему с сердечностью и теплотой, которых так ему не хватало от Воина Андреевича, при всем его внимании и искренней любви к младшему брату. В том же письме он продолжал: «Не знаю, можно ли мне думать о пребывании моем на Рождестве в Тихвине, а его мне хотелось бы очень. Успокойте меня насчет этого, ведь я с вами не виделся целый год. А я иногда начинаю мечтать об этом».

После того как запрет на занятия музыкой был снят, Николай вернулся к сочинению пьес и сообщал Софье Васильевне: «Музыку на песню слепого я еще не сочинил, потому что по части музыкальной написал Скерцо и Рондо».

Осенью 1860 года состоялось открытие оперного театра, перестроенного из сгоревшего театра-цирка архитектором А. Кавосом (1801–1862) и получившего название Мариинского. В день открытия шла опера «Жизнь за царя», а 15 ноября Николай слушал там концерт, о котором писал через день: «Я был в концерте в Мариинском театре, слышал Героическую симфонию Бетховена, „Камаринскую“ Глинки, финальный хор из „Жизни за царя“, разные хоры из „Тангейзера“ Вагнера и проч. Но недоволен остался концертом, сыграли плохо, кроме Камаринской и хора из „Жизни за царя“, которые сыграли два раза. Особенно Камаринская произвела удивительный эффект. Видно было, какое удовольствие доставила она всем, с каким одушевлением аплодировали, не то что другим номерам, игранным в концерте».

В корпусе у Николая появилось новое занятие, которое доставляло ему большое удовольствие и о котором он писал в Тихвин: «У нас каждый вечер почти собирается компания петь, так что составился хор под моим управлением из 18-ти человек теноров и басов и исполняет прекрасно хор из „Жизни за царя“, и хор рыбаков из „Аскольдовой могилы“, и многие другие пьесы, как-то: „Тебе поем“ Турчанинова, Херувимские Бортнянского и Ломакина и другие. Только беда, что мы претерпеваем большое гонение от начальства. Мы сложились и купили гармонифлют для аккомпанемента и на будущей неделе будем разучивать финал „Жизни за царя“: „Славься, славься“».

Новое музыкальное занятие — управление хором, которое так его увлекло, Воин Андреевич тоже посчитал отвлекающим от наук, и Николаю пришлось с хором расстаться. «По совету брата я отказался от регентства еще перед походом. Товарищи очень сожалели, но что мне до этого», — сообщал он родителям несколько позднее из Ревеля. К 1 июня кадеты были отправлены в Кронштадт и распределены по кораблям.

Конец учению

Летом 1861 года Николаю предстояло пройти последнее перед окончанием Морского корпуса учебное плавание.

Корабль «Вола» ходил и к Ревелю, и к Гельсингфорсу, часто меняя свое местонахождение, и иногда подолгу оставался в открытом море. Это не позволяло Николаю так же регулярно, как в прежние годы, отправлять родителям письма.

Как ни старался Воин Андреевич отвлечь брата от музыки, ему не удавалось заглушить все сильнее проявлявшееся влечение Николая к сочинению музыкальных пьес. Он добился лишь того, что Николай стал скрывать от него свои композиторские пробы, не говорил о них и в семье Головиных. Во время последнего похода Николай не мог, как в предыдущие плавания, съезжать на берег и играть на фортепиано. Но он взял с собой на корабль гармонифлют и упражнялся на нем. Мысленно он обращался и к музыкальной композиции. «*Опять принялася за фортепиано*, — сообщал он в письме, — *однако оказалось, что благодаря гармонии руки мои не застоялись. Надо попробовать состряпать сонату в 4 руки; уже план сделан, надо собраться с духом да сесть писать, а как-то все лень. Я очень доволен, что Marie полюбила хорошую музыку. И все-таки я, я! всему причиной. Кто приюхотил Прасковью Николаевну? — опять я; кто наставил на путь истинный нескольких товарищей своих? — все-таки я. Одним словом, и Бетховен, и Моцарт, и Шуман, и Глинка, я думаю, очень мне благодарны. А ведь сколько раз мне приходилось досадовать, что не понимают хорошего, как и теперь частенько мне приходится досадовать. Ведь, право, играешь что-нибудь хорошее и готов скалить зубы на весь свет, и в особенности на дам, которые частенько на вопрос — что они больше любят: *allegro* (скорое) или *andante* (тихое) — отвечают „конечно, *Andante*“, и отвечают нараспев, и отвечают *Andante* для того, чтобы придать себе более сентиментальности. Или на вопрос — что они больше любят, музыку или пение? — отвечают опять нараспев: „конечно, пение“. А сами того и не смыслят, что музыка — есть пение, а пение — есть музыка. И про всякую хорошую вещь говорят проклятое: “*C'est charmant*”⁴ (не знаю, правильно ли я написал). Не скажут „хорошо“, а непременно „мило“. Всех бы этих людей поставил бы во фронт в такую минуту и сказал бы им, что они ничего*

⁴ Это очаровательно (*фр.*).

не понимают. Однако я заговорился сильно о предмете, может быть, неинтересном для вас совершенно. А к тому же и глаза устали и смыкаются. Уже 12-й час, все спят, а я один сижу. Затем прощайте, милые мои папа и мама, прошу вашего благословения, сын ваши Н. Р.-Корсаков».

С сентября кадеты приступили к занятиям. «Вот, милые мои папа и мама, и классы начались, и все пошло обыкновенным порядком». Начинался театральный сезон, и Николай с группой товарищей взяли ложу во втором ярусе на «Жизнь за царя». «Я в четвертый раз пойду слушать эту оперу, — продолжал он в том же письме, — и надеюсь, что она мне никогда не надоест».

В начале последнего для Николая учебного года Андрей Петрович послал младшему сыну наставительное письмо: «Я знаю, что ты уже окончательно поступил в старшее отделение и на будущий год называют тебя гардемарином. Очень желаем дождаться, чтобы ты украсился аксельбантом. Продолжай только окончание твоего учебного воспитания в корпусе с подобающей прилежностью и старанием заслужить зачисление в первый десяток».

Старшему сыну предстояло стать директором Морского корпуса вместо контр-адмирала С. С. Нахимова, занимавшего этот пост с 1857 года. Воин Андреевич, по своей скромности, сомневался, имеет ли он право занять такую ответственную должность, справится ли с налагаемыми на него обязанностями. Это назначение, намечавшееся по рекомендации великого князя Константина Николаевича, должно было войти в силу лишь с 1 января следующего года.

С начала последнего курса Николай стал учиться старательнее и сам был доволен этим. Еще не совсем уверовав в свои силы, он сообщал родителям о своих занятиях в корпусе: «Этото неделею я особенно доволен; я как-то чувствую, что делал так, как следует, т. е. занимался довольно прилежно. [...] Надеюсь зарекомендовать себя новым учителям получше, некоторым, именно троим, я это сделал, остались еще некоторые; да надо подняться во мнении старых, и я это сделаю, насколько могу. [...] Ну, да довольно об этом; что толковать, лучшие делать. Я кончаю об этом».

О своих музыкальных занятиях он в письмах к родителям почти ничего не сообщал.

Андрея Петровича поразил первый удар. Сразу же по получении известия об этом встревоженные сыновья выехали в Тихвин, где пробыли три дня, пока опасность не миновала.

Николай писал теперь немного реже, не каждую неделю, но все же регулярно.

Усиленные занятия в корпусе не мешали ему бывать иногда в театре. Он снова слушал оперу «Руслан и Людмила», которая, как он отозвался, «шла по обыкновению довольно скверно».

С тех пор как Воин Андреевич воспротивился занятиям брата музыкой, Николай избегал этой темы в письмах к родителям. Однако это не означало, что он забросил свое увлечение. Напротив, как и было ему разрешено, он ходил по воскресеньям к Канилле, и тот поощрял его композиторские пробы, направляя, как мог, на музыкальное творчество. Усердно занимаясь в корпусе, Николай находил время и для сочинения музыкальных произведений, что все больше захватывало его. Никому, кроме учителя, он свои сочинения не показывал, ни с кем о них не говорил. Федор Андреевич же видел в них проявление незаурядного таланта, хотя они были еще далеко не совершенны технически. Сам Канилле не мог дать своему ученику необходимых композитору знаний, и поэтому он решил представить Николая Балакиреву, с которым был хорошо знаком, чтобы тот сказал свое мнение о творчестве юного композитора.

Эта встреча состоялась 26 ноября 1861 года, и о ней Николай все же не смог не сообщить родителям: *«В это воскресенье Канилле познакомил меня с М. А. Балакиревым, известным музыкантом и композитором...»*

Сдержанnyй тон сообщения о знакомстве с Балакиревым не передавал того приподнятоого настроения, в каком находился Николай после знаменательной для него встречи с настоящим, пользовавшимся известностью композитором, перед талантом которого он уже тогда преклонялся. Он был не только счастлив иметь такое знакомство, но и окрылен одобрением Милия Алексеевича собственных сочинений, показанных по совету Канилле. Это были Скерцо, Ноктюрн и некоторые отрывочные материалы для симфонии. Сразу оценив одаренность юноши, Балакирев стал настаивать на том, чтобы он продолжал работать над симфонией, за что Николай с восторгом и принял не откладывая.

О своих музыкальных занятиях Николай ничего не писал, хотя со временем знакомства с Балакиревым усиленно, сколько позволяли занятия в корпусе, работал над симфонией. Каждый субботний вечер он приходил теперь к Милию Алексеевичу и показывал сочиненные куски, а затем исправлял их, старательно следя его указаниям. У Балакирева Николай познакомился и с М. П. Мусоргским и В. В. Стасовым. Так вошел он в Балакиревский музыкальный кружок.

Приехав на Рождество в Тихвин, он и там продолжал сочинять свою симфонию и закончил первую ее часть.

Успокаивая Софью Васильевну, что музыка не мешает ему готовиться к экзаменам, Николай упоминает в своих письмах только о посещениях театра, но ничего не пишет о том, что он не переставал заниматься сочинением музыки, работал над Скерцо симфонии, которое тогда же вскоре и закончил. День его рождения, когда ему исполнилось восемнадцать лет, пришелся на экзаменационный период. В письме от 9 марта он благодарил родителей за подарок и сообщал результаты первых испытаний: «Я очень доволен, что кончил благополучно эту неделю и сегодня выспался за все время. Экзамены были: из астрономии — 11, из физической географии — 12, из механики — 10, из закона Божьего — 12, следовательно, все идет благополучно, а теперь как-то мне особенно хочется побывать у вас уже не в кадетском звании, и особенно более на долгое время, и к тому же весною, а не зимою».

Это было последнее письмо Николая к родителям из корпуса. В конце четвертой недели поста было получено тревожное известие о тяжелой болезни Андрея Петровича. Воин Андреевич и Николай немедленно выехали в Тихвин, но, приехав туда 19 марта, уже не застали отца в живых. Он скончался перед их приездом в тот же день от второго, более сильного удара. Через два дня его похоронили у главной апсиды Успенского собора Тихвинского мужского монастыря, и на следующий же день Воин Андреевич увез Софью Васильевну в Петербург. Николай уехал днем позже вместе с дядей. Так он расстался с Тихвином навсегда.

Вернувшись в корпус, Николай успешно прошел все остальные испытания. Мечта родителей осуществилась — он попал в первый десяток выпускников и 31 марта был представлен к производству в гардемарины. Но и симфония его подвигалась: в последний день пребывания в Тихвине сочинение Скерцо было им закончено.

«Главная комедия» — последний экзамен в присутствии адмиралов и начальства состоялся 28 марта 1862 года. Через две недели 18-летний Николай Римский-Корсаков был произведен в гардемарины, а затем назначен в заграничное плавание на клипере «Алмаз».

III

В ДАЛЬНЕМ ПОХОДЕ

Уход в плавание

После назначения на «Алмаз» Николай Андреевич был уволен в отпуск и некоторое время жил с матерью в Петербурге на квартире брата. После отпуска он поселился в Кронштадте, так как клипер подготавливался там к плаванию.

В начале октября командиру клипера «Алмаз» П. А. Зеленому было предписано отправиться к берегам Америки для наблюдения «за происходящими там морскими военными действиями». Приближался день ухода «Алмаза» в далекое плавание. С Петербургом Николай Андреевич простился 19 октября. На пароходной пристани его провожали Балакирев, Юи, Каниlle и, конечно, Софья Васильевна. Два дня спустя «Алмаз» покинул Кронштадт и отправился через Кильский пролив и Немецкое (Северное) море в Англию.

Как морской офицер Воин Андреевич все больше входил в славу. В связи с назначением его директором Морского кадетского корпуса он дал обед, который состоялся как раз в день ухода «Алмаза» из Кронштадта.

Софью Васильевну волновала возможность влияния на младшего сына людей, с ее точки зрения, неблагонадежных и могущих увлечь его на ложный жизненный путь. К таким людям она причисляла Балакирева и втайне надеялась, что за время плавания Николай Андреевич пристрастится к морской службе и отойдет от своих друзей по музыке. В ущерб себе она пошла на долгую разлуку с нежно любимым сыном отчасти именно ради того, чтобы оградить его от «дурного» влияния Балакиревского кружка. Но этим беспокойство матери не ограничивалось. Ведь там, за границей, его подстерегала другая опасность — восприятие, по ее представлению, вредных политических идей, и в первую очередь от находившегося в Англии Герцена. Софья Васильевна спешила предупредить Николая Андреевича: *«Надеюсь, друг мой, что*

в бытность твою в Лондоне ты не будешь стараться попасть из любопытства к издателю „Колокола“. Ты знаешь, сколько этот звонарь погубил молодежи! Берегись его пагубных идей. Его можно применить к рыкающему льву, ищущему поглотить всех начинающих жить, от досады, что не может возвратиться в Россию. Все дурные люди стараются завлекать побольше, им как-то веселее гибнуть в большой компании».

В своих письмах к матери Николай Андреевич обходил эту тему молчанием. С Герценом он не встречался (хотя один из товарищей предлагал это устроить), но не потому, что следовал материнским наставлениям: ее взгляды представлялись ему устаревшими. Но у него самого не было в то время интереса к политике, не было и знаний в этой области, так как с политической литературой он был знаком мало.

«Алмазу» необходимо было переоборудоваться, и он остался в Англии на всю зиму. Из Грэвзенда, расположенного в сорока километрах от Лондона, нетрудно было попасть в столицу Великобритании.

В начале декабря Николаю Андреевичу удалось побывать в Лондоне, где он и двое его товарищей провели четыре дня. Вскоре по возвращении на клипер он принял за описание этой поездки в письме к матери: *«Неделю тому назад я вернулся из Лондона...»* Далее следует описание посещения Cristal Palace, где разместились концертный зал, театр, ресторан, выставочный зал и зверинец. *«Вечером мы побывали в Ковент-Гарденском театре, слышали новую английскую оперу „Торжество любви“ — довольно гадкую. Поют тоже не особенно хорошо»*.

Об этой опере Николай Андреевич отзывался еще резче в письме к Кюи: *«Сочинение черт знает какого-то Веллеса. <...> Большие пополнования, но только неудавшиеся, на инструментовку. Пиччикато беспрестанные. Кларнет выделяет соло. Вальторна, сидевшая на левой стороне оркестра, по какому-то случаю отдельно от другой вальторны, трубила все время какие-то сигналы. Певцы выделявали лошадиные руллады. Хор пел очень хорошо. Сюжета я не понял, что-то ужасно запутано»*.

Тогда же, в декабре 1862 года, Николай Андреевич закончил Анданте своей симфонии. На рукописи этого, инструментованного несколько позднее Анданте, хранящейся в Петербургской консерватории, написано рукой автора: *«Сочинено в Англии зимою 1863 г.»*. Несмотря на совершенно неподходящую для творчества обстановку, он продолжал сочинять музыку, причем, как и ранее, обходился без фортепиано. На клипере никакого инструмента не было.

Как подарок к Рождеству, «на елку», он послал свое Анданте Балакиреву, надеясь получить от него замечания, так как сам считал, что в нем есть много неровностей и что Балакирев найдет все эти шероховатости и укажет их ему.

Верный своему убеждению, что его брат должен стать настоящим моряком, Воин Андреевич в своих письмах давал ему различные советы по приобретению знаний в морской профессии. Но если Николай Андреевич с нетерпением ждал советов по музыкальной композиции от Балакирева, то к рекомендациям брата относился весьма холодно, хотя по своей добросовестности старался их выполнять.

Николай Андреевич тяжело переживал свою оторванность от петербургских друзей, от музыкального кружка с царившей в нем творческой атмосферой, которая была ему так необходима для поддержания собственного творчества. В самом начале января 1963 года он писал Балакиреву: *«Новый год я встретил скучно, тили шампанское, а я все-таки очень скучал. Что-то я сделаю в 1863 г.? Много ли напишу и хорошо ли?»*

Николай Андреевич решился уйти в дальнее плавание, надеясь, что на корабле сможет заниматься сочинением, и вначале так оно и было. Еще из Киля он писал Балакиреву: *«Странный мой склад или это крепость натуры, — право, не знаю, но только, несмотря на все гадкое, меня здесь окружающее, я продолжаю сочинять, придумал среднюю часть Анданте с русской темой»*. Закончив это Анданте и отослав его на суд Балакирева, он собирался сочинять дальше. Сообщил Милию Алексеевичу, что у него уже есть в голове две темы для новой симфонии, что очень хотел бы сочинить какой-нибудь хор на стихи Пушкина или Лермонтова или какой-нибудь фантастический хор, например хор русалок.

К старшему брату у Николая не было тогда особенно теплых чувств. Ведь это он был главным лицом, настаивавшим на его морской карьере, основным виновником отлучения его от среды музыкантов, с которой он так сблизился и к которой всей душой стремился. Софья Васильевна, не представляя себе, сколь велика музыкальная одаренность сына, и следуя понятиям того времени, тоже считала, что Николай Андреевич должен стать моряком. Но если бы не требование старшего сына, она, вероятно, сдала бы свои позиции перед стремлением младшего стать композитором. Переписка с Балакиревым, в то время регулярная, поддерживала Николая Андреевича в его стремлении к творчеству. Он писал матери: *«Скажу тебе, что, если б он мне*

не писал, я очень бы скучал. Месяц тому назад я послал ему последнюю оконченную часть моей симфонии. Я надеюсь, что к возвращению моему у меня накопится их штуки две или три. Тогда мы их гржнем в Питере. Пожалуйста, не читай этого места никому. Я не желаю прежде времени слыть за композитора и слушать сладко-кислые комплименты на этот счет. Теперь прощай, милая мама, прошу благословения твоего. Сын твой, Н. Р.-Корсаков».

Со дня ухода «Алмаза» из Кронштадта прошло лишь около четырех месяцев, а надежда Николая Андреевича на то, что служба на клипере не помешает ему сочинять музыку, стала ослабевать. Он писал матери 12 февраля: «Здесь, в Гринайте, в гостинице порядочно скверное пианино, на котором я играю иногда. Сочинения на лад неидут. Теперь только я хорошо понимаю слова Канилле, который всегда говорил, что для композитора нужно быть в музыкальной среде. А здесь этого нет. К тому же затруднительны сношения с Балакиревым, что для меня необходимо. Сделаешь ему вопрос, а там жди две недели ответа. <...> Я говорил о немузикальности той среды, в которой нахожусь; и действительно, когда я играю — я им в тягость, когда они запоют — они для меня хуже горькой редьки. <...> Что дальше будет — не знаю. Англичане совсем немузикальный народ, их романсы, песни до того противны, что хуже даже итальянских, французских и немецких. Итальянские — приторны, как обсахарившееся малиновое варенье; французские — пошли, легки и пусты; немецкие — немножко „цирлих-манирлих“; а английские — совсем сухи и бессстрастны. Нет, самые музыкальные народности — это венгерцы, испанцы и русские, а также персы и вообще восточные народы».

На свою бездеятельность в области музыки он сетовал и в письме к Балакиреву: «В голову ничто не лезет, ничто не сочиняется; ни за что не могу взяться; все как-то не нравится. Приходят на ум какие-то куски, черт знает, годные ли еще к чему-нибудь. Вот прошло уже три месяца, а я ничего не сочинил. <...> Общество на нашем клипере ужасное. <...> За исключением двух человек, все такая дребедень, что просто ужас. Они меня совершенно одолели. Мне кажется, оттого-то у меня все так плохо идет, что попал в такую компанию. Одни пьянятся и похабничают. Другие совершенные писаря. Третьи просто глупы. Четвертые с отвратительными характерами. <...> А главное, я не имею товарища по музыке. Совершенно не с кем поделиться в этом».

В Балтийском море

Еще в середине февраля «Алмаз» собирался идти в Плимут, однако клипер с места не трогался. Неожиданно был получен приказ отправиться в Балтийское море к Либаве для перехвата английских судов, которые, как предполагалось, должны были доставлять оружие и людей в помощь восставшим полякам.

Для подавления Польского восстания, начавшегося еще в январе, были принятые круговые меры, в частности, как писал Николай Андреевич, «по всему Курляндскому берегу рассеяны войска и сделаны телеграфические станции, с которыми, в случае нужды, мы можем иметь сообщение». Однако Николай Андреевич относился к роли их клипера весьма скептически. «Кажется только, что наша экспедиция не будет иметь успеха. Англичане тоже не дураки. Сколько времени мы простоим или прошатаемся в Балтийском море — неизвестно, кажется, месяц или полтора».

Такая перспектива наводила тоску. С сочинением дело как-то не клеилось. От Балакирева давно не было известий. Обстановка на клипере совершенно не способствовала творчеству. О ней Николай Андреевич писал к Кюи еще из Гринайта: «*Авось что-нибудь сочиню под влиянием поэтической духоты в каюте, свиста ветра в снастях и ругательств, которые морские офицеры употребляют на каждом шагу. В море сочинять разве только "Ocean" Рубинштейна или бурю в увертюре „Вильгельма Телля“. А какая славная, благодарная, приятная и благородная морская служба. Вообразите: идете вы, для примера сказать, в Немецкое море; небо серого, грязного, мутного цвета; ветер завывает; качает так, что едва на ногах стоите; вас обрызгивает беспрестанно из-за борта холодной пеной, а иногда случится, что и с ног до головы окатит. Холодно. Маленькая тошнота... Приятно?*»

Воин Андреевич, в глубине души рассчитывавший, что брат все же посвятит себя морской профессии, писал ему по получении от кого-то хвалебного отзыва о Николае Андреевиче: «*Очень меня порадовало... что брат мой — бравый гардемарин. Это мне подает надежду, что ты примирился с морскою службою или, по крайней мере, не унываешь, как и подобает молодому человеку. Присланная тобою карточка свидетельствует также, что ты пополнел и, следовательно, здоровье твое благополучно. Это также один из признаков, что морская служба тебе, по крайней мере, стерпелась. И слава Богу, что так. <...> На море твой характер... сформируется определенное и прочнее,*

нежели под влиянием музыкальных стремлений, которые ежели и исчезнут, то их нечего жалеть, потому что самая непрочность их покажет, что они были только иллюзиями, а не существенною потребностью. Если же и после двух-трех годов плавания эти стремления в тебе удержанятся, это будет тебе свидетельствовать, что они не поддельные, а настоящие, свойственные и самому организму твоему, и тогда, на здоровье, принимайся снова приобретать музыкальный механизм и все прочее».

Рассуждения брата не успокаивали Николая Андреевича. В одном из ответных писем он писал ему: «В нашем плавании я не отрицаю некоторой пользы для себя, но дело в том, что вред-то велик и, сознавая, его тяжело переносить. <...> Я знаю, что мне ничего не оставалось, как только идти в кампанию, но вот именно это и грустно. Ты скажешь, что печаль ни к чему не поведет, но она невольна и притом естественна, и потому утешать тут нечего. <...> Итак, поверь, что я тебя и мама́ не виню в том, что я теперь за границей, не думаю также, что ты имеешь что-нибудь против музыкального поприща, но мама! Мама́ очень не жалует эту карьеру, так же как и общество Балакирева и прочих. Я знаю, что не без пользы пройдет для меня это плавание; но я вижу, что я музыкально тупею и глупею, что я теперь не могу того делать, что делал прежде. Я с октября ничего не сочинил, а если бы ты знал, как это вредно; я думаю, силюсь, и все у меня не клеится, не выходит так, как прежде. <...> После краткого трехгодового срока я буду с железною волею и закаленным характером и железными, закаленными музыкальными способностями и нервами, которые будут не в состоянии производить ничего порядочного».

При всей своей нежной любви к матери Николаю Андреевичу грустно было сознавать, что она не может понять его в его стремлении к музыке не как к чему-то дополняющему его основную деятельность, а как главному в его жизни. Все же Софья Васильевна проявляла искренний интерес к музыкальным занятиям сына. В конце одного письма она спрашивала: «Послал ли ты свое Анданте Балакиреву и получил ли от него отзыв? Напиши мне, каков он, приятный для тебя или нет. Имеешь ли ты теперь время на сочинение и на чтение и занимаешься ли переводами?»

«Ты напрасно думаешь, — писала Софья Васильевна, — что музыка твоя принесла мне огорчение, напротив, я радуюсь, что ты ее любишь, она тебя спасает от многоного дурного; и с этой целью, видя твою способность, я настаивала, чтобы развить в тебе этот та-

лант, но не желаю, чтобы эта страсть была в ущерб службе. Каждый член общества должен платить дань отечеству трудами полезными, а потому должен ему служить, сколько силы, способности и здоровье позволяют, с любовью и горячностью, а возмездие за это получишь в собственной совести сознанием, что и ты, один из малых членов отечества, жил не без пользы для него. Служба не требует, чтобы исключительно ею занимались, и, служа усердно, ты все-таки можешь найти время для чтения и для музыки».

Пребывание клипера «Алмаз» в Балтийском море с однообразными переходами из Либавы в Поланген и обратно никак не способствовало подъему душевных сил. О своем состоянии Николай Андреевич писал Балакиреву: «Что ж мне Вам сказать про себя? Я... я... я здоров; но этого мало; я силен; но этого тоже не много; я могу гулять по вечерам по палубе; я могу читать, но этого всего мало; да, я не могу сочинять. <...> Почему здесь все не такие, как я? Почему я не такой, как все? Почему все довольны, а я недоволен? Почему я чужой всем, хотя я со всеми держусь хорошо и меня все любят? На кой дьявол у меня музыкальные способности? Чтоб здесь сидеть, ничего не делать, приносить пользу отечеству? Дурак, вот зачем. Почему Боженька наделяет способностями всех разно? У одного умеренность и аккуратность, а у другого музыкальные способности?»

Наконец Николай Андреевич был обрадован письмами из Петербурга. «Третьего дня вечером, милая мама́, — писал он к Софье Васильевне 28 апреля из Либавы, — я получил письма: твое, от 16-го апреля, от Прасковьи Николаевны и от Балакирева».

Милюк Алексеевич писал своему ученику: «Вы, я что-то вижу, как будто пали духом. Это очень дурно. Положим, что положение Ваше весьма неутешительно, жить среди нравственных уродов довольно тяжело, но и в этом есть своя польза. Вы зато будете более сосредоточиваться на самом себе и более разовьетесь. <...> Сношения же с настоящими людьми у Вас всегда остаются... у Вас есть друзья, которые Вас очень любят, ценят и которые и Вас удовлетворяют».

Восстание поляков оказалось не так-то легко подавить, а вмешательство европейских держав — Англии, Франции и других — вызывало раздражение царского правительства. Оно отказалось обсуждать с ними польский вопрос, и жестокие расправы с восставшими продолжались. Продолжались и непрерывные переходы «Алмаза» по Балтийскому морю, хотя никаких иностранных судов с оружием для поляков обнаружить не удавалось.

В те дни Николай Андреевич получил наконец известия от петербургских друзей с отзывами о его Анданте. Милий Алексеевич писал: «*Ваше Andante я просмотрел со всей внимательностью и остался им доволен. Некоторые места нужно изменить, к оркестровке Вы имеете положительные способности.*» Кюи тоже хвалил: «*Экой Вы молодец и с Andante справились. <...> И оркестр Вы понимаете хорошо, надеюсь и рассчитываю, что в этом деле со временем и меня научите. <...>* Обещаю себе большое удовольствие, когда в будущем году услышу всю Вашу симфонию в оркестре. Вы последний явились в нашей музыкальной компании и первый написали всю симфонию — спасибо Вам». Особенно тепло отзывался Каниlle: «*Мильный Николай! <...> Наконец-то я видел твое Анданте. Оно мне нравится в высшей степени. Молодец ты! Только... конец следует изменить. Все Анданте такое славное, сочное, весеннее. <...> Займись концом... если он будет по достоинству соответствовать всему Анданте, то оно сделается одним из первоклассных.*»

Такие суждения радовали Николая Андреевича, и в своем письме к матери он сообщал ей: «*Мое Анданте получено Балакиревым, и им все довольны. Вероятно, будущую осень сыграют всю симфонию в Питере; только, вероятно, я ее не услышу, а это для меня было бы необходимо. Но что ж делать?*»

В другом письме писал: «*Не читай никому следующих строк. Как, мама, ты радуешься моему музыкальному таланту? Да, ты могла бы радоваться моим способностям, если б у меня их было поменьше. А у меня их слишком много. „Всякая страсть есть порок“, — говорил учитель наш Благодарев. Если б я только любил музыку и имел бы хороший служ и только, ты могла бы радоваться. Если б занятия музыкой ограничивались только тем, что иногда присядешь поиграть с часок, ну а потом и на службу пойдешь, так оно так. А уж кто симфонии стал писать, так может ли тот тебя порадовать? Все, что через край, — нехорошо. „Каждый член должен платить дань отечеству трудами, для него полезными, а потому должен ему служить, сколько силы, способности и здоровье ему позволяют“.* Это говоришь ты в своем письме, и, к несчастью, многие так говорят, но, к счастью, не все. Не думай, чтоб я не желал приносить пользу отечеству, только, прошу тебя, разбери хорошенко свою фразу. Подумай и напиши побольше об этом предмете. Ты, может, увидишь многое противоречий во всем мною писанном, но, прошу, отдели то, что тебе верным кажется. Только, прошу, не читай этого никому и ни с кем не сове-

туйся. Это дело только нас двоих касается. Но вот что хорошо: я чрезвычайно обрадован известиями от Балакирева, он меня так поддерживает. Право, он хороший человек и меня очень любит, больше даже, чем некоторые родные. Вчера, получив его письмо, я почти взбесился от радости, с час времени прошагал по каютке форсированным маршем, так что в пот бросило. Теперь я рад, весел, доволен. Буду писать новую симфонию — 2-те Symphonie B-dur par N. Rimsky-Korsakoff. Ах, если б вышла хороша! Мама, хоть всякая страсть есть порок, а все-таки дай мне руку на счастье, авось хорошо пойдет. Теперь прощай. Кланяйся всем. Прошу твоего благословения. Любящий тебя сын Н.Р.-Корсаков».

Когда «Алмаз» пришел в Либаву, Николай Андреевич получил письмо от Софьи Васильевны. К сожалению, оно не сохранилось, но, видимо, в нем она уже не отрицала возможности избрания сыном профессии музыканта. Он отвечал ей: «Вчера я получил твое письмо от 9-го мая. Теперь буду отвечать на него, но опять не знаю, когда это письмо поедет в Питер — ни одна шлюпка не ходит на берег, и ветер довольно свеж. Скажу тебе, что твое письмо меня чрезвычайно обрадовало, и я принужден у тебя просить прощения за то, что сказал: „К счастью, не все так думают, как ты“». Теперь ты разъяснила понятия свои, и я вижу, что ты не имеешь ничего против музыкальной карьеры. Но прежде ты действительно имела против нее предубеждение. Зачем иметь узкие понятия о пользе? Разве тот только полезен, кто действительно находится на службе и получает жалованье и чины? Разве музыка — пустое занятие, подобное скаморошеству и показыванию фокусов? Отвечаю утвердительно: Нет! Я тебе сейчас буду это все доказывать самым наглядным и детским способом. Все наши гражданские учреждения имеют целью спокойное состояние всего народа. Но разве человеку нужно только то, чтоб он спокойно жил, имел деньги, пил, ел, чтоб его никто не смел прибить и т. п.? Разве человек не живет нравственно? Если бы ни поэзия, ни науки, ни искусства не оживляли его жизни, разве он был бы человеком? А музыка, как и прочие искусства, разве не есть нравственная поддержка или пища человека? Если это так, то не одинаковую ли пользу приносят человечеству и музыкант, и чиновник, и офицер? Последние два своей службой способствуют к спокойной и безопасной жизни народа, а первый действует на нравственную сторону его. А человек, не живущий нравственно, более скот, чем человек. Нравственная польза от музыки неопровергнута, потому что если уж она доставляет

удовольствие и отдохновение для души, то вот уж и польза. Все это я говорю к тому, чтоб утвердить в тебе правильное понятие об этом поприще. А это для того, чтобы ты не смотрела с неприязнью на мою страсть. Но в последнем письме ты сказала, что тебе это поприще совсем не казалось противным, и ты даже благословила меня на это, и потому я опять прошу у тебя прощения за сказанное мною. А сказал я это потому, что ты прежде, осенью, совсем другими глазами смотрела на музыку, а именно так, что музыка составляет принадлежность праздных девиц и легкое развлечение занятого человека. Ты часто повторяла слова *папа*: „Разве ему в артисты идти?“ — Да, именно в артисты, если б он имел средства к существованию. Но средств нет, и потому я служу и буду служить, если не предстанет возможность добывать себе хлеб без помощи службы. А об помощи от тебя я никогда и не помышлял, и сохрани Бог тебя думать, что я когда-нибудь у тебя попрошу хоть гроши; напротив, я тебя прошу писать мне прямо, есть ли у тебя деньги. А я прошу тебя, чтобы ты любовно и с удовольствием смотрела на талант своего сына и не осуждала бы его поприще в том случае, если б ему пришлось покинуть службу. А покамест я службы не имею в виду оставить. Помни всегда, что музыкант, если он притом честный и хороший человек, достоин уважения. Имена Бетховена, Шумана и Глинки всегда передаются потомству с уважением. А почему? Потому что эти люди были действительно достойны уважения за их талант и труды».

В ответ на письмо, в котором Софья Васильевна выразила удовлетворение тем, что, по отзывам Канилле, «твоё *Andante* чудно хорошо», Николай Андреевич писал: «Канилле слишком нахвалил мое *Andante*, оно совсем не так хорошо. Если это *Andante* такое чудо, то что же должны быть: 1-е *Allegro* симфонии, которое лучше *Andante*, и финал ее, который гораздо лучше первого *Allegro*? Вот-то прелесть должны быть эти последние вещи! Нет, поверь, это *Andante* совсем не так хорошо. Что же касается до того, понравится ли симфония публике, то скажу тебе, что нет. Очень мудрено, чтобы порядочная вещь понравилась публике. Есть исключения, но это через эффектную оркестровку и через более или менее танцевальный ритм, как, напр., Арагонская хота Глинки. Она соединяет в себе оба эти условия, но действительную ее красоту вряд ли публика оценивает. Так и в моей симфонии. Я знаю в ней место, которое, вероятно, понравится публике, но между тем это одно из слабейших мест; лучшие места — как начало симфонии и финал ее — вряд ли понравятся. Так бывает

почти со всеми хорошими вещами не в одной музыке. В литературе видно то же самое. Разве были оценены последние произведения Пушкина: „Борис Годунов“, „Русалка“, „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“, „Галуб“, „Медный всадник“ и проч.? А Шиллер, Гете, Шекспир? Разве все их ценят? Многие действительно понимают их, а прочие, следуя примеру первых, кричат, что Гете и Шекспир — великие поэты. Вот то ли дело Замбржицкий. Тот не понимает, да зато прямо и говорит: „Лучше бы этого Гете за плуг посадить!“ Сообщает такие вещи, что будто бы поэзия и литература — достояние одних юношей, а что взрослый человек не должен заниматься подобными пустяками. Вот, извольте видеть, попал пальцем в небо! Не прикажете ли благородным людям лежать целый день на боку, как он это делает, да сообщать ученикам своим, что Белинский устарел и что его теперь читать не стоит, как Гаспар Егорович сообщает? Он сам никогда не читал Белинского, а следовательно, и не понимал его, а берет на душу грех говорить подобные вещи мальчикам, которые ведь могут ему поверить. <...> Ты не знаешь, сколько пользы в нравственном отношении приносил мне Балакиревский кружок. Кто меня приютил к чтению, как не Балакирев; с кем я мог вести откровенный и полезный разговор, как не с ним? Да, мама, еще раз повторяю: Балакирев — хороший человек. Теперь скажи, отчего ты всегда такими неприязненными глазами смотрела на мое знакомство с ним, а равно и с Канилле? Неужели потому, что это компания молодых, холостых людей? Неужели ты предпочла бы тому знакомству знакомство с каким-нибудь высоконравственным семейством, где бы на меня смотрели как на мальчика и куда я должен был бы ездить поздравлять в праздники и именины. Или лучшие дружба с Замбржицким, в присутствии которого можно или зевать, или сердиться, как я и делал это летом. А что я предпочитал лучше идти к Балакиреву или Кюи, чем к Ф. Ф. Зальцману, так что ж из этого? Это слишком ограниченное воззрение, что последний родственник должен быть ближе хорошего знакомого. Есть знакомые, которые дороже многих родственников. Пожалуй, ведь можно иметь такой взгляд, что Зальцман — начальник конторы Его Августейшего Величества Великого князя Михаила Николаевича, сам он действительный статский советник, ну, следовательно, его дом — хороший дом и знакомством с ним надо дорожить, а что Балакирев — простой музыкант, и только. Так ведь этак смотреть — значит смотреть нелепо. <...> Прощай. Прошу твоего благословения. Сын твой Н. Р.-Корсаков».

Однообразие и беспрসветность службы на «Алмазе» удручили. Николай Андреевич не мог заставить себя заняться сочинением музыки. Если в душе Софьи Васильевны происходил поворот в сторону признания композиторской деятельности сына, то у него самого, несмотря на поддержку друзей, все больше уходила почва из-под ног, творческие силы постепенно угасали. С горечью писал он тогда к Кюи: «Скажу о себе. Весело ли? — Нет, скучно. Что делаю? — Ровно ничего. Может быть, пишу трио для незаконченной части симфонии? — Нет. Может, новое что задумал? — Нет. Может быть, инструментную или переписываю начисто симфонию? — Тоже нет. Может статься, читаю много? — О, нет. Ну уж, наверно, часто сижу над бетховенскими вещами и над другими? — Нет, нет. Одним словом, мой девиз в нынешнее лето: Ничего! Ничего! Ничего!» Три раза повторенное, это слово Николай Андреевич поместил в центре нарисованного им тут же карикатурного герба, в котором смешились изображения клипера и фортепианной клавиатуры, диеза и bemоля, книги и оружия, львов и орла, распостершего надо всем своим крыльем.

Но вот в судьбе «Алмаза» произошел неожиданный поворот. Следующее письмо, вернее, коротенькую записку Николай Андреевич послал Софье Васильевне из Кронштадта 13 июля: «Нас внезапно потребовали в Кронштадт. Мы пришли сюда в полтора дня. Теперь мы в Гавани. Велено через десять, а может быть и менее, дней быть готовым к плаванию. Куда пошлиют — не знаю, вероятно, за границу. Послезавтра напишу все обстоятельно, а теперь прощай. Сын твой Н. Р.-Корсаков».

В Кронштадте «Алмаз» простоял лишь пять дней, из которых три дня Николай Андреевич смог провести в Петербурге. Однако его пребывание там, о чем он так мечтал, омрачилось тем, что он почти никого в городе не застал, большинство было в отъезде.

У берегов Америки

18-го июля клипер снялся с якоря, получив секретное предписание идти за границу. В тот период назревала война между Англией и Соединенными Штатами Америки, а эскадра русского флота направлялась в Америку в качестве дружественной. В эту эскадру, шедшую под командованием адмирала С. С. Лесовского, входили кроме «Алмаза» фрегаты «Александр Невский» (флагманский корабль), «Пересвет» и «Ослыба», корветы «Варяг», «Витязь» и «Изумруд».

Переход «Алмаза» в Соединенные Штаты длился более двух месяцев. Из-за тихоходности «Алмаза» и особой осторожности капитана Зеленого клипер пришел в Нью-Йорк последним, и команда его не участвовала в торжественной встрече, устроенной русским морякам американцами. Со слов товарищей с других русских кораблей Николай Андреевич рассказывал матери: *«Нашу эскадру приняли здесь дружелюбно, даже до крайности, приглашают всюду офицеров, делали парад, на котором было 6000 войска, для русских собственно; устраивают бал, обещают свозить на Ниагару и проч. В военном платье на берег и показаться нельзя: не ты будешь смотреть, а на тебя будут. Будут подходить (даже дамы) с изъявлением своего уважения к русским и удовольствия, что они находятся в Нью-Йорке. В театре обвешивают стены русскими флагами и чего еще не делают они!»*

Со времени окончания Николаем Андреевичем Анданте симфонии, сочиненного во время стоянки «Алмаза» в Англии, прошло около девяти месяцев. Из них 65 дней прошло в открытом океане. Казалось бы, кроме каждого дневных вахт, ничто не должно было отвлекать его от музыкального творчества. Тем не менее за все это время он ничего не сочинил. *«Да и не надеюсь, — писал Николай Андреевич Балакиреву по приходе в Нью-Йорк. — <...> Теперь меня часто мучит мысль: зачем я не остался в Питере; извольте видеть: убоялся скучности материальных средств! Нет, нужно было бросить службу и жить кое-как, пока не выучился бы порядочно играть; для такого дела, как быть композитором, нужно жертвовать всем, а то ничего не выйдет. <...> Беда в том, что это позднее раскаянье: после ужина горчица, и потому я достоин смеха. Все, что написано на этой странице... прошу Вас не читать никому. Но вообще, за исключением некоторых минут, я спокоен теперь более, чем когда-нибудь, потому что не лезу из кожи, чтоб непременно сочинить что-нибудь; прежде я себя этим только расстрелял; теперь почтываю себе понемножку, о сочинениях стараюсь меныше думать. <...> А я-то воображал, что в 2 года плаванья сочиню симфонии три, а теперь вижу, что если и пять лет пробуду за границей, то все-таки ничего не напишу!»*

С таким настроением прибыл Николай Андреевич в Соединенные Штаты, где новые разнообразные впечатления стали все больше отодвигать музыку на далекий задний план.

Несколько позднее он писал Балакиреву из Нью-Йорка: *«Как бы мне хотелось в Питер, чтобы быть с Вами, о многом бы мы переговорили. С матерью и братом у меня стало так мало общих интересов;*

мать для меня стара, а брат очень мало может мне дать, как я вижу из его писем! Это служащий деловой человек. Мать мне пишет богодохновенные письма, жалеет об упадке молодого поколения. <...> Если б она взглянула мне в душу, то не пережила бы. Бедная мама! А брат, да что брат?. Вы не пишете, и я совершенно один».

Со времени прихода «Алмаза» в Нью-Йорк прошел целый месяц, а писем от Софии Васильевны, кроме тихвинского, больше не было. За это время у Николая Андреевича накопилось много впечатлений, и, не дожидаясь известия от матери, он принялся за письмо к ней. Он писал его с 27 октября по 5 ноября, подробно рассказывая о путешествии на Ниагарский водопад. В начале письма он сообщал: *«Здесь принимали русских радушно, делали балы, обеды и т. п. Например, третьего дня был бал, сделанный гражданами Нью-Йорка на сумму 7000 долларов»*. На этом грандиозном балу Николай Андреевич был, но весьма недолго. Не найдя на нем ничего для себя интересного, он постарался поскорее оттуда сбежать. В нью-йоркской «Иллюстрированной газете» Франка Лесли были помещены рисунки, изображавшие русскую эскадру, стоящую на рейде, и картину бала в честь русских моряков.

«Теперь скажу о поездке в Ниагару, — писал далее Николай Андреевич. — Компания пароходства по Гудзону и двух железных дорог — Эри и Центральной — предложила свозить русских на Ниагару. Поехали половина офицеров по жребию, и я, к счастью, попал в нее. 10-го октября вся эта компания села на пароход и в 8 часов утра двинулась вверх по Гудзону. Пароходы американские — верх совершенства по удобствам: достаточно сказать, что на них есть даже цирюльни. Ко всем удобствам надо прибавить очень скорый ход. Не стану описывать превосходных берегов Гудзона; хотя теперь и глубокая осень, но виды все-таки прекрасны. Мы прибыли в Альбани в 5 часов вечера и, переночевав там, сели на железную дорогу на другой день в 8 часов утра. <...> По железной дороге встречались престранные названия городов: тут есть и Сиракузы, и Варшава, и Аттика, и Рим, и проч., и проч. На железных дорогах в Америке нет разделения на классы, вагоны все одинакие. Янки ездят сломя голову, но рельсы положены, как кажется, аккуратно. <...> В Ниагару мы прибыли в шестом часу вечера и расположились в гостинице около водопада. Вечером было темно и шел дождь, так что мы сидели вечером в гостинице. 12-го октября поутру мы пошли осматривать Ниагару. Описывать водопад я не буду, да и не могу; к тому же вы все, вероятно, читали о нем много, а только скажу порядок, в котором мы осматривали

водопад. <...> Итак, мы пошли к водопаду с американской стороны и перешли по мосту на Козий остров. Берег страшно высок и крут; вода падает с сильным шумом и разбивается в пыль, так что внизу и вообще над водопадом целое облако. Мы спускались вниз, подходили к подошве водопада. Я спустился под водопад по деревянной лестнице, но в пещеру ветров попасть не мог, потому что был сильный ветер, который отгонял водопад, так что закрывал вход в нее. На лестнице очень трудно держаться, потому что вода льется прямо сверху и тяжело дышать. Несмотря на дождевое пальто, я промок до костей. Оттуда мы отправились через мост на канадскую сторону. „Лошадиная подкова“ красивее американского водопада и выше на одиннадцать футов. <...> Радуги над водопадом не было, потому что день был пасмурный. <...> Берега Ниагары страшно высокие и крутые, скала на скале. И как это должно быть красиво летом, когда все покрыто зеленью.

Оттуда мы отправились назад на американскую сторону, где спустились на особенно устроенной машине к реке и, сев в лодку, поехали к американскому водопаду вверх по реке. Мы просили перевозчика подъехать как можно ближе к водопаду. Течение переменялось беспрестанно в совершенно разные стороны, лодку качало и вертело, но при всем этом перевозчик управлял отлично. Наконец он высадил нас на канадский берег. Мы пошли к Лошадиной подкове и, надев непромокаемые платья, спустились по особенно устроенной винтообразной лестнице под водопад. Пройдя по узенькой тропинке под самым водопадом и вымокнув порядком, мы отправились по берегу Ниагары к висячему мосту. Висячий мост — это решительно прелесть; он сделан в два яруса. По верхнему идет железная дорога, а нижний сделан для пешеходов. Вымокшие и уставшие, мы возвратились в гостиницу и ничего более в этот день не смотрели, потому что было темно».

На этом Николай Андреевич свой рассказ прервал и продолжил его на следующий день, 28 октября: «На другой день... пошли мы к водопаду и снялись в фотографии, устроенной на берегу водопада, так что на портрете вышел весь водопад довольно хорошо. Потом мы пошли в индейскую деревню, находящуюся в девяти милях от Ниагары. В деревне заходили в церковь; индейцы превосходно пели молитвы на английском языке. Я нахожу их тип довольно красивым, черные волосы длинные, цвет лица медный. <...> По дороге в индейскую деревню мы посетили Дьявольскую пещеру, Столовую скалу. — Вечером в этот же день небо расчистилось, взошла луна, и мы пошли смотреть лунную радугу у водопада. На другой день поутру (14/X) зашли опять на

водопад, посмотреть солнечную радугу, и затем сели на железную дорогу Эри и покатили в Буффало. Недалеко от города мы проезжали по берегу озера Эри. В Буффало мы пробыли несколько часов. Ночевали в этот день в Эльмайре и во вторник прибыли (15/X) по той же дороге в Нью-Йорк. Вот вам и поездка на Ниагару».

В эти дни сильным шквалом «Алмаз» был сорван с якоря. Два других якоря оказались поврежденными, из-за чего клиперу пришлось временно перейти из Гудзона в Ист-ривер и встать на бочку. 5 ноября Николай Андреевич писал: «Решительно неизвестно, куда мы пойдем отсюда. Перед самым уходом напишу, если узнаю. Теперь прощайте. Прошу твоего благословения, мама, и остаюсь сын твой Н. Р.-Корсаков. P.S. Не понимаю, почему не получаю от вас писем. 21-го был год, как я ушел в первый раз из Кронштадта».

Наконец письма из дома были получены. К тому времени «Алмаз» перешел в Александрию, неподалеку от Вашингтона, и Николай Андреевич снова писал матери: «Александрия. 22-го ноября 1863 г. 15-го ноября, милая мама, мы вместе с „Ослабой“, „Варягом“ и „Витязем“ тронулись из Нью-Йорка и третьего дня прибыли сюда. Стоим в Потомаке. Александрия — городок в нескольких милях от Вашингтона; в последний мы не вошли, как предполагалось прежде. Поговаривали, что здесь хотят сделать бал для американцев, на котором должен был быть Линкольн, но теперь ходят слухи, что бала не будет. Вообще о целях нашего здесь пребывания мы плохо знаем. „Александр Невский“ и „Пересвет“ остались в Нью-Йорке (потому что не могут войти в Потомак). <...> Здесь везде расположены войска; Вашингтон в самом военном настроении. Война отсюда очень близко. Вы, вероятно, не найдете на карте Александрии и потому знайте, что она лежит у самого Вашингтона, так что с клипера отлично виден купол вашингтонского Капитолия. Благодарю тебя, мама, за карточку, она очень похожа и хороша, только зачем ты надела какой-то странный чепчик? <...> Я отдал с портрета папа и твоего (вместе) сделать мне карточку папа, и мне сделали довольно хорошо ее на белом фоне... а то я боялся за прочность папашиного портрета. <...> Не буду тебе описывать перехода нашего из Нью-Йорка, потому что ровно ничего он не имел интересного, было ужасно холодно. Ты меня спрашивала, какое на меня впечатление производили бури. — Самое неприятное: впечатление человека, промочившего себе ноги, впечатление человека, продрогшего от холода, человека, душевно желающего, чтоб буря поскорей кончилась. Говорят, что пойдем отсюда в Балтийсу».

<...> Погода стоит теперь хорошая, но холодно, особенно по ночам; во время перехода были дожди ужасные. Ты спрашиваешь, был ли я здоров во время переезда. — Совершенно здоров и теперь нахожусь в полном здравии».

В заключение письма Николай Андреевич писал о своих музыкальных впечатлениях: «В Нью-Йорке я был два раза в опере. В первый раз в „Риголетто“, да и закаялся былоходить: итальянская опера просто отвращение производит, да и пели здесь так скверно, что ни на что не похоже. Я решил не ходить в оперу, да вдруг дали „Дон-Жуана“. Это хотя и не особенно весело, но все-таки пошел. Пели ужасно гадко, но я по крайней мере не скучал. Но американцы в восхищении от своей оперы и пренебрежительно уверяют, что в Европе нет подобной; — а у самих прескверная. Теперь прощай, милая мама, прошу благословения твоего. Сын твой Н. Р.-Корсаков».

В письме к Кюи Николай Андреевич тоже резко отзывался о спектакле «Риголетто», с которого он ушел, не дожидаясь конца оперы. На это Цезарь Антонович отвечал ему: «Как вы нетерпимы, не могли высидеть „Риголетто“. Это лучшая опера Верди».

В самом начале декабря Николаю Андреевичу удалось провести два дня в Вашингтоне, и по возвращении на клипер он послал матери письмо с подробным описанием поездки в столицу Соединенных Штатов: «Переезд из Александрии в Вашингтон всего полчаса на небольшом пароходе, и потому сообщение с Вашингтоном очень легко и удобно. Вашингтон, как видно с первого взгляда, еще совершенно молодой город; улицы ужасно широки, но не отстроены; весь город раскинут на очень большом пространстве на нескольких холмах; на большей части улиц грязь, и во многих местах город выглядит еще совершенной деревней».

Занятия Николая Андреевича музыкальной композицией все шли на убыль. Несколько подбадриваемый письмами друзей, он пытался сочинять, но ничего не выходило; пробовал приняться за инструментовку своей симфонии, но и она не шла на лад. Тогда же, в начале декабря 1863 года, он писал к Кюи: «Я... ничего не написал, не инструментовал и вообще в области музыки и носу не показывал; почему это — не знаю; да и все такая дрянь лезла в голову... только я знаю, что я не писал ничего не из лени». Письма Николая Андреевича к Балакиреву были полны отчаяния от потери способности сочинять. А Милий Алексеевич отвечал ему: «Из писем Ваших я вижу, что поездка принесла Вам громадную пользу. Несчастье очень развило Вас, и в письмах

*Ваших в последнее время я начинаю видеть уже не прежнее милое
дитя, а славного, честного юношу».*

Разнообразные новые впечатления и каждодневные обязанности на клипере продолжали отстранять Николая Андреевича от музыки, а в это время в Петербурге на одном из музыкальных собраний у Балакирева исполняли на фортепиано еще не совсем законченную симфонию Николая Андреевича, как писал Кюи, — «к великому удовольствию Владимира Стасова».

В середине декабря «Алмаз» перешел из Александрии в Хэмптон-Родс, где простоял около месяца.

На клипере предстояли переделки. Надо было снова менять рангоут, недавно смененный в Англии. Предполагалось мачты сделать толще и стеньги длиннее. Для этого «Алмаз» перешел в середине января 1864 года в Аннаполис.

Во время пребывания Николая Андреевича в Соединенных Штатах ритм корреспонденции между матерью и сыном нарушился.

Мысли Софьи Васильевны постоянно обращались к младшему сыну, она тревожилась за него, особенно когда долго не получала от него писем: «Что я тебе скажу, дружок мой, ты, может быть, посмеешься моему суеверию. Я успокоюсь совершенно, когда получу от тебя письмо после второго февраля. Разумеется, я видела во сне, мне казалось, что слышу твой голос в моем кабинете и эти слова: о, мама! — что меня разбудило, и сердце у меня так билось, как будто хотело выпрыгнуть. Это было в 3 часа ночи, и с тех пор я иногда тревожусь мыслью, уж не случилось ли что с тобой; а недавно прочла в „Кронштадтском вестнике“, что в ваших местах свирепствует натуральная оспа и что офицеры себе прививают оспу и команда тоже. Вот мне и приходит мысль, как бы ты ею не заразился».

Из Аннаполиса «Алмаз» перешел в Балтимор для установки новых мачт. Это было в середине февраля, а 24-го Николай Андреевич писал оттуда Софье Васильевне: «Мы долго собирались сняться с якоря, но сильный ветер с морозом в -13 градусов Реомюра задержал нас в Аннаполисе. Река стала так крепко, что мы гуляли по льду. Все это удовольствие продолжалось около четырех дней; наконец сделалось тепло, и мы снялись с якоря. Но в то самое время, как мы стали делать поворот в реке, у нас сделалось повреждение в машине и мы даже чуть-чуть не уткнулись носом в самый Аннаполис. Этот казус задержал нас еще на один день. Наконец мы благополучно добрались в Балтимору. На прошлой неделе мы разоружились, подтянувшись под

краны и вынули мачты и теперь стоим с одной бизань-мачтой на рейде, следовательно, имеем не совсем красивый вид. Не знаю, как скоро мы начнем вооружаться, потому что мачты наши еще не готовы».

Весь март 1864 года «Алмаз» находился в Соединенных Штатах, переходя с одного места на другое. Ходили разные слухи о дальнейшем плавании клипера, но ничего определенного не выяснялось.

По окончании ремонта «Алмаз» вернулся из Балтимора в Нью-Йорк, где простоял целый месяц. За это время Николай Андреевич написал Софье Васильевне четыре письма. В первом, коротеньком, от 30 марта, он сообщал лишь о приходе в Нью-Йорк и о предстоящем уходе на несколько дней в море. Но «Алмаз», который должен был отправиться на поиски запропавшего фрегата «Осяля», так в море и не ушел, так как фрегат появился на рейде у устья Гудзона, когда «Алмаз» еще только собирался сняться с якоря. Рассказав матери и о других судах русской эскадры, Николай Андреевич писал далее во втором письме 2 апреля: «Третьего дня и вчера я был в опере; третьего дня видел „Фауста“, а вчера „Роберта-дьявола“. Поют ужасно скверно, за исключением мисс Kellog, которая пела в Фаусте Маргариту. Она недурна собой и мило играет, так что одна поддерживает оперу. Немец Hertan, игравший Мефистофеля и Бертрама, играет недурно, но поет нехорошо. Остальная труппа ужасно слаба. Забавно, что в „Фаусте“ хоры пели по-английски, Фауст и Маргарита по-итальянски, а Мефистофель по-немецки, так что слышны то the и that, то итальянские Andiamo и vitorno, то нихт и шпилен зи. Декорации гадкие. В „Роберте“, при страшной сцене восстания из могил падших во греше монахинь монастыря Св. Розалии, неустроимая публика хохотала. Монахини воскресли посредством досок за спинами, стянули саваны и принялись за пляс своими слоновыми ногами; потом появились какие-то индивидуумы в красном платье, изображавшие чертей, так что оставалось уставить лоб в землю и сказать, как мужик у Успенского: „Малина!“ <...> Поговаривают об экзамене; вероятно, он будет, когда вся эскадра соберется, жаль только, что он помешает несколько занятию английским языком, который было пошел у меня на лад. Засим прощай. Прошу благословения твоего. Любящий тебя сын твой Н. Римский-Корсаков. Это письмо, вероятно, ты получиши на Святой, и потому: Христос Воскресе! И целую тебя трижды. И прочих наших с праздником поздравляю».

15 апреля Николай Андреевич держал экзамен на звание мичмана и на следующий день принял за письмо к матери в ответ на только

что полученное от 22 марта: «Вчера экзамен кончился к общему удовольствию, и потому я и сажусь за письмо. <...> Со времени отправления последнего письма я нигде не был, кроме „Александра Невского“, где производился экзамен». Далее Николай Андреевич перешел к самой больной для него теме: «Прошу никому не читать. Ты меня спрашиваешь, отчего я жду с нетерпением 22-й и 23-й год моей жизни, хотя я это сказал потому, что 20-й год мне, наверно, придется пробыть на этом клипере, но сказал относительно музыки. Музыка стоит, ни с места не двигается. А почему? — Ты все меня спрашиваешь, сочиняю ли я пьески, к чему у меня, кажется, как говорят, есть талант. Нет, я не сочиняю ни пьесок, ни пьес, а талант у меня есть, и мне это не кажется, а я знаю это наверно. А если другим только кажется, так я знаю это лу чи е их, и мне никакого нет дела до того, что им кажется, — я знаю то, что знаю. Помнишь, мама, как давно, будучи еще дома, я пытался сочинять; помнишь, я писал какую-то нелепую увертюру, которую тогда ты и папа просили сыграть вечером за чаем, а я закапризился и разорвал. Это было тогда, когда я был еще 12-ти лет. После того, потихоньку от первого учителя своего — Ульха, — я продолжал писать разные глупости, перекладывал то, что написано для двух рук, в четыре и т. п. Наконец я познакомился с Канилле. Он меня заставил сочинять уже явно, и я пошел большими шагами вперед, когда, к своему удовольствию, познакомился с Балакиревым и Кюи. Тут я написал положительно хорошую вещь — Симфонию (e-moll), которая может стать в ряду с хорошими вещами многих композиторов; я тебе это говорю не хвастаясь. Ты симфонию не поймешь, Мари тоже... А хорошему музыканту она понравится, и даже очень. Вперед я шел так быстро, что последние части симфонии выходили прогрессивно лучшие первых. И я видел свои первые ошибки ясно и уже не делал их. В России музыка только что начала (с Глинки) свое развитие, и все русские музыканты не идут, а летят вперед. В Германии это было только с одним Бетховеном, а затем движение и остановилось. Я бы должен поддержать это развитие музыки в России, из меня вышло бы много... А я теперь сижу и ничего не делаю. Музыка стоит и не шевелится. Почему это?.. Страшно то, что я получил некоторую апатию к ней, я сделался равнодушен. Воин обрадуется и скажет, что он это предсказывал и говорил, что все мои бредни о музыке вздор, быть может, и когда я сделаюсь посеребрене, то я брошу ее. Верно, я брошу ее, только вот беда: от ворон отстану, а к павам не пристану. Из меня не будет хорошего морского

офицера, а так же как и преподавателя и воспитателя. Ну что ж, будем служить, тянуть лямку, сделаемся Бауэрами, Зальцманами, Моласами, Афанасьями Ивановичами, Пульхериями Ивановнами, Пироговыми, Петушковыми или кем-нибудь из прочей великой семьи. Сделаемся людьми служащими, потому что с малолетства были определены на службу, сделаемся вообще человеком так себе; сделаемся, сделаемся. Мама, посмотри на меня серьезнее, ты все как-то смотришь не так. Тебе вот не нравится, что Ив. Ив. Тимирев хочет взять Петю в деревню. А я скажу, если Петя будет благомыслящим человеком и отважется от старой барской обломовщины, он может гораздо больше принести пользы в деревне, чем на службе, к которой особенной наклонности не имеет. Пора исключить из русского лексикона слово „недоросль“ из дворян, которое дается тем, кто не служил. Белинский был недоросль, Гоголь, если бы не служил, тоже был бы недоросль, Добролюбов, чай, тоже недоросль!? Бауэр, мне кажется, будет недоросль. Многие из моих корпусных офицеров были действительно недоросли; на клипере многие офицеры недоросли. Я бы не желал быть недорослем!

Прошу покорно тебя никому всего этого не читать, и брату в особенности. <...> Однако прощай. Пора кончать. Прошу твоего благословения. Любящий тебя сын Н. Р.-Корсаков».

Так писал матери Николай Андреевич, когда ему лишь за месяц до этого исполнилось двадцать лет. Переживания его из-за вынужденного отрыва от музыки были тогда особенно остры, но положение было безвыходным.

Наконец дальнейший маршрут «Алмаза» стал определяться, и Николай Андреевич сразу же писал: «Сообщаю тебе новость, милая мама, не знаю, понравится ли она тебе или нет: в четверг, т. е. через три дня, мы уходим в дальнее плавание. <...> Покамест цель плаванья еще не объявляется, так что и я поэтому вам не пишу о нем ничего. Очень естественно, что ты, вероятно, долго не получишь моего письма, а потому прошу не беспокоиться, а из каждого порта я уж буду об себе давать знать. Ты помнишь, что все твои беспокойства во время нашего перехода в Америку разрешились очень просто, и потому, главное, в виду ты должна иметь, что плаванье задерживают всегда самые обыкновенные вещи, например противные ветры и т. п., а совсем не опасности и страхи, которые на сущее забирают себе в голову. Скажу тебе про себя, что я совсем не печалюсь об этом назначении. Видев Соединенные Штаты, я не прочь посмотреть и другое, например

тропики, их растительность и проч. Одного бы я желал, чтобы плавание продолжалось не очень долго».

«Алмазу» предстоял переход по Атлантическому океану в Бразилию, занявший два месяца. С этого времени регулярность переписки между матерью и сыном снова нарушилась.

В Порто-Гранде «Алмаз» простоял два дня, и следующее письмо Николай Андреевич начал писать матери по пути в Рио-де-Жанейро: «Атлантический океан. 27 мая 1864 г. Широта 15° 18', долгота 25° 21'. Вчера в 3 часа пополудни, милая мама, мы оставили Порто-Гранде. <...> Скажу тебе несколько слов о Порто-Гранде; он расположен на острове Св. Вицента, имеет небольшую бухточку и, казалось бы, закрытую со всех сторон высокими горами острова Св. Вицента и соседнего — Св. Антонио; но пассат силою прорывается чрез ущелья и дует постоянными порывами, и рейд, при всем своем закрытом положении, имеет доступ океанской зыби, так что нас все время качало. Вид острова самый пустынный: высокие каменные горы (от 5000 до 7000 футов), покрытые вечным туманом, на вершинах некоторых сидят облака; никакого признака растительности, все сухо и голо; крошащийся городок раскинут на берегу, на горе маленькая крепость, и только. <...> Мы узнали, что у них уже три года не было дождя, что провизию они получают из Европы, что бывают времена, когда до 30 человек в день умирают с голода, и что провизию мы достать можем, но только в небольшом количестве, и то привозную, следовательно, не очень дешевую. <...> Город самый маленький и состоит из белых каменных лачуг; есть одна гостиница и церковь. Население простирается только до 1200 душ и все состоит из негров, за исключением только нескольких португальцев. Негры все нищие, все просят милостыни, голые негритенки толпою бегают сзади и просят есть; вечером все население превращается в один публичный дом. <...> Вчера поутру уголь был погружен, провизия взята, и мы после обеда снялись с якоря и теперь ползем, двигаемые едва заметным пассатом».

Когда «Алмаз» находился уже на 11°59' северной широты, Николай Андреевич писал: «Наступает конец северо-восточному пассату, пошли штили и так называемые маловетрия; ветер беспрестанно меняется, наступает сильная жара и духота; по ночам просто не знаешь куда деваться, по ночам бывает не меньше 21 градуса, так что спать решительно нельзя. Дождя уж давно мы не видали. Говорят, что нехорошо много пить, но я решительно пью много, особенно после обеда, воду с красным вином. <...> Мы купаемся по три раза

в день в колодце винта, где при небольшой зыби отлично обмывает. Вчера к нам прилетела птица и уселилась на бом-бам-рею; вечером ее поймали. Оказалось, что это кобчик, вероятно занесенный в такую даль ветром».

«Алмаз» приближался к экватору, шел под парусами. 7 июня Николай Андреевич записал: «*0°37', долгота 31°13'. Сегодня мы вступили в южное полушарие. Пассат дует довольно основательно... экватор мы пересекли довольно западно. <...> В ночь на 5-е июня пассат нам немного изменил, а именно — налетел шквал с проливным дождем; убрали паруса, и все обошлось благополучно, только дождь промочил до костей, и пришлось простоять босиком, засучив штаны. Дождь падал ужасно крутыми каплями, так что смотреть не было никакой возможности. Каждая капля дождя высекала искры из моря, и вообще оно светилось какими-то отдаленными пятнами. После шквала наступил совершенный штиль, продолжавшийся один час, а потом пассат задул опять своим порядком. Погода вообще стоит чудная, тепло, но неутомительно жарко. Днем видны стада летучих рыб, которые, выскочив, долго блестят на солнце. Южный Крест теперь довольно высок над горизонтом, он очень красив, но блеск его несколько пропадает от близости двух звезд Центавра, которые своей яркостью как-то не позволяют ему стать на первый план. <...> Ты уже, я думаю, позабыла все звезды, которым я тебя учили».*

Больше двух недель Николай Андреевич не присаживался продолжать письмо к матери, так как никаких особых новых впечатлений не было. Он стал писать его дальше лишь накануне прихода «Алмаза» в Рио-де-Жанейро: «*Давно я не писал к тебе, милая мама, и потому сегодня хочу пополнить пробел. Скажу тебе, что все это время погоды стояли ясные, теплые, но ветер не благоприятствовал. <...> Вчера мы развели пары в трех котлах и, идя довольно скоро, завтра надеемся быть в Рио. <...> Скоро придется проститься с теплом, уж близко тропик Козерога, а там опять холода, снежные ветры, дожди, туманы и проч. дрянь. Море так однообразно, что, право, мало есть о чем тебе писать: вода, вода, летучие рыбки, вода, луна, звезды, опять вода, и только это можно здесь видеть и описывать. Помни, что я пишу это одной тебе, а никому другому. Что же я буду писать? О клипере? — Да уж он порядком пригляделся мне. О капитане? — О нем не хочу. — О себе? — Нечего. Я здоров, стою на вахте, ем, пью, курю, сплю, читаю, начертил карту южного неба, отыскал все созвездия по французской астрономии Араго и Гумбольду, прочел несколько*

вещей Байрона по-английски, „О море“ — Гартвига, „Вертера“ — Гете в переводе на английский и проч., наконец, сижу в кают-компании и молчу по обыкновению и, уж разумеется, ничего не пишу для музыки. Кажется, я делаюсь более и более к ней равнодушен: ведь ко всему можно привыкнуть, можно приучить себя меньше или больше есть, спать 7 или 13 часов, стоять на вахте 6 часов и не уставать, не видеть земли 60 дней, а следовательно, и не сочинять полтора года».

После этой фразы Николай Андреевич написал еще несколько строк, но он густо зачеркнул их, видимо решив более не распространяться о своих нерадостных мыслях, чтобы не тревожить понапрасну Софью Васильевну. Это письмо он закончил, когда «Алмаз» уже стоял на рейде в Рио-де-Жанейро, 26 июня: «Вчера в 1-м часу бросили мы якорь на здешнем рейде. Каратинный чиновник сообщил, что здесь в это время года климат здоров и что желтых лихорадок они не видели уже три года. Тотчас же появились фрукты: апельсины, бананы, что было, конечно, чрезвычайно приятно, за ужином — свежее мясо и зелень, прекрасное молоко и прочее. Вчерашиний день провел в потыхах — отдавали белье прачкам, приезжал мичман, который живет здесь уже четыре месяца с русским грузом. Вид рейда и города великолепный; рейд большой, город расположен на горе, так чтоочные улицы его кажутся с рейда огненными ниточками и весь город как будто иллюминован. У входа на рейд стоит остроконечная гора, названная „Сахарная голова“; за городом гора Корковадо с облаками на вершине; зелени много, множество пальм и проч. Наконец, береговой воздух и тепло (хотя здесь теперь самая середина зимы). Теперь утро и все-таки +18 градусов в тени. Простоим мы здесь, я думаю, недели две».

«Алмаз» действительноостоял в Рио-де-Жанейро две недели. Пребывание в Бразилии оставиломного ярких впечатлений, и Николай Андреевич делился ими с матерью в письме, которое он начал писать за четыре дня до ухода из Рио. Это письмо получилось длинное, так как ему хотелось в подробностях рассказать Софье Васильевне о всем диковинном, что он увидел в этом экзотическом краю.

«Рио-Жанейро. Июля 5-го 1864 г. Давно я начал собираться, милая мама, писать письмо, но все откладывал, потому что каждый день было для меня много нового и все хотелось написать сразу. Итак, начну с того, что скажу, что погода стоит великолепная; здешняя зима куда, по-моему, лучше нашего лета, дождей совсем не видать, растительность чудная; мы обжираемся фруктами, бананов,

апельсинов — сколько угодно, за несколько медяшек навалят целое ведро; я ужасно втянулся в бананы и каждый раз, как ем, — вспоминаю тебя. Здесь есть особый род апельсинов, называемый мандаринами, они очень маленькие, но зато чрезвычайно сладкие и вкусные, кожа с них счищается чрезвычайно легко. Ананасов теперь нет, они бывают летом. Вид бухты, которым так чрезмерно восхищается Флетчер в описании Бразилии, действительно прекрасен. <...> Со всех сторон она окружена высокими горами, покрытыми зеленоюющим лесом. Вход ее стережет острый голый пик — „Сахарная голова“. Город расположен на высоком холме и очень красиво смотрит снаружи; внутри он грязен, улицы тесны, красивых зданий нет. <...> В городе есть большой базар, где можно видеть макак, попугаев и прочих всевозможных птичек».

Далее Николай Андреевич рассказывал о своих поездках за город. Первой была прогулка в коляске в бухту Ботофаго. «Бухта эта недалеко от города, и дорога идет между множеством безвкусно отделанных дач, — писал он. — В самом деле, безвкусие ужасное — узенькие расчищенные дорожки, голубые ограды, мизерные цветочки и статуэтки совершенно не гармонируют с пальмами и банановыми деревьями. Бухточка Ботофаго действительно прелестна... видно, здесь любимое место для прогулок». Затем он ездил, тоже в коляске, в местный ботанический сад. «В нем я, насколько мог, познакомился с тропической растительностью. <...> Там есть целые аллеи пальм, хлебных деревьев, бамбука, ананасов, алоэ, бананов, панданов и проч., есть коричневые мускатные деревья, множество неизвестных мне цветов и проч. Вот где бы погулять тебе, мама! Множество колибри летали по деревьям. Вообще сад как сад для прогулки и краткого ознакомления с деревьями — прелесть. <...> Мы пробыли там около 1 1/2 часов».

Особенно подробно Николай Андреевич описывал свое путешествие к водопаду Тижуко: «В 8 часов утра сели мы (в пятером) на железную дорогу. Нас удивил старинный вид вагона: он был в два яруса, и мы поместились в верхнем и могли обозревать окрестность с высоты птичьего полета и бросать корки съедаемых апельсинов прямо на черепичные крыши домов. Локомотив был ужасно старый, кажется, древнее самой Бразильской империи; мы беспрестанно останавливались, то брали пассажиров прямо с дороги, то нужно было лить масло и воду в колеса, то нагонять пары. Наконец после часовой езды мы сошли с вагона и взяли мулов и проводника-негра, который говорил хорошо по-французски. <...> Дорога шла все в гору, и вскоре мы

увидели себя уже выше облаков. Виды по дороге великолепные, в особенности хороши вид Рио-Жанейро с одного из холмов. В 10-м часу мы прибыли в гостиницу, чтобы позавтракать, ибо мы еще ничего не ели. Гостиница расположена в зелени кофейных плантаций и садов. <...> Позавтракав, мы сели опять на наших мулов и отправились к водопаду. Я решительно не берусь описывать всю прелесть этой дороги. Мы ехали в горах, то поднимаясь, то спускаясь в глубокие пропасти; кругом леса бананов и апельсинов, мы лазали на первые и рвали сами дикие апельсины и бананы. Лес был густ; я думаю, никто не прощался в его чащу, он весь был перепутан высокими папоротниками и вьющимися растениями; оттуда раздавалось пение птиц и оглушительный шум кузнечиков. Наконец мы добрались до водопада. Он лежит в глубокой расселине, покрытой густой зеленью, и скорее представляет собою порог, чем водопад, образуемый горным ручьем посреди диких скал, обвитых плющом. Вид чудный, да еще сколько чудесных видов нам пришлось видеть в этот день. Высокие пики гор и ущелья, что шаг, то представляют новый вид, один лучше другого. Мы ехали дальше. Наконец часам к 12 1/2 мы выехали на берег океана. Огромный прибой шумел, видны были два островка и Корковадо. <...> Мы остановились у негритянской хижины, чтобы отдохнуть. Тут росли всевозможные апельсины, мандарины, бананы, американские сливы, хлебное и так называемое „тыквенное“ дерево, из плодов которого делают здесь чашки и другую посуду. Отдохнув, мы отправились другой дорогой назад. Начали взбираться на крученую гору, так что принуждены были сойти с мулов. Вскоре проводник наш потерял дорогу, и мы остались, решительно не зная, куда идти. Пришлось соваться и туда и сюда, и уж было около 3-х часов, когда наконец мы нашли, что нужно перебраться через большую гору, лежащую перед нами. Мы начали взбираться; тропинка шла по краю такая узкая, что казалось, сейчас слетишь в пропасть. Мулы решительно не шли, пришлось сойти с них и тащить их или, идя сзади, бить предлинной хворостиной. Иногда ноги решительно отказывались служить, сядешь на землю, несмотря на кучу муравьев и проч, и едва переводишь дух. Дорогу заслоняли огромные агавы, кактусы и проч. Попадались ананасные деревья и алоэ. Наконец мы взобрались на вершину и, переведя дух, начали спускаться. Это опять своего рода работа; ноги у мулов скользили, они едва-едва шли. Стало темнеть, начали попадаться хижины, и скоро мы выбрались на большую дорогу. Было уже совсем темно, когда мы приехали на стан-

цию железной дороги. Прождав час поезда, мы двинулись и возвратились усталые на клипер.

Ты не поверишь, какое удовольствие мне, да и всем нам, доставила поездка в Тижуко; проблуждать в горах целый день, в тропическом лесу, не могло не доставить наслаждения. Но как различны вкусы! В то время как я пишу это письмо, подле меня ходит наш доктор, только что вернувшийся из Тижуко, и ругается на чем свет стоит, говорит, что ничего не может быть хуже, как спускаться и подниматься по горам, бродить в лесу, в сырости, среди болотных испарений, змей и проч., и что рад бы заплатить деньги, чтобы только не ездить туда, и что когда он возвратился в Рио и вступил на улицу Овидор, то он почувствовал себя как в раю и рад был даже услышать городскую вонь.

На сегодня довольно, пора спать. Завтра я расскажу про нашу поездку в Петрополис — резиденцию короля — и далее во внутренность страны».

На следующий день, 6 июля, Николай Андреевич принялся за описание еще одной интересной поездки — в резиденцию королей и к водопаду Итамарити: «3-го июля в 1 час дня мы сели вдвоем на пароход, долженствовавший везти нас к Петрополису. После часовой езды на пароходе мы пересели на железную дорогу и после того в особенные кареты, которые должны были нас доставить в самый город. <...> Дорога проведена туда превосходная, вымощенная и идет посреди превосходного леса пальм, бамбуков, дынных деревьев и других. Местами с гор были видны Рио-Жанейро и противоположный берег залива с его горами. <...> Дорога все поднималась в гору, и мулы, тащившие нашу карету (здесь лошади редки и ездят почти все на мулах), едва-едва шли. Так мы ехали около 3 1/2 часов, когда дорога стала спускаться вниз и мы увидели Петрополис. В 6-м часу мы были там и взяли номер в трактире. Петрополис — это летняя резиденция императора и место жительства почти всех богатых людей и аристократов; здесь же живут посланники и проч. Климат очень здоров, болезни почти туда не проникают. <...> Город мне очень не понравился; каналы, некрасивые мосты и обстриженные деревья совершенно не идут к великолепному месту, где он лежит. <...> Итак, я сказал, что мы остановились в трактире. Пообедав и погуляв немного по городу и распорядившись, чтоб на следующий день поутру нам были готовы мулы и проводник, улеглись спать. <...> В 7 часов утра, взяв немножко съедобного, мы сели на мулов и отправились из Петрополиса

с желанием пробраться к водопаду Итамарити. Сначала дорога была порядочная, и мы то спускались, то поднимались на горы посреди густого леса. Наконец в глубокой пропасти стал слышен шум водопада, но ничего не было видно из-за густой переплетшейся зелени. Мы вскоре отыскали тропинку и начали спускаться вниз. Тропинка была ужасно узенькая, переплетшиеся растения совершенно заграживали дорогу, видно было, что сюда давно уже никто не ходил, потому что нам пришлось прочищать себе дорогу, и, когда мы ехали назад с водопада, она была уже гораздо чище. Наконец сквозь зелень мы увидели что-то белое, блестящее; после оказалось, что это были белые плоские камни на вершине водопада, что совершенно соответствует названию „Итамарити“, которое значит „Блестящий камень или скала“. Наконец мы были принуждены слезть с животных и, привязав их к дереву, отправились пешком. Приходилось лазать по страшно крутым обрывам, пока мы наконец не достигли водопада. Через ручей, образующий его, мы перешли вброд и очутились на плоской белой скале. Водопад большой, в три яруса падает вода с большим шумом, и все место с окружающей его чудесною растительностью великолепно и крайне живописно.

Мы спустились вниз к подножию водопада и пробирались по множеству отдельных камней. Мостик, который нарисован у водопада на картинках в книге Флетчера, не существует, вероятно, он снесен течением. <...> Отдохнув у водопада, мы выбрались старым путем из ущелья и продолжили путь свой дальше по покрытым лесом горам. Лес чрезвычайно красив. Бананов и апельсинов — признаков жилья — не видать; из известных мне растений встречались: дынное дерево, плод которого употребляют в пищу, манг-дерево с вкусным плодом, тыквенные деревья, агавы, маврикиева и веерная пальмы, громадные папоротники и проч. <...> В числе деревьев должны были быть и красные деревья, но мы не знали их листа, а думаем так по обломку, лежавшему возле дороги. Видно было множество неизвестных нам птиц, многие пели прекрасно, кажется, мы слышали и крики попугаев; множество колибри с синеватыми перьями летало между кустов. <...> Мы обедали у небольшого ручья на камнях, на прехорошеньком месте. Вода в ручье чрезвычайно чиста, так что можно на дне ее видеть все до малейшего камешка. <...> Сделав еще несколько верст вперед и пробравшись к каким-то плантациям, мы заметили, что пора уже назад, и повернули мулов. Не доехав до гостиницы, мы свернули в сторону по прекрасной дороге, ведущей к так называемому Каскадино,

или малому водопаду, и, проехав рядом дач и плантаций, достигли до него. Он гораздо меньше первого, но тоже живописен; место только гораздо менее глухо, чем у первого, — тут есть скамья, есть и надписи имен, посещавших его. Уже стало темнеть, мы поехали в гостиницу и добрались до нее в совершенной темноте. Большие, тяжелые облака лепились по склонам гор, и казалось, собирался дождь, но его не было. Мы чувствовали себя страшно усталыми и едва-едва ходили, да и немудрено, проведши с непривычки весь день верхом или лазая по крутым горам. На другой день мы возвратились старой дорогой на клипер».

В этом же письме Николай Андреевич упоминал о местных церковных праздниках, которые бывали там каждое воскресенье: «В афише объявляется, что будет праздник в честь, например, хощ Св. Марка, в котором просят участвовать всех горожан. Поутру бывает крестный ход, а вечером конские скачки и фейерверки подле церкви и разные барабанные штуки. <...> Мы попали на праздник вечером, это было в церкви на горе. В церкви играла музыка разные места из опер, а когда она замолкала, то играл хор⁵ перед церковью разные марши и вальсы. Мы вошли в церковь. За решеткой, впереди, сидели дамы, дети престолойно играли. По правую руку, в нише, стояла статуя Богородицы, подле нее висели восковые руки, ноги и проч. Музыка так и гремела. На паперти народ престолойно курил, и тут же ломался какой-то комедиант с бутылками в руках и в красном платье (знак, что он принадлежал к церковным служителям). На площади была приготовлена иллюминация. Не зная по-португальски, нельзя было расспросить ни о чем. После я спрашивал у одного, что значит сей индивидуум в красном, мне сказал он, что это проповедник (!?!)». Мы не дождались конца, но после был фейерверк».

Приближался день расставания с Рио-де-Жанейро, и Николай Андреевич заканчивал свое письмо: «Послезавтра мы уходим из Рио в Монтевидэо. Расстояние до него всего около 1000 миль, следовательно, ты можешь ждать в скором времени письма. Уже все почти готово к отправлению. <...> После стоянки в Рио как-то никому не хочется идти в море, тем более что мы уже у тропика Козерога; того спокойствия, тепла, которые были в пассате, уже более не будет, опять дожди, ветра, особенно южные. Монтевидэо, памперо, Магелланов пролив, Огненная Земля, бrrr... Здесь мыостояли недолго, и я не мог

⁵ Хор — оркестр духовых инструментов.

дождаться твоего письма. Долго еще мне не получать твоих писем, ты же будешь получать мои чаще, чем я твои. <...> Да, Монтевидэо, Магелланов пролив, Тихий океан, Вальпорайзо, Кальяо, Лима, Панама, С.-Франциско; там много нового и интересного, а от России все дальше да дальше. Иногда находят странные минуты: не хочется в Россию... потом опять совершенно наоборот. Иногда мне кажется, что я очень переменился. Да что!? Все это очень грустные вещи, что об них много толковать, прошу мало будет из этого, и потому лучшие молчать. Итак, до следующего письма из Монтевидэо. Прощай, прошу твоего благословения. Любящий тебя сын Н. Р.-Корсаков. Что делает дядя? Он хоть бы ко мне написал».

Начался следующий переход «Алмаза» по океану, и уже в пути Николай Андреевич начал писать Софье Васильевне новое письмо: «Южный Атлантический океан. Широта 27°12', долгота 45°17'. Июля 13-го 1864 года. 9-го июля, в четверг, милая мама, мы оставили Рио-Жанейро и теперь двигаемся к Монтевидэо. Но прежде чем стану описывать наше плаванье, скажу несколько слов о последнем дне, проведенном в Рио. Поутру 8-го июля я съехал на берег с одним из товарищей, чтобы купить кое-что; походив по городу и сделав все, что нужно, мы зашли с ним на рынок, где мне еще ни разу не удавалось быть. Рынок представляет самое странное и интересное зрелище. Тут можно видеть всевозможных птиц, от маленьких колибри до зеленых попугаев, всевозможных обезьян, малых сапажку и довольно больших макак, все сорта фруктов и овощей, корзин, кувшинов и т. п. Торговки, все негритянки в самых странных нарядах, придают всему этому самый живописный и несколько восточный, по выражению Вышеславцева, вид. Крик, шум ужасный. <...> Мы купили для пробы два какие-то фрукта, один похожий на манго, большой, другой — на дыню огромной величины. После, разрезав их, мы увидели, что обоих нельзя было есть; первый был совершенно безвкусен и заключал в себе множество семян, похожих на вареный горошек, с неприятным запахом; второй же был вкусом похож на тыкву, заключал в себе множество червей и тоже не годился, чтоб есть его сырым. Итак, покупка не удалась, но зато, право, приятно было пройтись по рынку и потолкаться между попугаев, бананов и черных торговок. Черное население и мулаты составляют в Рио не самый красивый, но, по крайней мере, самый живописный и интересный тип. <...> Меня всегда удивляло, как негры могут ходить с совершенно открытою головою под палящим солнцем, а также носить такие огромные кадки, иногда очень тяже-

лые, на своей курчавой голове... с удивительной ловкостью, совершенно не дотрагиваясь руками. Я заметил, что положение свободных негров в Бразилии (здесь есть и свободные, и рабы) гораздо лучше, чем в Соединенных Штатах; свободные здесь одеваются лучше (часто видишь негритянку в огромном кринолине, разодетую по последней моде) и допускаются во все общественные места.

Вечером того же дня мы вдвоем поехали во второй раз в ботанический сад... было уже темно, и мы гуляли по совершенно темным аллеям пальм, панданов и хлебных деревьев. Тут мы видели в первый раз огромное количество светящихся мух, о которых упоминает Дарвин в своем путешествии. Ночью они кажутся маленькими блуждающими огоньками, порхающими с дерева на дерево и забирающимися во все места — от густой травы до верхушек самых высоких пальм. Свет, испускаемый ими, очень ярок и немного зеленоватого цвета. <...> Мухи эти летают чрезвычайно скоро и очень красивы в темной гуще зелени. Особенно хорошо было смотреть на них, когда они летали около вершины одной высокой пальмы и (как бы для пополнения картины) сквозь листья которой ярко светит Южный Крест. Нам не удалось поймать ни одной из них, а поймали только маленького светящегося червяка, который блестел довольно тускло — зеленым цветом. <...> При наступлении темноты сад огласился оглушительным концертом сверчков и маленьких лягушек, которые журчали и трещали на самые разнообразные лады: один испускает долгую трель, другой издает звук, похожий на нашего русского кузнеца, третий точно все время подрядился громко выговаривать английское "The". Из саду мы вернулись поздно и, поужинав, отправились на клипер, по дороге взглянув последний раз на Ботофаго, озера и густые рощи».

К следующему дню «Алмаз» продвинулсь лишь на один градус южной широты: Николай Андреевич продолжил свое письмо рассказом о начале их дальнейшего плавания: «В 11 часов утра, милая мама, мы снялись с якоря и пошли под парусами в море. Рио-Жанейро, кажется, для нас составляет южную границу хороших погод и приятного плавания. И в самом деле, с ним кончилось тепло и ясные дни. Только что мы снялись с якоря, пошел дождь, сделалось пасмурно... <...> В 8 часов вечера задул жестокий юго-западный ветер с страшными порывами, небо заволокло, сначала видны были зарницы, потом пошел дождь. <...> Ветер был очень крепок, и порывы так были сильны, что почти не позволяли стоять на мостике. <...> Началась сильная качка, на палубе вода от вливавшихся валов, темнота, дождь; стало холодно.

Ничего не может быть неприятнее вахты в такую погоду. Стоишь себе в дождевом пальто на мостике, делать совершенно нечего, рулём почти не шевелят; все убрано, закреплено, люки задраены наглухо; остается только стоять и держаться за поручни мостика, чтобы не слететь при сильных размахах боковой качки. Дождик, холодный и резкий, усиливается при порывах, на меня он производит какое-то одуряющее действие. И без дождя в подобные вахты очень мудреные вещи не занимают голову, а пойдет дождь, забираясь в глаза, в уши, за ворот и т. д., так последняя способность думать пропадет; стоишь, как ошалелый, часа 4 сряду. После вахты спустишься вниз, и там плохо: качает, вещи с полок и из шкапа беспрестанно валяются, сквозь щели палубы течет вода, заниматься чем-нибудь тоже совершенно невозможно. Все думают только о том, что скоро ли все это кончится. Подобное положение дел было и нынче и продолжалось до утра понедельника, когда ветер стал стихать и мы поставили марсели. Сегодня стихло совершенно, осталась только огромная зыбь, которая не перестает переваливать клипер с боку на бок. <...> Разумеется, что в продолжение последних дней мы подвинутся много не могли вперед, а все вертелись на одном месте».

Налетевший на клипер шторм не прошел для него бесследно. В трюме образовалась течь, и, вместо того чтобы идти в Монтевидео, «Алмаз» был вынужден повернуть обратно. Через шесть дней, 17 июля, он снова пришел в Рио-де-Жанейро для ремонта. В этот день Николай Андреевич писал матери: «Гардемарин предполагает, а капитан располагает, милая мама, поэтому ты не должна удивляться, что мы, пройдя уже параллель острова Св. Екатерины, очутились опять в Рио. Дело вот в чем: по осмотре течи... оказалось, что клипер течет после последнего шторма от 24-х до 25-ти дюймов в сутки; течь слишком значительная, чтоб продолжать плавание, не зайдя предварительно в док. А между тем ни в Монтевидэо, ни далее доков нет, следовательно, надо было вернуться в Рио, куда мы вошли под парами сегодня поутру».

После того как «Алмаз» получил столь сильное повреждение, капитан Зеленый стал опасаться, что клипер и отремонтированный не выдержит суровых условий «ревущих сороковых», не сможет продолжить кругосветное плавание. Об этом он послал донесение в Петербург. Но первая почта, с которой это донесение могло уйти, отправлялась из Рио лишь через три недели, а ответа на него надо было ждать еще дольше. Николай Андреевич писал матери, что, вероятно, они простоят

в Рио месяца три, и он очень надеялся, что сможет получить письмо от Софии Васильевны.

Работы на клипере шли небыстро. Прежде чем войти в док для ремонта, он должен был разоружиться. «Сегодня мы перешли на другое место и стали поблизости к доку, который находится на острове Кабрасе, — писал Николай Андреевич 23 июля. — Порох, бомбы и гранаты свезены в крепость, сегодня выгружают провизию, следовательно, останется сдать орудия и уголь и идти в док. Клипер, стоя на якоре на совершенно спокойном месте, продолжает течь по два фута в сутки, значит — исправление необходимо. Интересно знать только, какое приказание придет к нам из Петербурга. <...> Говорят, в сентябре начнутся здесь основательные жары. Вечером, почти каждый день, бывает зарница; после неё совершенно пропадают звезды горят ярко. В Ильин день я был свидетелем удивительной зарницы, из наших офицеров никто еще подобной не видел. И действительно, она имела почти ослепительный свет, вроде цвета фальшивейера, и в продолжение двух часов играла беспрестанно. Южное небо мне нравится более северного, может, впрочем, потому, что оно мне более ново. После заката солнца на юге блестят: Южный Крест, Центавр, альфа которого считается третьей звездой по яркости, Скорпион, Дева, Стрелец и часть Корабля Арго; потом появляются: Павлин, Журавль, Южная Рыба, Кит, Магеллановы Облака и Эридан, главная звезда которого — Ахернар — принадлежит тоже к числу самых ярких. Поутру перед восходом солнца картина совершенно другая: Крест, Центавр, Скорпион и проч. пропадают и восходят Орион, Сириус, Плеяды, Альдебаран и Канопус — великолепная звезда первой величины в созвездии Корабль Арго, которая блеском своим очень мало уступает Сириусу. Последнее время случалось несколько раз, что мы, при восходе солнца, принимали ее за огонь судна и узнавали ошибку, только когда она немного поднималась над горизонтом. <...> В южном небе замечательны очень тоже Большие и Малые Магеллановы Облака, которые состоят из множества мелких звезд и туманных пятен, чрезвычайно ярких, которые представляются глазу совершенно светленькими облачками. Интересны также так называемые угольные мешки. Это черные, совершенно лишенные звезд пятна на небе, которые можно принять за маленькие черные тучки. Самые красивые из них находятся на Млечном Пути у самого Южного Креста. Тут же и Млечный Путь имеет необыкновенно яркий свет, так что отражается в воде. <...> В северном полушарии подобных

ярких мест Млечный Путь не имеет. Вообще, Млечный Путь южного полушария, т. е. от Б. Пса до Стрельца, составляет самое красивейшее место на небе. Вся эта полоса чрезвычайно густо усыпана звездами, и лучшие созвездия находятся тут. Однако извини, я, вероятно, надоел со своим звездным небом; но, вспоминая, как мы с тобой в Тихии зимой рассматривали звезды из окон, я не мог удержаться, чтоб не сказать несколько слов о том, что я каждый вечер теперь вижу».

На следующий день «Алмаз» вошел в док, высеченный в скале. Работы понемногу шли, но служебных обязанностей почти не было, и он мог бывать в городском саду на берегу моря. «Я, по возможности, стараюсь узнать все главные роды тропической флоры и часто вспоминаю тебя, какое бы тебе удовольствие доставило быть в этом саду. И действительно, ты там могла бы видеть растения не только бразильские, но и китайские, индийские, яванские, австралийские и африканские. <...> Увидела бы ты и странную веерную пальму, и темно-зеленую шишиконосную; странные пальмы с корнями, спускающимися с половины ствола в землю, и красное дерево, и какао, и ваниль, и камфорные, и гвоздичные деревья, олеандры, масличные деревья, лавры, бамбуки и все, что тебе угодно».

В противоположность «Алмазу», фрегат «Варяг» дошел до Монтевидео, о чем стало известно и на клипере. Это навело Николая Андреевича на мысли о собственном кругосветном плавании и о морской профессии вообще. Хотя в своих письмах он последнее время совершенно не касался этого вопроса, заполняя их лишь впечатлениями от виденного в Бразилии, это не означало, что он не задумывался над своим будущим, над потерянной способностью к занятиям музыкой. В очередном письме к матери он писал: «Августа 7-го 1864 года (кажется, день рождения папá). <...> Если ты помнишь, при уходе моем из России я, утираясь руками и ногами, чтобы не пойти в поход, никогда не говорил, чтобы собственно кругосветное плавание было бы мне противно; напротив, я сказывал, что желал бы его сделать, но что любовь к музыке и надежда на музыкальное поприще заставляла меня не желать кругосветного плаванья. Меня уговорили идти, и я отправился. С тех пор много воды утекло, и во мне многое переменилось. Музикальный природный талант мой — веиць неоспоримая, и, оставшись в России, может быть, я не был бы счастлив, но был бы на той дороге, которая нужна была бы мне по моим врожденным способностям; хороша ли она или пуста, об этом нечего теперь талковать. Итак, я отправился в море. Хорошо ли было бы, если бы талантливый

живописец или скульптор в молодых годах, когда способности его должно развивать, провел бы два года без занятия своим делом? — Я, по крайней мере, думаю, что, какой бы ни был природный талант (разумеется, я только говорю об изящных искусствах), от духовного безделия он должен был бы сильно упасть, если не совсем заглохнуть. В продолжение двухлетнего плаванья я не сделал почти ничего для музыкального своего развития. Я музыкально отупел, во всем остальном, впрочем, я, конечно, подался много вперед, но в деле, которое я избрал себе, я совершенно подвинулся назад. Правда, в начале путешествия я написал анданте к моей симфонии, но тем все и кончилось; после того, как я ни былся, как ни напрягался хоть что-нибудь сочинить, я ничего не мог и видел, как шагал скорыми шагами назад и назад. Часто я мучился этим, и это прорывалось у меня в письмах. Мне слали на это из России разные утешеньца, которым я, по глупости своей, верил, снова напрягался, и снова у меня ничего не шло. С Америкой все эти досадования на самого себя прекратились, я почти стал равнодушен к музыке и, при уходе из Нью-Йорка для следования на Амур, был совершенно спокоен. Во время перехода тропикалии я немало думал о своем положении и очень хладнокровно пришел к тому заключению, что, придя в Россию, нужно будет пустить музыку побоку, потому что я ясно вижу, верую и исповедую, что на музыкальном поприще мне теперь делать нечего. Теперь я знать не хочу разных сладких утешений, что, дескать, придя в Россию, все пойдет опять старым порядком. Между тем охота к кругосветному плаванию, желание поболее видеть того и другого во мне не остыла, а развилась. Я весело выходил из Рио-де-Жанейро для плаванья в Магелланов пролив, что ты, вероятно, видишь из духа, в котором я писал последние письма. Когда, пройдя уже параллель острова Св. Екатерины, мы повернули опять в Рио, у всех явилось предчувствие возвращения в Россию. Многие этого желают, а многие из нас и нет. <...> Тебе, может быть, и не покажется странно, если ты внимательно разберешь дело, если я скажу тебе, что, направясь мы из Рио на юг, я был бы доволен, а если придется возвращаться, то, при всем желании обнять тебя крепко, я возвращусь в Россию с грустью. Я уверен, что, сообразя все это, ты не будешь печалиться, а пожелаешь мне счастья и благословишь меня. Любящий сын твой Н. Р.-Корсаков».

Николай Андреевич раскрывал свое душевное состояние не только в этом письме к матери. В письмах к Балакиреву еще из Соединенных Штатов он писал: «А ведь что-нибудь да значит, что я ничего не пишу?

Отчего бы это так? — Ведь Andante написано же за границей, отчего же большие я ничего не могу? — Невозможно же, чтоб я совсем зашибил писать, верно, придя в Питер, я снова засяду за работу и она пойдет на лад. И в другом письме: «*Дальние плаванья все не так для меня страшны, а если страшно что, так это то, что я начинаю несколько охладевать к музыке; это не беда была бы еще, если бы привязался к чему-нибудь другому... а то ведь, охладевая к музыке, я ни к чему вновь не привязываюсь.*» Примерно в то же время, когда он писал свое письмо-исповедь матери, он сообщал Балакиреву: «*Извините меня за мое долгое молчание. <...> Я здоров, весел, природа великолепная: здесь бананы сами в рот валяются.*» О музыке он уже не писал.

Наконец 8 августа Николай Андреевич получил письмо от Софии Васильевны, но письмо это было более чем двухмесячной давности. Она сообщала, что находится в Сонион-Сари, что все они живут благополучно и наслаждаются прекрасным деревенским летом.

В тот же день Николай Андреевич отвечал матери: «*Ваше финляндское лето не может сравниться с бразильской зимой. Дни здесь жарче летних петербургских. <...> О растительности здешней уж и говорить нечего, особенно финляндские хвойные и березовые леса куда какую противоположность составляют с здешними лесами тропика Козерога.*» Далее Николай Андреевич писал, что если придется идти в плавание дальше, то он еще не скоро попадет домой, а если им прикажут возвращаться в Россию, то ему не хотелось бы поступать в Морскую академию, так как он не имеет влечения к математическим наукам. «*Собственно службу я все пока не полюбил, — продолжал он, — а только могу переносить без особых сетований, как, например, переношу качку или тропический жар, могу проводить долгое время в море, не скучая особенно, потому что нахожу всегда себе занятие и имею в виду удовольствие встретить что-нибудь новое. Хорошая, нравящаяся мне сторона в этой службе есть только плаванье за границей, возможность видеть много нового, неизвестного мне, да и многим, и, соображаясь с этим, читать и узнавать интересующие меня вещи из других предметов, только связанных с заграничным плаваньем, как-то: историю и естественные науки. Собственно же хорошим моряком я не буду, а еще меньше буду хорошим механиком или математиком, в случае поступления моего в академию. Печалиться же о нежелании поступать в академию ты не должна, потому что, вероятно, ты не пожелаешь навязывать мне дорогу не по сердцу, а из-за одного аксельбанта, верно, не станешь хлопотать. А впрочем,*

может быть, все переменится, как переменилось многое теперь, со временем моего ухода из Кронштадта. Я думаю, что, говоря о нежелании возвратиться в Россию, я не опечалю тебя много, ибо ты пожелаешь мне пользы, а очень долго плаванье продолжаться не может, и мы увидимся еще с тобою. Дело в том, что возвращение в Россию или уход в Тихий океан зависит не от меня, а от приказания властей, следовательно, нужно отдаваться теперь чисто судьбе и посмотреть, что выйдет; а пока еще не зависишь от себя, а от того, как повернется дело, можно много обдумать, как сделать после, когда будешь сам собой распоряжаться. <...> Во всяком случае, я доволен, что высказал тебе теперь настоящий мой образ мыслей, ибо ты не должна бродить в туманных догадках и предположениях касательно последнего и ты, вероятно, сама желаешь, чтобы я был с тобой откровенен. Еще раз повторяю, что теперь мое положение не зависит от меня самого, а от того, как повернется дело службы; мне же остается только желать или не желать того или другого, а от этого ничего не выйдет; спустя же некоторое время, т. е. когда я сам буду от себя зависеть, желания могут объясняться лучше и явственнее, и тогда можно будет поступить согласно с ними и с разумом. Такто-с, милая мама. Вот какие дела-то на свете делаются. Теперь же прощай. До следующего письма. Прошу твоего благословения и остаюсь любящий тебя сын Н. Р.-Корсаков.

По возвращении в Рио-де-Жанейро «Алмаз» простоял там более трех месяцев. Свободного времени у Николая Андреевича было много, и он старался еще больше узнать о местных особенностях, совершал все новые и новые прогулки. 13 августа клипер вышел из дока, но оказалось, что течь все же продолжается. Пришлось разворачиваться и заново обследовать трюм. Через две недели «Алмаз» снова вошел в док. За это время Николай Андреевич был опять свидетелем местных религиозных празднеств, о которых рассказывал в письме к Софье Васильевне: «Нигде, кажется, столько не празднуют, сколько в Бразилии. Все праздники бразильцев разделяются на два главных отдела: на "Dias santos de guarda", или главные праздники, и на "Dias santos dispensados", или полупраздники. В продолжение первых работы запрещена, а во время вторых хотя и требуется участие народа, но труд разрешен. Число первых простирается до 25-ти, а вторых до 15-ти. Рио-де-жанейрские типографии должны зарабатывать огромные суммы на религиозных объявлениях вроде следующих: „Братья монастыря Святого Духа в Сан-Госало (маленькое местечко на берегу) имеют

желание дать праздник 31-го числа сего месяца в честь Святого Духа со всевозможным великолетием. Благочестивые люди приглашаются для содействия и придания большого торжества сему обряду религии". <...> Но кроме церкви объявления публикуют и торговцы, как, например: „Rua des Ourivas № 78. Предлагается прекраснейший выбор Святых, золотые с сиянием по 80-ти сентов каждый; меньшей величины без сияния по 40 сентов. Серебряные с сиянием по 6 1/2 долларов сотня; то же без сияния – 3 1/2 доллара за сотню; жестяные посеребренные по 75 сентов сотня". И праздники действительно сопровождаются великолепными церемониями, огромными толпами народа, конскими скачками, ракетами и проч. Никто не участвует с большим энтузиазмом в этих праздниках, как негры. <...> Страстная суббота известна здесь более под названием „Иудина дня", потому что в этот день изображение Иуды подвергается всевозможным наказаниям: куклу побивают каменьями, колют кольями, вешают, жгут,топят. <...> Негры и мальчишки имеют своих Иуд, над которыми они потешаются, сколько душа просит».

Николай Андреевич ездил на пароходе на противоположный берег бухты, где снова насмотрелся на экзотические растения. «Странно видеть, — писал он матери, — что кактусы, которые мы, бывало, так лелеяли в горшках, растут здесь в грязных закоулках у заборов, между грудами мусора, как негодная трава, на которую никто не смотрит, и между тем достигают огромной величины».

Вдвоем с товарищем Николай Андреевич отправился пешком в Тижуко. «Мы пробродили там целый день — с 9-ти часов утра до 6-ти вечера — и устали так, — писал он 23 августа, — как еще никогда не уставали. День был очень жаркий, и, лазая по горам, иногда приходилось очень плохо от жажды. Само собой разумеется, что при этом страдали попадавшиеся апельсинные деревья и американские сливы, плоды которых пожираешь с зверством. <...> Здесь, куда ни взглянешь, везде представляется что-нибудь прекрасное: либо холм, покрытый зеленью, либо группа пальм, либо рощи бананов, камень, обвитый плющом, небольшой водопадик или что-нибудь подобное. Решительно невозможно передать словами да, пожалуй, и нарисовать все оттенки здешней зелени, освещаемой солнцем, а тем более, не видевши, вообразить что-нибудь подобное. <...> В этот раз мы были свидетелями странного зрелища, именно переселения больших муравьев, которые шли через дорогу огромными массами, построившихся в правильную колонну и равняясь в рядах так хорошо, что если бы видела

это какая-нибудь „военная косточка“, то муравьи непременно бы заслужили благодарность.

Целый день рубашки наши были мокры так, что хоть выжми, и при возвращении домой, что было вечером, когда уже повеяла ночная сырость, мы серьезно боялись простудиться и, вернувшись на клипер, выпили чаю с ромом, чтобы снова пропотеть, что немедленно и воспоследовало, и все обошлось благополучно. Дня два спустя еще ноги были как мертвые и болела голова от сильного жару во время гуляния.

Дело, видимо, идет к лету, становится очень жарко, особенно на этом рейде, куда окончательно не проникает ветер. <...> Сильных ветров здесь почти не бывает, случаются изредка небольшие шквалы, так что вода в бухте вечно спокойна и гладка. Ночью она здесь чрезвычайно сильно светится; плюнешь в воду — искры так и посыпаются. Интересно бывает смотреть по ночам на стада малюсок, которые, плывя, образуют огромные светлые полосы, посреди которых играет и светится множество рыб и рыбок».

В конце августа «Алмаз» снова вошел в док, где простоял пять дней. Течь была почти полностью ликвидирована, на клипере начали все приводить в порядок, чистить и красить. Но известий из Петербурга все не было, и Николай Андреевич продолжал делать «гигантские прогулки, как, например, через Тижукские горы к берегу океана и потом по последнему в ботанический сад». Втроем с товарищами Николай Андреевич ходил и на гору Корковадо. «Дорога шла довольно отлого, — писал он матери, — но, когда мы добрались до небольшой „венды“, т. е. хижин, дорога сделалась страшно крута, и мы едва-едва дотащились до вершины после 3 1/2 часов ходьбы, считая от самой подошвы горы. <...> Облаков в это время на Корковадо не было, а были легкие облачка выше нас, и странно было смотреть на тени, которые они бросали большими движущимися пятнами на землю. Сторона горы, обращенная к Ботофаго и озеру, совершенно отвесна, другая образует холмы у начала города, а третья сливается с горами Тижуко и Гавия, которые выше Корковадо. <...> На другой стороне залива видны покрытые облаками горы Сиерра де Эстrelла, за которыми лежит Петрополис, а за Сахарной головой и Ботофаго тянется голубой океан, сливающийся с небом беловатой, туманной мглою. На каменной стенке высечено множество фамилий посетителей Корковадо разных годов. Мы вырезали и свои. Пробыв там около часу, мы отправились вниз по другой дороге и через полтора часа были внизу. <...> В этот день мы порядочно поломали себе ноги».

Почти весь сентябрь «Алмаз» простоял в Рио, а в конце месяца перешел к острову Ilha Grande, в тридцати милях от Рио-де-Жанейро, в бухту Albroa. Оттуда Николай Андреевич писал 29 сентября: «Долго мы собирались уйти из Рио, милая моя мама, и все не уходили. Со времени моего последнего письма я никуда не ездил, все время сидел на клипере. <...> Сюда мы пришли по рекомендации капитана французского фрегата, стоявшего вместе с нами в Рио. Французы почему-то очень расхваливали эту бухту, говоря, что там и стоянка самая спокойная, и провизию можно доставать какую угодно. Оказалось наоборот: ветер дует здесь постоянно шквалистый; тихая погода и ясная бывает только поутру, к обеду же с гор начинают спускаться облака и лезут на рейд без конца, даря нас сильными порывами и дождем. Провизию доставать здесь тоже трудно, жители острова довольно бедны скотом».

Команду «Алмаза» отпускали на берег, и Николай Андреевич не замедлил отправиться в очередное путешествие, на этот раз один, намереваясь пройти на другую сторону острова. «Не зная, куда направиться, — рассказывал он в письме к Софье Васильевне, — я шел по разным тропинкам, поднимаясь все выше по краю ущелья. Наверху виднелось что-то вроде дороги, и я старался попасть туда, однако это оказалось не дорогой, а песчаным руслом высохшего горного ручья. Видя отпечатки человеческих следов, я стал подыматься по нему и вскоре повстречал лес, в который, казалось, была проптанта тропинка. Я пошел далее и вскоре забрался в такую чащу, что решительно идти не было возможности, что называется, „ни тпру ни ну“, ни назад ни вперед. Вся земля была завалена старыми, засохшими и гниющими деревами и чащей; лианы ползли с высоких деревьев на землю и опутывали весь холм, лежащий внизу. Однако надо было как-нибудь выбираться, и я начал карабкаться по сучьям и стволам лежащих деревьев, беспрестанно проваливаясь. Снизу пахло сыростью, и местоказалось самым благоприятным для змей и других гадов, и я, имея полусапоги, надетые на босу ногу, не на шутку боялся. Наконец лес стал редеть, и я выбрался на опушку, очутившись на краю оврага, внизу которого шумел ручей. Надо было перебраться через него. Цепляясь за кусты, я лез по лежащим деревьям и корням, для разнообразия перемежая все это разными сальто-мортале. Тут я увидел какого-то бразильца, стоявшего на другой стороне, который начал кричать, чтобы я не шел далее, потому что можно было провалиться, а обошел бы немного и сторону. Я послушался его и спустя час был уже

на другой стороне ущелья и полез наверх, чтобы выйти на дорогу, как показал мне бразилец. Покарабкавшись еще несколько времени, я наконец вышел на тропинку и пошел по ней далее вверх. Тропинка шла по густому строевому лесу, окутанному лианами. Меня очень удивило огромное количество кофейных деревьев, растущих здесь в диком состоянии. <...> Вскоре я перевалил через гору и начал спускаться вниз. Наконец лес стал редеть и показалась бухта с белым песчаным берегом, о который разбивался прибой; эта бухта называется „Пальмовой“. Вскоре я дошел до богатой плантации, расположенной на берегу ее. Большой дом стоит подле широкого сада и окружен строениями для помещения негров-невольников. Далее, за садом, тянулись огромные пальмовые рощи и поля. По всему видно, что хозяин – богатый человек и имеет много невольников. Самого его не было дома, и старый негр повел меня показать приготовление кофе и маниоки. Кофе... состоит из семян, заключенных в небольшой красной ягоде. Когда ягоды созреют совершенно, их собирают и насыпают на ровную площадку, где они и высушиваются под лучами солнца. Когда ягоды совершенно высохнут, тогда их переносят в ступы, где высохшее мясо ягоды отбивается, и после на особо устроенной веялке шелуха окончательно облетает и получается чистый кофе. <...> При мне негры приносили в корзинах на голове высушенный кофе и сваливали в кучу. Вскоре пришел индивидуум вроде управляющего или дворецкого с огромным арапником в руке; вероятно, спинам невольников порядочно достается от подобного инструмента. <...> Посмотрев плантацию, я отправился назад. Идя лесом, часто можно видеть ящериц с пестрой кожей, фута в два длиною, которые называются игуана. Задравши хвост, с шумом они пробегают через тропинку. Змей тоже порядочное количество водится в здешних лесах. Когда я шел назад, проползла по траве у самых ног. <...> Всю дорогу я смотрел, как огромная туча приближалась, рассекаемая частою молникою. Вскоре она стала карабкаться на горы, зашумел ветер, и начал по временам накрывать крупный дождь; я ускорил шаг, но только что успел дойти до берега, как хлынул град с маленькою куриною яйцо величиною; градины были такие крепкие, что не разбивались, падая на камни. Вскоре град обратился в проливной дождь, и разразилась гроза. Собрав команду, мы отправились на клипер, куда приехали, конечно, промокшие насеквоздь. А проливной дождь и гроза долго еще после того продолжались».

Хотя команда «Алмаза» была не очень довольна, что клипер отправился к Ilha Grande, но если бы они туда не ушли, то, возможно,

не остались бы в живых. Когда «Алмаз» вернулся в Рио, выяснилось, что там в тот день, когда на Ilha Grande прошел град, был сильный шквал с грозой и градом в 3/4 фунта весом. «Град перебил большую часть окон в городе, — сообщал Николай Андреевич матери, — 11 купеческих судов, стоявших на восточном рейде, были перевернуты, и все погибли; три английских офицера, ехавших в то время на корабль... потонули; английский адмирал, ехавший на шлюпке около форта Санта-Круц, тоже был опрокинут, но спасся; рассказывают, что волнение у входа на рейд развело такое, что один капитан купеческого судна, входившего в это время на рейд, был смыт волною за борт, только что успев высказать надежду на безопасность судна на рейде; вода выступала на берег, и многие улицы были совершенно покрыты ею».

IV

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В обратный путь

По прибытии в Рио Николай Андреевич получил от Софьи Васильевны письмо, в котором она спрашивала сына, увидел ли он теперь пользу от дальнего плавания, сетовала по поводу его «дикости» и просила прислать карту южного неба с описанием его. Был получен приказ о производстве гардемарин «Алмаза», в том числе и Николая Андреевича, в мичманы, о наградах офицерам. Приказа же о дальнейшем плаванье клипера еще не было, но из частного письма Зеленый узнал, что он уже послан и «Алмазу» велено возвращаться в Европу, в Кадис. Оставалось ждать этого приказа.

Николай Андреевич был чрезвычайно обрадован получением известия от матери и 11 октября принялся отвечать ей. О пользе от морского плаванья он не писал, так как не стал повторять свои рассуждения на эту тему, посланные Софье Васильевне ранее. «*Одного я боюсь, — писал он, — что мне несколько жаль возвращаться в Россию. Ты любишь делать часто из муhi слона и, наверно, горевала о том, что сын твой не настолько тебя любит, чтоб желать увидеться с тобою. <...> Скажу тебе, что видеть тебя и говорить с тобой я желаю много, много; а сожаления мои относились только к тому, что я не могу так много видеть, сколько бы увидел в случае плаванья на Амур. Итак, пожалуйста, не сокрушися о холодности моей и знай, что сын твой много тебя любит. Второй раз еще я повторяю, что никогда и прежде не сомневался в пользе и удовольствии дальнего плаванья, одна музыка меня связывала. Радуюсь ли я, что развязался с нею, или не радуюсь — об этом я говорить не буду. Ты этому рада... а другим до этого все равно. Два или три человека найдутся, которые душевно пожалеют меня и, может быть, будут справедливы. — Касательно моей дикости ты опять сделала из муhi слона. Я только сказал тебе, что сижу в кают-компании и по обыкновению молчу, так*

ведь это не значит, что я делаю это из дикости, а только разве потому, что Бог не сделал меня тараторкой, чему я много рад. Иногда я вхожу в разговоры, никто меня не считает скучным сообщником; я знаю это потому, что все бывают рады иметь меня в своем обществе, если предпринимается что-нибудь, например хоть какая-нибудь прогулка или катанье на шлюпках и т. п. Самолюбие мое велико, и было время, когда я имел чем гордиться, многих считал ниже себя, но все-таки был любим всеми, да и теперь любим, может быть более, чем они все любимы мною. А что рассказывают разные господа, видевшие меня в Нью-Йорке, так их и слушать не стоит, знай только, что тебе стыдаюсь говорить правду».

Долгожданный приказ об отправлении в Кадис пришел лишь 21 октября.

Утром 24 октября «Алмаз» снялся с якоря и пошел в обратный путь к Европе. К вечеру берег Южной Америки скрылся из виду. Начался последний большой переход, продолжавшийся более двух месяцев. За это время Николай Андреевич трижды принимался за письмо к Софье Васильевне, подробно описывая обстоятельства этого перехода. На протяжении первых двух недель клипер не раз попадал в штиль. «Солнце, будучи совершенно в зените, так и жарило. В такое время вахты днем очень утомительны, стоишь все время на мостице, где тени нет ни капли. <...> Не только железо и медь, но и палубы раскаливаются так, что жгут ноги через подошвы башмаков, и приходится обливать палубу водой и ходить босиком. Смола капает с снастей, в палубных пазах она тоже расстапливается; купанье мало помогает, ибо вода имеет 21 градус тепла, многие с вахты уходили с ожогами на шею и лицо. <...> Нет ни зыби, ни волнения, и море гладко, как озеро, и клипер стоит совершенно прямо, как на якоре. После такого дня наступает великолепная ночь, луна так и светит; после заката солнца долго блестит Венера, потом вылезает из-за горизонта Орион кверху ногами, странно на него смотреть... совершенно наоборот как у нас. Ночью Сириус блестит прямо в зените».

В шесть часов вечера 16 ноября «Алмаз» покинул Южное полушарие, на другой день прошел неподалеку от острова Св. Петра и Павла и при благоприятных ветрах двигался к северу.

«Я, кажется, еще ни разу не писал о том, как проводится время в море, — продолжал Николай Андреевич свое письмо уже на 10°21' северной широты, — и потому скажу теперь. Команду будят в половине седьмого часа, офицеры встают в семь или в половине восьмого,

в восемь бывает чай; после 9-ти и до 11 бывает парусное или артиллерийское ученье, в 11 часов все окачиваются на верхней палубе; команда обедает в половине двенадцатого, а мы в 12 часов. До двух часов команда отдыхает, после бывают какие-нибудь легонькие работы, ученье грамоте и т. п., а иногда опять парусное ученье. В половине шестого часа матросы ужинают, после ужина собираются около грот-мачты песенники и тянут разные песни часов до семи. Это бывает почти самое лучшее время дня, все бывают наверху, ибо жар спадает к этому времени, солнце заходит, зажигаются звезды, Венера так и блестит на западе. Все сидят на возвышенном баке либо на борте. В 7 часов мы ужинаем, после ужина вскоре кают-компания уж пустеет, кто ложится спать оттого, что сейчас сменился с вахты, а кто оттого, что ночью придется стоять; некоторые же выходят походить с часок наверху. Так проводятся дни, однообразно, нынче, как вчера, завтра, как сегодня. Попадающиеся кутцы доставляют развлечение: пройдет иногда великолепный трехмачтовый. <...> К развлечениям принадлежат также летучие рыбы и дельфины. Последние иногда целыми стадами идут около клипера, обгоняют его, режут ему нос и, фыркая, высекают из воды. Ночью они оставляют за собой огненные следы и искры. <...> Так, 24-го ноября северо-восточный пассат стал свежеть... небо стало серого цвета, развелось большое волнение, началась качка. Ночью этого числа мы были свидетелями редкой красоты; из бывших в дальнем плаванье редко кто помнит подобное явление: была темная ночь, и было большое волнение, и в это время море светилось невероятным блеском. Вся вода от самого горизонта до клипера была в огне и освещала даже паруса; гребни волн, опрокидываясь, светились не то голубоватым, не то зеленоватым светом, волны, разбиваясь о борт и вкатываясь на палубу, рассыпались по ней искрами; все это было так красиво, что многие, несмотря на глубокую ночь и мокроту, выходили наверх и смотрели долго. На следующую ночь, после захода луны, это явление опять повторилось, но не в такой силе, а на третью, несмотря на большое волнение, море было опять темно».

На этом Николай Андреевич оборвал свой рассказ, возможно, из-за плохой погоды, сопровождавшей «Алмаз» на пути в Кадис. «Вот мы и в Кадиксе [Кадисе], милая мама, — писал он 18 декабря, продолжая свое повествование о неприятных сторонах плавания. — С качкой нераздельно связана еще мокрота, но о ней после, кроме же этого большое неудобство составляет страшная духота по ночам в каюте и,

что еще хуже, трюмная вонь. Ты еще, вероятно, не знаешь, что за изящная вещь эта трюмная вонь. Бывает она большей частью на судах, построенных из дуба... в каюте, особенно ночью, если по случаю дождя или качки верхние иллюминаторы заперты, невозможно быть, так что приходилось скитаться по ночам либо в кают-компании, либо в штурманской каюте наверху или где-нибудь в другом месте и, разумеется, спать не раздеваясь. Эта вещь положительно отправляла все, но хорошо, что она свирепствует только периодами, а не постоянно, так что бывают дни, когда можно дышать свежим воздухом в каютах».

Через два дня «Алмаз» снялся с якоря, чтобы по полученному приказанию отправиться в Средиземное море, в Ниццу.

Софья Васильевна писала сыну, но, может быть, не так часто, а главное — ее письма не успевали застать Николая Андреевича в том месте, куда она их посыпала. Так и письма, посланные в Рио-де-Жанейро, до него не дошли и возвращались в Европу. В начале января 1865 года, когда «Алмаз» стоял в Виллафранке⁶, Николай Андреевич получил сразу два письма от матери, в которых она рассказывала о их жизни в Сонион-Сари летом, поздравляла его с производством в мичманы.

В Виллафранке «Алмаз» простоял три месяца и двадцать дней и за это время ненадолго ходил в Тулон, Геную и Специю, благодаря чему Николаю Андреевичу удалось побывать и в этих городах, но больше всего он бывал в Ницце. В письмах к Софье Васильевне он продолжал рассказывать о своих впечатлениях от виденного. Через две недели по приходе в Виллафранку он писал: «Погода стоит здесь по большей части ясная, термометр движется от +16 град. до +11 град., но, несмотря на это, на клипере все жалуются на простуду, кашель и головную боль; даже кот Васька и тот кашляет. Зато наша ньюфаундлендская собака Мельбурн, взятая на клипер еще в Кронштадте, ожила в полном смысле этого слова. Целые шесть или семь месяцев нашего пребывания между тропиками она едва шевелилась, ходила высуниув язык, шерсть с нее вся облезла, и каждую минуту можно было думать, что она взбесится». Успев к этому времени познакомиться с Ниццией, в которую из Виллафранки можно было добраться даже пешком минут за сорок, Николай Андреевич в этом же письме писал о ней: «Ницца — хорошенъкий и чистенький город с правильными улицами и красивыми домами. <...> Русской знати тьма. С 2-х до 5-ти часов можно

⁶ Порт близ Ниццы.

видеть всю эту публику на Promenade des Anglais и бульваре на берегу моря; там глазают они на шляпки, катающиеся под парусами, на пребой и проч. <...> По воскресеньям в придворной церкви, где бывает каждый раз императрица, можно видеть всевозможных Орловых, Барятинских, Блудовых, Хованских и т. д. Тут же живут знаменитости и других наций: и знаменитая красавица венгерская графиня Кароли, и Ротшильд, и проч. Итальянская опера чрезвычайно плоха, театр невелик и с неприятным запахом. Есть французский театр... и, говорят, недурен. Недавно я проскучал целый вечер у мадам Лесовской, где были все капитаны да важные барыни. <...> Гардероб свой я привожу здесь в порядок, ибо здесь платье и все военные атрибуты чрезвычайно дешевы и хороши. Затем прощай. Жду твоего ответа на кадикское письмо и остаюсь любящий тебя сын Н. Р.-Корсаков. Всем передай мой поклон».

Вскоре Николай Андреевич получил от Софьи Васильевны еще два письма и отвечал ей: «Вилла-Франка. 20-го января 1865 г. <...> Ты спрашивала, как мы проводим и празднуем Новый год, по новому или по старому стилю; скажу тебе, что по старому, а проводим как обыкновенное воскресенье и никак его не встречаем, ложась спать основательно часов в 10. На адмиральском фрегате, впрочем, был ужин, но я там не был. — Мари сделала мне удивительную просьбу: ну как я, находясь на Вилла-Франке, привезу ей севильский веер?»

Каждого, приехавшего в Ниццу, не может не заинтересовать посещение соседнего Монако и знаменитого там казино. Побывал и Монако и Николай Андреевич, о чем незамедлительно писал матери: «Сие великое княжество лежит милях в десяти от Ниццы на берегу моря, на живописном месте. Casino, или игорный дом, находится за городом и великолепно убран внутри. В игорной зале царствует удивительный порядок и тишина, только звенят золотые. Играющих очень много, множество дам тоже участвует в игре и, проигрывая, рвет перчатки с досады. Вообще говоря, большая часть проигрывает, а содержатели rulettes наживаются до того, что платят князю огромную сумму за позвание держать rulette и имеют в Casino огромный, прекрасный оркестр, который играет там и за слушание коего не берут платы. <...> Совершенно проигравшихся общество доставляет в Ниццу за свой счет. Я, конечно, не участвовал в игре, а был только хладным зрителем».

Из Европы письма шли быстрее. «Письмо твое, дружок мой Ника, от 22 числа я получила вчера, — писала Софья Васильевна 29 января 1865 года. — <...> У нас опять стоят сильные морозы из 20 градусов,

не выходим; хорошо, что вас здесь нет, вам было бы трудно их переносить; но ты не думай, чтобы мы вели затворническую жизнь, нет, вчера и сегодня твоя мама ездила довольно долго и даже не отмороziла щек. Знаешь, что я тебе скажу, я, может быть, отправлюсь в Тихвин недели на две с Бередниковыми. <...> Давно могила папа сиротствует, хотелось бы на ней за него помолиться; к тому же я очень люблю тамошнее служение на первой неделе. Я за тебя радуюсь, что вы в Тулоне, я думаю, для вас приятнее заходить в разные порты, нежели стоять на одном месте. Благодарю Бога, что и ты, так же как и брат твой, не имеешь страсти к игре и в бытность твою в Монако ты даже не полюбопытствовал попытать своего счастья, как многие это делают и наконец завлекаются; иные, которым оно благоприятствует, желают им воспользоваться, а другие, проиграв, желают возвратить потерянное, запутываются еще более; у нас в семействе были примеры этой пагубной страсти, избави тебя Бог от нее. Страсть к игре доказывает сильное пристрастие к деньгам, а вы оба, благодарю Господа, не имеете его. У меня есть к тебе просьба, милый мой: в местах, в которых ты находишься, можно дешево купить соломенную шляпу, за 12 рублей, говорят, можно иметь такую, что здесь 25 нужно дать. <...> Marie тоже тебя просит, и ей привезти. <...> Она еще велела тебе написать, чтобы ты не думал, что она головешка, что не понимает, что в Вилла-Франке нельзя иметь севильского веера, но что она просила тебя в случае, что вы зайдете в Севилью. Нарцисса Сальгадоровна⁷ тебя просит привезти ей итальянское веретено. Не помню, писала ли я тебе, что мы с ней прядем шерсть на прялке. <...> Что это ты так нынче стал мелко писать, даже в очках не бегло читаю твое письмо. Я к доктору недавно писала, а потому теперь поклона твоего не передам письменно. <...> Когда ты вернешься, надобно будет познакомиться с его сыном, я полагаю, что этим знакомством ты останешься доволен; этот человек любит серьезные занятия, и беседы с ним могут быть тебе столько же полезны, как и приятны. <...> Еще бы хорошо тебе знакомство было с Яковом Яковлевичем Бередниковым⁸, тоже не пустомеля, а серьезный ум. <...> Ты мне говоривал некогда, что ты вздорных разговоров не любишь, а эти молодые люди любят серьезные занятия. <...> Барон... привез Нар. Сальв. шерсти из своего имения, она со мною поделилась,

⁷ Мать Марии Федоровны Римской-Корсаковой.

⁸ Сын археографа Я. И. Бередникова.

и мы прядем с большим усердием. <...> Недавно был акт в Морской академии, по окончании многие адмиралы во всех регалиях пришли к нам, а я никак этого не ожидала, престойно пряла у Marie в будуаре. Развеется, видеть такой пошлый инструмент, т. е. по-нынешнему, им показалось странно в гостиной молодой и хорошенкой женщины, а в прежние времена владетельницы замков другой работы не знали. <...> С тех пор как начались морозы, твой дядя не показывает носу на улицу и с утра до вечера не отходит от камина, или с кочергой в руке преусердно колотит уголь, или, сидя у камина на диванчике, дремлет; вот жизнь, которую он проводит, он ужасно подряхнул. Прощай, дружок мой. Господь да помилует тебя от всего недостойного и да благословит тебя, твоя мама С. Р.-К. Что ты не пишешь брату?

1 февраля. Не удалось мне отправить письмо, милый дружок Ника, потому что дядя, как я тебе писала, не идет показать носу на улицу, а матрос, с которым я иногда посыпала письма, занемог. В субботу же случилось происшествие, которое сильно встревожило, и я до сих пор чувствую остатки следов. Дуняша, раздевая меня вечером, вдруг упала, и с нею сделались сильные судороги, что продолжалось с нею от 1/2 12 до трех часов ночи, и я просидела с прачкой у нее в комнате до 1/2 5. Были Канелла и Шрейцер⁹, вчера целый день лежала, а сегодня еще не может встать — все кости у нее болят. <...> Она при мне с 42 года, и никогда ничего приблизительно похожего на припадок у нее не бывало. <...> Прощай, друг мой. Господь да сохранит тебя».

Для пополнения запасов и кое-каких ремонтных работ «Алмаз» отправился в Тулон и затем в Геную, откуда Николай Андреевич писал 4 февраля: «Извини, мама, что я так долго тебе не писал. Будучи в Тулоне, я собирался писать, да мы так быстро ушли оттуда, что я отложил письмо до Генуи». О Тулоне он писал: «Самый город не представляет ничего интересного, есть театр, где дается опера, несколько кафе на французский манер, где по вечерам поют, танцуют и дают разные комические пьеески. Вообще город очень походит на Кронштадт, матросов и солдат тьма, кабаков тоже довольно, что и заставляет наших матросов предпочитать этот город всем портам Средиземного моря. <...> Мы хотели уходить 28-го числа, как вдруг начался мистраль, и мы должны были остаться до другого дня. Ветер ревел целые сутки жестоко, брызги, срываемые им, неслись с неверной быстротой по всему рейду, который, вследствие этого, как

⁹ Канелла и Шрейцер — доктора.

будто поседел или покрылся снегом, при этом небо было совершенно безоблачно. <...> Геную мне удалось посмотреть довольно порядочно, я был на берегу три раза. Город снаружи очень красив, а внутри на каждом шагу напоминает о старых временах. Улицы узкие, дома высоки, средневековые церкви и palazzo древних фамилий попадаются беспрестанно. <...> На улицах генуэзцы ходят в длинных плащах, похожих на альмавивы, или в черных бурках с колпаками; дамы почти все в белых вуалах. Множество монахов видно на улицах, попадаются и белые доминиканцы, и черные катуцины, босоногие и в сандалиях, и проч.».

Как ни тянулось время, все же свидание с матерью приближалось. Николай Андреевич отвечал на ее письмо: «Ты пишешь, что имеешь задушевное желание касательно меня, и не говоришь его, это нехорошо. Но я, кажется, угадываю его: ты желаешь, чтобы я остался на морской службе. Вероятно, так и будет, но помни, что мне в этом случае, вероятно, не придется долго сидеть вместе с тобой в Питере. Мне кажется, что я угадал. Ты мне должна написать ответ. Но об этом еще поговорим, а теперь я радуюсь тому, что тебя увижу. Теперь прощай. Христос Воскресе! Прошу благословения твоего. Поздравляю всех с праздником. Н. Р.-Корсаков».

Как он и обещал Софье Васильевне, Николай Андреевич продолжал писать ей из тех мест, где «Алмаз» останавливался на пути в Кронштадт. Одно письмо он отправил из Лиссабона, другое из Плимута: «...До скорого свиданья. Отсюда уже недалеко от России, и я, значит, скоро сам к тебе явлюсь. Прошу благословения твоего. Сын твой Н. Р.-Корсаков».

Это было последнее письмо Николая Андреевича к матери из-за границы. Через две недели, 21 мая 1865 года, «Алмаз» пришел в Кронштадт. В своей книге «Летопись моей музыкальной жизни» Николай Андреевич вспоминал: «Мое заграничное плаванье закончилось. Много неизгладимых воспоминаний о чудной природе далеких стран и дальнего моря; много низких, грубых и отталкивающих впечатлений морской службы было вынесено мною из плаванья, продолжавшегося 2 года и 8 месяцев. А что сказать о музыке и моем влечении к ней? Музыка была забыта, и влечение к художественной деятельности заглушено».

Возвращение к музыке

Обосновавшись в Кронштадте, Николай Андреевич стал иногда играть сонаты с местными скрипачами-дилетантами из морских офицеров. Но это он не считал настоящими занятиями музыкой. В «Летопи-

си» он писал: «Я сам стал офицером-дилетантом, который не прочь иногда поиграть или послушать музыку, мечты же о художественной деятельности разлетелись совершенно, и не было мне жаль тех разлетевшихся мечтаний».

В одном из последних писем матери Николай Андреевич писал: «Сегодня я в Петербурге по делам с музыкальным магазином; хочу добыть себе денег, хотя сегодня и не удалось, но зато надеюсь добыть оные впоследствии. — В Кронштадте свирепо читаю, когда приезжаю в Петербург, то свирепо играю на фортепиано. Очень грустно, что в Кронштадте у меня нет и, вероятно, не будет фортепиано, а ныне я чувствую сильную охоту заняться фортепианной игрой. Но что же делать!» Это уже были первые проблески возвращения к музыке, хотя тогда он все еще намеревался продолжить карьеру моряка и даже начал заниматься алгеброй для подготовки к поступлению в Морскую академию.

В сентябре Николай Андреевич был переведен на береговую службу в Петербург. Кончался летний сезон, петербуржцы возвращались из дачных мест, вернулся и Балакирев. Николай Андреевич вновь стал посещать его, возобновились встречи с Каниlle, Кюи, Мусоргским, Стасовым, появилось новое знакомство — с Александром Порфириевичем Бородиным, который вошел в Балакиревский музыкальный кружок после ухода «Алмаза» в плаванье.

Сближение с прежними друзьями по музыке сыграло решающую роль в выборе Николаем Андреевичем дальнейшего жизненного пути. Сразу развязаться с морской службой он не мог по материальным соображениям, но мысль о поступлении в Морскую академию была отставлена. Он поселился в меблированной комнате на 15-й линии Васильевского острова, недалеко от Морского корпуса. У брата, в его директорской квартире, при разросшейся семье, для Николая Андреевича места не было. Он ходил туда только обедать, а на службу в команду 1-го флотского экипажа отправлялся в Галерную гавань. Благодаря относительно малой занятости служебными обязанностями — часа два-три с утра, — он мог часто посещать друзей по Балакиревскому кружку, собиравшимся у кого-нибудь из них.

Атмосфера этого кружка не могла не действовать благотворно на Николая Андреевича. Под влиянием друзей, главным образом Балакирева, в октябре он закончил Скерцо своей симфонии, сочинив недостававшее в нем трио, а в ноябре переоркестровал финал симфонии. В то время в концертах Бесплатной музыкальной школы, основанной

в 1862 году М. А. Балакиревым и Г. Я. Ломакиным, хоровым дирижером и композитором, Милий Алексеевич выступал в качестве дирижера. Он решил включить исполнение симфонии Николая Андреевича в программу одного из концертов Бесплатной школы, потребовал, чтобы тот полностью закончил ее, заставил переписать начисто партитуру и расписать партии.

В «Летописи» Николай Андреевич писал: «Я сознавал, что я мальчишка, написавший нечто, но при этом ничего не знающий и не умеющий даже порядочно играть морской офицерик. <...> После благополучных репетиций, на которых музыканты меня с любопытством рассматривали, ибо я был в военном костюме, состоялся и концерт». Это произошло 19 декабря 1865 года в зале Городской думы, где обычно проходили концерты Бесплатной школы. В программе концерта симфония Римского-Корсакова стояла в почетном соседстве с Реквиемом Моцарта. Дирижировал оркестром М. А. Балакирев.

Симфония имела успех, Николая Андреевича вызывали, и публика была немало удивлена видом автора, когда раскланиваться вышел молодой человек в морской форме. Он был, конечно, счастлив.

В «С.-Петербургских ведомостях» № 340 появилась статья Ц. А. Кюи, который писал: «Публика слушала симфонию с возрастающим интересом и после андантте и финала к громким рукоплесканиям приводила обычные вызовы автора. И когда на эстраде появился автор, офицер морской службы, юноша лет двадцати двух, все, сочувствующие молодости, таланту, искусству, и все, верующие в его великую у нас будущность... встали как один человек, и громкое единодушное приветствие начинающему композитору наполнило залу Городской думы».

Так началась музыкальная карьера Николая Андреевича Римского-Корсакова. Больше музыке он не изменял.

Часть вторая



ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Надежда

Когда в Тихвине Нике Римскому-Корсакову шел пятый год, в Петербурге 19 октября 1848 года появилась на свет Наденька, младшая из детей Анны Антоновны и Николая Федоровича Пургольд. Этим мальчику и девочке из двух далеких друг от друга и незнакомых между собой семей суждено было спустя двадцать четыре года стать супружеской парой. Их детство протекало в совершенно различных условиях. Ника со своими родителями, Андреем Петровичем и Софьей Васильевной, рос в обстановке почти деревенской — в маленьком тихом провинциальном городке. Наденька — в громадном столичном городе со всем многообразием его культурной среды.

В семье Пургольд все дети учились играть на фортепиано, и в этом Наденька нашла свое призвание. В тринадцать и четырнадцать лет Наденька Пургольд весьма успешно выступала в концерте в зале Коммерческого училища и играла произведения Шумана, Мендельсона и Шопена, исполняла партию фортепиано в скрипичной сонате Бетховена в ансамбле со скрипачом Пиккелем.

Для Николая Римского-Корсакова к концу 1865 года давно ушли в прошлое и светлые годы беззаботного детства с родителями в Тихвии, и годы учения в Петербургском Морском кадетском корпусе, когда он приобщился к столичному музыкальному миру, обнаружил большой композиторский талант и, поощряемый Балакиревым и другими друзьями по музыке, начал сочинять симфонию; закончилось и заграничное плавание, обязательное для получения после окончания Морского корпуса офицерского чина, когда он почти на три года оказался отлучен от музыки и бросил сочинять, так и не закончив симфонии. Теперь он снова был среди прежних друзей, снова вошел в музыкальный кружок, главой которого был Милий Алексеевич Балакирев. Возобновилось его знакомство с членами этого кружка композиторами

Цезарем Антоновичем Кюи и Модестом Петровичем Мусоргским, с музыкальным и литературным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым, появились и новые знакомства — с композиторами Александром Порфириевичем Бородиным и Николаем Николаевичем Лодыженским, тоже вошедшим в Балакиревский кружок. Под их влиянием Николай Андреевич вернулся к работе над симфонией, досочинил ее и ощутил радость от успешного ее исполнения в декабре 1865 года под управлением Балакирева в концерте Бесплатной музыкальной школы.

Но, несмотря на свой блестящий дебют на музыкальном поприще, Николай Андреевич из материальных соображений не мог развязаться с Морским ведомством. К счастью, он был назначен на береговую службу в Петербурге и его малоприятные обязанности занимали не так уж много времени.

Перед Балакиревым он благоговел, считал его высшим авторитетом в музыке. Однако настоящие дружеские отношения сложились у него с Мусоргским и Бородиным. С последним встречи и беседы о музыке происходили в здании Медико-хирургической академии, где Бородин, как ученый-химик, имел свою лабораторию, там же и жил.

Композиторская деятельность Николая Андреевича продолжалась. К середине 1867 года уже были изданы двенадцать его романсов, сочинена Увертюра на три русские темы и Фантазия на сербские темы, написанная специально для концерта, устроенного в честь славян.

Тогда же, к середине 1860-х годов, две младшие сестры Пургольд стали принимать участие в музыкальных вечерах у Даргомыжского.

Облик Наденьки Пургольд был прелестен. Как-то Даргомыжский во время одного из музыкальных вечеров, когда она сидела за фортепиано и аккомпанировала певцу, сказал соседке, артистке Ю. Ф. Платоновой: «Посмотрите, какой строгий греческий профиль. Какая девственность и чистота во всем ее лице. Милая талантливая девушка. Я ее ужасно люблю».

Такой и предстала она взорам молодых композиторов-балакиревцев, когда все они впервые оказались на музыкальном вечере у Даргомыжского.

Это было 5 марта 1868 года. К этому времени у Николая Андреевича было за плечами уже два с половиной года береговой службы и он получил звание лейтенанта.

В тот памятный вечер знакомства молодых композиторов с сестрами Пургольд исполнялись романсы, играли в четыре руки «Садко». Николай Андреевич, младший из членов Балакиревского кружка, считал

за большую часть знакомство с Даргомыжским. Со своей стороны, Александр Сергеевич не мог не признать его выдающейся одаренности и говорил, что «это большой талант и надо его беречь, чтобы дать ему вполне расцвести».

Пургольдовский музыкальный кружок сыграл большую роль в развитии творчества всех балакиревцев. Многие их произведения первый раз исполнялись именно в доме Пургольдов и проверялись талантливым исполнением сестер Надежды и Александры.

В августе 1870 года Надежда и Александра Николаевны остаток лета проводили на даче, снятой в Парголове, дачной местности под Петербургом.

В конце месяца Надежда Николаевна записала в своем дневнике, в котором продолжала с полной откровенностью писать обо всем, что ее волновало, о себе и окружающих ее друзьях:

«Замечательно, что именно осенью происходит (по крайней мере, у меня так) какое-то особенное брожение мыслей, потребность деятельности. Когда, наконец, многое передумаешь и в некоторых вещах додумаешься до чего-нибудь, тогда появляется желание передать это бумаге. Я пишу свои заметки всякий раз осенью именно вследствие выше сказанный причины. Так же, как весной происходит брожение в крови, сильные порывы чувства, томительное стремление куда-то и желание чего-то, одним словом, вообще это время ощущений, работы сердца и чувства, в противоположность тому осень — время работы ума, мышления».

Не дожидаясь начала петербургского сезона, Николай Андреевич и его друзья решили навестить сестер Пургольд на даче. В то время у Надежды Николаевны и Николая Андреевича зарождалось глубокое, светлое взаимное чувство, но как он, так и она хранили его пока друг от друга в тайне, которая приоткрывалась лишь на страницах девичьего дневника. После появления в Парголове троих музыкантов, и среди них Николая Андреевича, Надежда Николаевна записала:

«30 авг. 1870 г. (второй час ночи). Какая неожиданная и, могут сказать, поэтическая была наша встреча. Луна, балкон, чудная ночь. И как смешно: только что я пропела про себя «В царство розы и вина приди, приди — я жду» и, напевая его, подумала, как досадно, что он так давно не едет к нам, как вдруг слышу знакомые голоса, наконец, вижу белую фуражку [морского офицера]. Думаю, что к нам идут; нет, мимо; я в не решительности; наконец Искренность, кажется, увидела, что кто-то стоит на балконе, ну а затем я попросила зайти. <...> Я еще так мало видела Искренность, ничего не успела ни ска-

зать ему, ни его расспросить, а сказать так многое хотелось. Я уверена, что он меня хорошо настроит. <...> Меня Искренность оживила, и я надеюсь, завтра еще больше оживит. Хорошо, что мы завтра увидимся. Сегодня это было точно сон, так неожиданно скоро».

Под Искренностью подразумевался Николай Андреевич. Таким прозвищем наделили его «музыкальные барышни». Через три дня Римский-Корсаков и Мусоргский снова были у Пургольдов. Об этом вечере появилась новая запись в дневнике Надежды Николаевны:

«Что написать о сегодняшнем вечере? Хорошо было, так хорошо, как редко бывает. <...> Ничто не мешало мне вольно предаваться вдохновению и наслаждению, которое мне доставляет музыка Искренности. Да, я все больше убеждаюсь, что его музыка мне как-то ближе и еще более по душе, чем музыка Юмора. В его таланте есть какая-то неотразимая привлекательность, симпатичность, теплота и вместе — высокой красоты грандиозность. Я не чувствую сегодня неудовлетворенности, мне было вполне хорошо, так весело. Когда я слушаю некоторые из моих любимых вещей Корсиньки, то во мне происходит такой внутренний восторг, что нет возможности сдержать его в себе и не выразить каким-нибудь жестом, движением, словом. <...> Тысячу раз счастлив тот, кто таит в себе такую божественную искру! <...> Редко с кем чувствуешь себя так легко, просто и непринужденно, как с Искренностью. Его присутствие никакого не стесняет, напротив, даже как-то делаешь смелее».

А Николай Андреевич после этого вечера стал называть Надежду Николаевну Золотой рыбкой.

Следующий раз, уже в Петербурге, Надежда Николаевна продолжила свой дневник:

«Что меня теперь радует, это что наши отношения стали теперь, по возобновлении, еще лучшие, чем прежде; мы с ним самые хорошие приятели. <...> Корсинька такой редкий человек, что ему ни скажи, каких глупостей ни наговори и как дурно себя ни веди, все-таки из этого дурного ничего не выйдет, потому что — я сейчас даю свою голову на отсечение — он никому не расскажет, не перескажет, не осмеет, одним словом, поступит, как вполне благородный человек и умный. Но ведь не все такие, и даже можно сказать, что, кроме него, и нет таких больших. Да, в самом деле нет и нет!»

И еще запись:

«Несколько раз меня мучила мысль, что я холодна и неспособна любить. Но зачем об этом думать. Мне кажется, надо просто

любить насколько можешь сильно, насколько позволяет натура, не вдаваясь в этом случае в размышления. И я думаю, что я не настолько испорчена, чтобы не быть в состоянии сильно полюбить. Потому что мне кажется, что это может происходить только от испорченности. По своей природе всякий человек способен любить, и даже одинаково сильно, но свойство этой любви, способ ее выражения, конечно, будут так же разнообразны, как разнообразны люди. <...> Что касается до меня в настоящую минуту, то мне приятно, меня даже как-то веселит это искреннее сознание перед собой, что я свободна, никого не люблю, т. е. ни в кого не влюблена. А люблю-то... хоть, например, того же Корсиньку. Я так искренно, всей душой к нему привязана, так глубоко убеждена в его хорошести, если можно так выразиться, что мне кажется, я даже способна была бы для него на какие-нибудь жертвы. Конечно, в этом случае много значит и его теплое расположение, в котором я так же уверена, как в самой себе. Я уже убедилась, что не могу любить без взаимности. Мне так как-то легко, хорошо и весело в его присутствии».

Взаимное чувство двух молодых людей расцветало одновременно с созданием Николаем Андреевичем своей первой оперы «Псковитянка», которую он начал сочинять еще в конце лета 1868 года.

Его визиты к Пургольдам участились, он приходил не только на музыкальные вечера, но и просто поиграть с Надеждой Николаевной в четыре руки, показать что-нибудь новое из «Псковитянки».

Николая Андреевича очень интересовало мнение Надежды Николаевны о его опере, он прислушивался к ее суждениям, которые считал далеко не поверхностными.

Надежда Николаевна пыталаась убедить Николая Андреевича, что у нее масса недостатков, что она вовсе не так музыкально талантлива, как ему кажется. 30 апреля 1871 года, на следующий день после разговора об этом с Николаем Андреевичем, в ее дневнике появилась новая запись:

«Он такой безукоризненный, чистый, идеальный человек, что от этого и не видит дурного в других. Он меня освещает собственным светом и, сам не замечая этого, любуется отражением своего же собственного света. Это совершенно то же, как если бы солнце любовалось луной, т. е. ее светом. Вот это-то сравнение мне и пришло сегодня в голову, и жаль, что оно не пришло вчера, я бы ему это сказала. Это очень удачное сравнение. Именно по поводу моего критического взгляда и вообще музыкального развития я бы ему сказала это.

Он говорит, что я очень развилась в этом отношении, что всегда обо всем можно спросить меня и принять к сведению мое мнение. Но он не замечает или забывает то, что это, положим, довольно верное отношение к делу откуда же ко мне пришло? Из того же кружка, и даже преимущественно от него самого, так как с ним я ближе, чем со всеми остальными, и более всего испытываю на себе его влияние. Следовательно, это и есть только отражение очень хорошо знакомого ему света, следовательно, я не вношу в кружок ничего нового, свежего, самостоятельного и поэтому не могу иметь того хорошего, нравственного влияния, о котором он говорит. Как он заблуждается! Как это мне ясно и как нужно было бы доказать ему это. Конечно, я твердо уверена, что рано или поздно он сам к этому придет, но надо бы скорей, чем скорей, тем лучше. Как это ни ужасно, но, я надеюсь, у меня будет достаточно твердости перенести это. Относительно Саши он прав совершенно, и при определении ее вполне выказался его светлый, ясный ум, большая наблюдательность и удивительно верная оценка и меткая постановка личностей. Он так верно и так убедительно доказал и отвел ей надлежащее место. При сравнении меня с нею многое было так же верно, но опять ужасно, что он освещал меня своим хорошим, теплым и мягким светом и поэтому преувеличивал и попал на ложный путь. Но даже и тут из этого видно, как жалко и призрачно мое положение в кружке и влияние на него, что даже он не мог при всем желании точно определить его. Это какое-то нравственное влияние. Это очень приятное, но мало значащее слово, т. е. это что-то воображаемое, но неосознанное, несущественное. И вот из примера, который я приведу, это можно ясно увидеть: исчезни я из кружка, ну, умри или что-нибудь подобное, это пройдет бесследно, это не отзовется ничем, все будет идти своим порядком, будут совершенно такие же вечера, на них будет исполняться все то же, потому что без меня можно вполне обойтись. Я не говорю, конечно, о том, что если б я, положим, умерла, то это временно могло бы расстроить дело, ну, наконец, несколько огорчило бы кружок просто уже вследствие наших личных, не музыкальных отношений, особенно Корсиньку, с которым мы такие друзья, и даже я боюсь, что он смотрит на меня более чем на друга. Но собственно для музыки это прошло бы бесследно, не оказав никакого влияния. Теперь, исчезни Саша, то ли бы было? Нет; это было бы очень чувствительно для кружка: вечера от того сильно расстроились бы, ничего нельзя было бы исполнить, да и сочинялось бы вследствие

этого меньше, потому что, когда имеешь в виду услышать свою вещь в превосходном исполнении, это всегда способствует тому, что она скорее тишиется. Наконец, я уверена, что некоторые вещи Мусоргского вовсе не были бы написаны, не будь Саши. Сам того не сознавая, он написал своих «ребят»¹ из-за нее или для нее, потому что он хорошо знал, что, кроме нее, никто не может их исполнить так, как следует. Своим исполнением она вдохновляет других. Наконец, своим веселым, бойким, общественным характером она всех может оживить, хорошо настроить, одним словом, она — душа общества. Я же не вношу в общество элемента веселости или чего-либо подобного... Вот какая разница между нами двумя. Мне очень жаль, что этот пример, который уже много раз прежде приходил мне в голову, именно вчера мне не пришел и я ему не высказала этого. А теперь, хотя бы и хотелось, да уж, я думаю, не выскажу, потому что я дала вчера зарок больше не возвращаться к подобному разговору. Пора, наконец, чтобы в наших разговорах перестала играть такую крупную роль моя личность. <...> В самом деле, когда слишком много возишься с собою, слишком тратишь время на самосозерцание, не остается времени наблюдать за всем окружющим, даже за близкими людьми, которых часто видишь. Когда слишком бываешь погружен в самого себя, то другим людям кажется, что ты к ним холоден. Да и в самом деле, вследствие этого делаешься неспособен сильно чувствовать нужды, заботы или горести другого, не можешь выказать достаточно участия, не помогаешь словом или делом. А это ужасно дурно. Я именно теперь убедилась, что лучшее, что может дать жизнь, это сознание, что живешь для других, а не тратишь весь на себя самого, что в самом деле нужен для окружающих и умеешь их достаточно сильно любить и приносить им пользу. А Корсунька такая прелестная, чистая, светлая, цельная личность, какой я, наверно, больше не встречу во всю жизнь, и встреча с ним навсегда останется для меня светлым лучом».

Она продолжала с захватывающим художественным интересом следить за ходом сочинения Николаем Андреевичем «Псковитянки», и этот интерес сплетался с волнующими личными чувствами.

Николай Андреевич, высоко цени музикальные способности Надежды Николаевны, хотя она и старалась всячески принизить свою одаренность, стал поручать ей инструментовку некоторых номеров. В одном из писем он сообщал ей свои мысли по поводу изменения

¹ Цикл песен М. П. Мусоргского под названием «Детская».

оркестровки Антракта, пришедшие ему в голову в поезде на обратном пути из Парголова, и предлагал Надежде Николаевне сделать все намеченные им исправления. В конце он приписал:

«Все эти соображения сообщаю нехорошай особе для сведения, а в пятницу пусть она мне покажет свою работу, надо только, чтобы эта нехорошая особа действовала смело; кому другому, а ей-то бояться нечего, головка-то у нее светлая».

В отношениях Николая Андреевича и Надежды Николаевны наступил кульминационный период.

6 ноября Николай Андреевич получил известие о смерти старшего брата, Воина Андреевича, который скончался 4 ноября в Пизе, куда поехал лечиться. Его здоровье было подорвано чрезмерной нагрузкой в течение десяти лет пребывания на посту директора Петербургского Морского корпуса. Не щадя себя, он слишком много сил отдавал своим служебным обязанностям. Начальством по морской службе Николаю Андреевичу было разрешено поехать за телом брата и перевезти его в Петербург.

На следующий день Николай Андреевич был у Надежды Николаевны и между ними, видимо, произошло объяснение.

Придя вечером домой, в смятении чувств, он послал ей записку:

«Милочка моя, славная девочка, я сам не знаю, зачем я пишу теперь к Вам, так как я только что простился с Вами, но я в таком настроении, что мне хочется с Вами еще поговорить, хотя собственно не знаю, про что я с Вами говорю, но вы такая чудесная, что почему-то это все уж так само собой выходит. Вы должны быть совершенно хорошая все это время, потому что если я это буду знать, то и мне будет хорошо. Досадно ужасно, что Вам невозможно будет написать ко мне, потому что мы, того и гляди, разъедемся с письмом. Вы знаете ведь, что я об Вас все время буду думать, а потому мне надо, чтоб я думал, что Вы покойны и хороши, а для этого вы должны быть такою. Прощайте, до свидания, до скорого, разумеется. Ваш Н. Рим.-Корсаков. Если получите рано это письмо, то черкните мне что-нибудь на дорогу; я до 11 часов утра еще здесь. До свидания».

На следующий день, день отъезда Николая Андреевича, Надежда Николаевна послала ему ответное письмо, но уже в Пизу:

«Хоть Вы и говорите, Корсунька, что мне невозможно будет написать Вам, а я все-таки пишу. Конечно, Вы не думали, что я буду такая смешная, что напишу Вам в тот же день, как Вы уехали. Сегодня утром мне ужасно хотелось, еще до получения Вашей записи,

написать Вам несколько слов, но неудобно было послать, а получив Вашу записку, мне сделалось ужасно скучно и досадно, что я этого не сделала, но тогда было уже поздно. Взамен того поговорю теперь с Вами. Фим, по Вашему поручению, зашел к нам после обеда, рассказал о том, как он Вас провожал, очень успокоил меня, сказав, что Вы поехали совсем здоровый и бодрый. Вчера Вы были в таком нервном состоянии, что я просто боялась за Вас. Исполняя Вашу просьбу и Ваше желание, я стараюсь быть хорошей. Принудила себя поучить Бориса. Ради Модеста Петровича мне бы не хотелось в пятницу действовать так же плохо, как в прошлую субботу. Будем стараться, чтоб этого не случилось. А когда Вы вернетесь, тогда уже будет совсем настоящее исполнение Бориса, повторение Псковитяночки нашей миленькой и вообще много, много хорошего. Приезжайте только быстрее. Но помните, пожалуйста, то, что я Вас просила: берегайтесь своих силы; лучше уж, если можно, остаться где-нибудь лишний день, только чтоб не слишком утомляться. Как странно подумать, что Вы будете читать это письмо где-то за несколько тысяч верст отсюда, при какой-то совсем чужой обстановке. Может быть, мое письмо несколько перенесет Вас в другую, хорошую обстановку. До свидания, Корсунька. Крепко жму Вашу руку. Напишите мне, когда Вы думаете ехать обратно и в какой день рассчитываете быть здесь».

Николай Андреевич приехал в Пизу двенадцатого числа и на следующий день писал к Надежде Николаевне:

«Я прибыл сюда вчера поздно вечером значительно уставший, и потому обещание свое написать к Вам, голубушка моя, я отложил до сегодняшнего дня. Сегодня же я отослаг телеграмму Модесту. Здесь я нашел все, насколько это могло быть, хорошим, т. е. всех здоровыми и достаточно бодрыми, а потому и возвращение назад может состояться беспрепятственно. В настоящую минуту я еще не могу точно определить день отъезда, потому что еще не получено разрешение из Рима на вывоз тела, но оно должно прийти не завтра, так послезавтра, и тогда ничто нас здесь задерживать не будет. Придя в последний вечер от Вас домой, я расстроился так, что себя не помнил, и почти в состоянии лихорадки, торопливо написал Вам, и теперь мне письмо это представляется в каком-то тумане; но одно скажу, что не отрекаюсь ни от одного слова из этого письма. На другой день я уехал из Петербурга с крайне болезненным чувством; разумеется, с усталостью и дорожными впечатлениями это чувство до некоторой степени углеглось. Я думал много о Вас всю дорогу, думал о том,

какая Вы все это время, такая же хорошая, как обещались быть; а когда по дороге случалось видеть что хорошее, всегда хотелось посмотреть на это вместе. Я пишу Вам очень мало, но это потому, что я не умею писать много, а скажу, что ничего так не желаю, как поскорее быть в Петербурге.

Ваш Н. Рим.-Корсаков.

P.S. При свидании сыграю Вам одну вещицу, пришедшую в дороге. Если задержусь здесь несколькими днями более, то напишу Вам.

Через два дня по приезде в Пизу Николай Андреевич получил письмо Надежды Николаевны и на следующий день отвечал ей:

«Какая Вы хорошая, а не смешная, за то, что написали мне в понедельник. Письмо Ваше я получил вчера, и оно меня оживило и развеселило. Спасибо Вам, дорогая и хорошая девочка, за него. Завтра мы выезжаем отсюда, все дела покончены, но день приезда в Петербург с точностью определить не могу, потому что не знаю, сколько раз мы будем останавливаться. Вероятно, мы прибудем в Петербург в промежуток времени между вторником и четвергом будущей недели. Я знаю, что по возвращении предстоит мне еще много неприятного, но я также знаю, что когда приду к Вам, то это неприятное все улетит к черту. Итак, до скорого свидания, еще раз Вам спасибо, что написали мне».

По возвращении Николая Андреевича в Петербург прах Воина Андреевича был помещен в церкви Морского корпуса, 30 ноября состоялись отпевание и похороны на Смоленском кладбище. Через некоторое время на могиле Воина Андреевича, находящейся рядом с собором, был поставлен крест из черного мрамора. (К счастью, эту могилу миновала губительная волна разорений, постигшая многие могилы на кладбищах России в советский период ее истории.)

По какому-то поводу Николай Андреевич послал Надежде Николаевне записку:

«Голубушка, Золотая рыбка, если Вы на меня сердитесь, то не сердитесь».

Но у нее и в мыслях этого не было.

«Что Вы, Корсунька, откуда Вы это взяли, что я на Вас сержусь? Хотя во мне много нехорошего, но все же я не до такой степени дурная, чтобы быть способной на Вас сердиться. С тех пор, как я Вас знаю, этого еще никогда не было, да и вперед не может быть. Просто я была вчера серьезнее, не так дурачилась, как это часто случается со мной в последнее время. До свидания.

Н. Пургольд».

Запиской, посланной 7 декабря, Надежда Николаевна предлагала Николаю Андреевичу прийти к ней на следующий день:

«Я устроила так, что завтрашнее утро у меня свободно. <...> Завтра, если Вам можно, приходите во втором часу и оставайтесь у нас обедать; тогда мы можем заняться до обеда и после обеда до театра, а если не поедем в театр (что, впрочем, мало вероятно), то тем лучше, тогда Вы можете дальше оставаться. <...> Вы вчера были утомленный и вялый. Не смейте себя слишком утомлять. Золотая рыбка Вам это запрещает».

11 декабря у Пургольдов состоялось исполнение «Псковитянки», после чего, конечно, был ужин, за которым говорилось много тостов «за успех наших милых опер». Кроме «Псковитянки», имелись в виду «Борис Годунов» Мусоргского и уже одобренный Театрально-литературным комитетом «Каменный гость» Даргомыжского, законченный Кюи и Римским-Корсаковым.

Думы Надежды Николаевны были целиком заняты и самим Николаем Андреевичем, и его композиторской деятельностью.

Она писала ему 20 декабря:

«Какой Вы смешной мальчик, что непременно хотели, чтобы я Вам сегодня написала. Мне ведь и в самом деле нужно знать об Вас, потому что Вы вчера были нездоровы, и меня беспокоит, какой Вы сегодня. А я ведь была здорова. Ну да впрочем, все это вздор, мне самой хочется поговорить с Вами. Я прочитала сегодня еще один рассказ Гоголя — „Сорочинская ярмарка“. Это тоже хорошо и даже для оперы, пожалуй, годится, но не для Вас, да и вообще это не то, что, напр., Майская ночь. Ну что мне делать, засела она мне в голову так, что ничем ее оттуда не вышибешь. <...> Но, впрочем, главное в этом деле — Вы должны следовать Вашему личному вкусу. Что Вам более симпатично, на то и пишите. Мало ли сюжетов найдется. Мы можем многое прочитать вместе. Я все думаю о Вашей мамаше, какая она милая, и как я рада, что я ей понравилась. До завтра, милый Корсенька. Смотрите, чтоб Ваш глаз не смел болеть».

В конце декабря 1871 года Николай Андреевич и Надежда Николаевна были официально объявлены женихом и невестой. Первым «пустое вы сердечным ты» заменил Николай Андреевич:

«Милая моя, мне ужасно досадно и скучно, что в сегодняшний вечер мне пришлоось проболтаться самым нелепым образом, а не провести его с тобою, хорошая моя».

Надежда Николаевна села писать ответ Николаю Андреевичу:
«Милый мой, мне очень скучно, что я тебя сегодня не увижу».

Обмен трогательными записками между Надеждой Николаевной и Николаем Андреевичем продолжался в наступившем 1872 году вплоть до их свадьбы.

«Маленький, нехороший Ника, — пишет Надежда Николаевна, — приходи сегодня к нам обедать непременно, а то Сонечка будет тобой недовольна, и мне будет скучно, потому что вечером ведь ты должен идти слушать этот глупый квартет. Тотчас после обеда мы будем играть».

И в другой раз:

«Хорошо ли ведет себя Ника, что его глаза? Пусть он сегодня пораньше приедет от своих, а то мы увидимся на одну минутку. Надя».

И он отвечал:

«Ведет себя изрядно, глаза ничего себе живут, постараюсь прийти пораньше. Твой Н.».

А после какого-то недоразумения Николай Андреевич писал:

«Голубушка моя, милая моя, прости ты меня за мои глупости, прости ты меня и забудь их; я, выходя сейчас от тебя, просто не знал, куда деваться от досады на самого себя, милая моя, и теперь, когда я пишу вот это письмо, совсем теряюсь и даже не знаю, что и сказать; одного я только хочу: прости за всю мою пошлость и глупость; слово себе даю, что буду смотреть за собой, чтоб этого не случилось со мной, потому что это черт знает что такое. Я ведь тебя большие всего люблю, моя миленькая Золотая рыбка».

Вскоре Надежда Николаевна ответила:

«Милый мой, радость моя, я просто не понимаю, отчего ты не пришел сегодня. Неужели оттого, что я не ответила на письмо твое? Неужели ты думаешь, что я сержусь на тебя, и прощать-то мне тебя нечего, потому что ты ни в чем не виноват. А меня следовало тебе выбранить за то, что я такой вздор сказала при прощании. Не ответила я на твое письмо потому, что думала, что ты сегодня рано придешь, пожалуй, раньше моего письма, и я бы на словах тебе сказала, что хотела. А вследствие того, что ты долго не приходил, я сделалась совсем дрянь. Наконец, Кюи немножко оживил меня тем, что очень одобрил мою вещь, даже обе мои вещи. Мне очень скучно, милый Ника, что ты сегодня не пришел.

Н. Пургольд».

Венчание Надежды Николаевны и Николая Андреевича состоялось 30 июня 1872 года в Спасо-Парголовской церкви, расположенной

в Шуваловском парке, рядом с Парголовом. Эта церковь была сооружена по заказу графини Полье в 1831 году по проекту архитектора А. П. Брюллова. Она красиво стоит на холме у пруда, в котором отражается ажурный шпиль этой церкви, построенной в готическом стиле. В церковной метрической книге появилась такая запись:

«Звание жениха — прикомандированный к канцелярии Морского министерства Николай Андреев Римский-Корсаков. Звание невесты — дочь умершего действительного статского советника Николая Федорова Пургольда Надежда Николаевна. Кто были поручители — по жениху: Илья Семенов Бижеич и коллежский асессор Модест Петров Мусоргский; по невесте: тайный советник Владимир Федоров Пургольд и коллежский советник Семен Дмитриев Ахшарумов».

20 августа 1873 года в семье родился первенец, которого назвали Михаилом в честь героя «Псковитянки» Михаилы Тучи. В октябре 1875 года родилась Софья, названная в честь сразу двух Софий — матери Николая Андреевича и старшей сестры Надежды Николаевны.

Ввиду значительной занятости Николай Андреевич не мог принимать большого участия в домашних делах. Но в трудные периоды откладывал в сторону свои занятия и, как мог, помогал Надежде Николаевне.

Детей Николай Андреевич горячо любил, и они это чувствовали, бывали счастливы, когда он с ними возился.

Второй сын родился в октябре 1878 года, и назвали его Андреем в честь отца Николая Андреевича.

«Псковитянка»

Все лето и осень 1872 года Николай Андреевич был занят сочинением Третьей симфонии и репетициями «Псковитянки» в Мариинском театре. Как он потом вспоминал, «артисты относились добросовестно и любезно; не совсем доволен был О.А.Петров, жалуясь на многие длинноты и сценические погрешности, которые было затруднительно выручать игрой. Во многом он был прав, но я, горячась по молодости лет, не уступал ни в чем и сокращать ничего не позволял, чем, по-видимому, весьма раздражал и его, и Направника».

Петров, известный артист Мариинского театра, бас, пел партию Грозного; Эдуард Францевич Направник состоял оперным дирижером Мариинского театра и отличался высоким профессионализмом.

«Направник превосходно действовал, — вспоминал далее Николай Андреевич, — ловя ошибки переписчиков и мои собственные описки; <...> Впоследствии только я понял, что он был прав».

Премьера «Псковитянки» состоялась 1 января 1873 года. У публики она имела успех, автора вызывали десять раз. Противники же новой русской музыкальной школы, к которой принадлежал Николай Андреевич, в рецензиях эту оперу ругали. В «Петербургском листке», в статье без подписи, говорилось:

«В своей талантливости г. Римский-Корсаков, увлекшись высокою идеей музыкальной драмы и под влиянием темного, неясного о ней представления, дошел до последних пределов эксцентричности и впал, разумеется, в самую уродливую крайность. <...> Для того, чтобы решить великую задачу современной музыки, недостаточно одной только музыкальной даровитости! „Псковитянка“, как и следовало ожидать, явилась верным выражением всех невозможных крайностей проповедуемой г. Римским-Корсаковым музыкальной религии, с тем, впрочем, назидательным результатом, что эта опера доказала еще раз наглядно всю несостоятельность того пути, на который стал композитор, и невозможность дойти по нем до создания музыкального идеала. <...> Однообразие и тусклый колорит, однообразие формы, сухость и безжизненность составляют капитальные недостатки в его произведении. <...> Несмотря на шумные вызовы автора и артистов, [опера] не продержится долго на репертуаре как произведение, не выходящее из ряда посредственостей, хотя в ней есть, и немало, талантливых проблесков».

Массу недостатков в «Псковитянке» нашел и музыкальный критик Г. А. Ларош, в конце своей статьи в «Московских ведомостях» высказавшийся так:

«Вообще вся опера <...> г. Римского-Корсакова наряду с болезненностью и фальшивостью направления отличает, как и симфонические его произведения, яркий талант, и я позволяю себе заметить, что ни в ком из других композиторов его кружка не чувствуется так сильно, что связь между этим талантом и этим болезненным направлением есть связь случайная и внешняя, которую счастливые обстоятельства, быть может, когда-нибудь разорвут».

А Кюи, тоже сделав ряд замечаний, тем не менее иначе оценил эту оперу:

«Псковитянка» составляет самое отрадное явление в нашем искусстве: она обогащает наш репертуар солидным и чрезвычайно

талантливым произведением, она служит новым доказательством серьезности направления, силы убеждения и значительной будущности новой русской оперной школы».

За полтора месяца «Псковитянка» прошла десять раз при полном зале и с неизменным успехом.

Летом 1877 года Николай Андреевич стал работать над новой редакцией «Псковитянки» и набросал несколько страниц музыки пролога к этой опере, названного «Боярыня Вера Шелога». Надежде Николаевне почему-то не понравился этот набросок, и ее мнение настолько огорчило композитора, что он со словами: «А если так, то и не надо!» – выбросил написанное за забор. Надежда Николаевна, в ужасе, кинулась подбирать эти листы, чтобы их спасти.

Консерватория, ученики

Осенью 1871 года Римский-Корсаков получил от директора Петербургской консерватории М. П. Азанчевского письмо, в котором тот приглашал его в качестве профессора преподавать теорию композиции и инструментовку, также дирижировать оркестром учеников, с гарантированным содержанием в тысячу рублей за учебный год. В музыкальном мире Римский-Корсаков уже пользовался известностью, его произведения исполнялись в концертах и имели успех. Предложение занять место профессора консерватории было для Николая Андреевича фактом весьма значительным. По этому поводу он сообщал Софье Васильевне в Тервайоки:

«Подумав несколько, я пришел к тому, что предложение для меня выгодно во многих отношениях: во-первых, в денежном отношении; во-вторых, в том, что я буду занят делом, которое мне нравится и к чему я наиболее способен; в-третьих, это будет для меня хорошая практика, в дирижерском деле в особенности, и, наконец, в том, что является возможность поставить себя впоследствии окончательно на музыкальное поприще и связаться со службою, которую продолжать долгое время не считаю делом вполне честным и благовидным. После всех соображений я дал консерватории согласие».

В двадцать семь лет, сам никакой консерватории не кончивший, Николай Андреевич решился учить студентов. Впоследствии он с беспощадной прямотой так характеризовал свой поступок:

«Я был dilettante, я ничего не знал <...> и свидетельствую в этом перед всеми. Я был молод и самонадеян, самонадеянность мою поощ-

ряли, и я пошел в консерваторию. <...> Пришлось притворяться, что все, мол, что следует, знаешь, а самому хватать на лету сведения от учеников».

По поводу вступления Николая Андреевича в число профессоров консерватории в газете «Голос» некто Ростислав (псевдоним музыкального критика Ф. М. Толстого) писал:

«Дирекция очень хорошо сделала, что пригласила молодого талантливого русского деятеля, <...> одно нас смущает — это молодость г. Римского-Корсакова. <...> Для профессора небольшая седина — не в укор, она служит ручательством за опытность в преподавателе. Многие удивляются, вероятно, что преподавание теории музыки поручено ныне в консерватории лицу, недавно еще всецело принадлежавшему кружку, отрицающему достоинства классической музыки».

А несколько позднее в “Journal de St.-Petersbourg” им же было написано:

«В один прекрасный день музыкальный мир с удивлением узнал, что в самом его сердце, т. е. в консерватории, в этом Святая святых музыкального классицизма, имеется представитель кружка новаторов именно в качестве профессора инструментовки и теории».

Волнение многих представителей музыкального мира было вызвано не теоретической неподготовленностью Римского-Корсакова (по его музыкальным произведениям никто не мог предположить, что ему недостает каких-либо знаний), а тем, что в консерваторию проник представитель новаторского течения, что может привести к нарушению приверженности западной классической школе. Бородин же писал Николаю Андреевичу:

«За Вас я искренно радуюсь; Вы как нельзя более на своем месте и можете принести громадную пользу музыкальному делу и учащейся молодежи».

С осени, когда начались занятия, Николай Андреевич для пополнения своих теоретических знаний стал, наряду со студентами, посещать лекции других профессоров и заниматься написанием бесчисленных упражнений.

В консерваторском классе Николая Андреевича с 1873 года занимался студент Анатолий Константинович Лядов, весьма талантливый, но не отличавшийся прилежанием. В конце учебного года Николай Андреевич записал свое мнение о нем: «Очень способен. В начале курса был прилежен, а во второй половине работал мало. Об успехах судить не могу». Таким же нерадивым учеником был и Георгий Оттович Дютш.

За непосещаемость занятий оба были в начале 1876 года исключены из консерватории. Они пришли к Римскому-Корсакову домой просить его ходатайства о восстановлении их в числе студентов, но получили отказ. «Я был непоколебим, — вспоминал позднее Николай Андреевич, — и отказался наотрез. Откуда, спрашивается, напал на меня такой бессстрастный формализм?» Все же через некоторое время они были в консерватории восстановлены, и Лядов блестяще ее окончил. А отношения между проявившим такую строгость учителем и нерадивым учеником вскоре стали самыми дружескими.

В декабре 1879 года у Николая Андреевича появился новый ученик — 14-летний гимназист Саша Глазунов, рекомендованный Балакиревым, который давал уроки фортепианной игры его матери Елене Павловне Глазуновой. По словам Николая Андреевича, «это был милый мальчик с прекрасными глазами, весьма неуклюже игравший на фортепиано».

Со своей стороны, Александр Константинович потом вспоминал: «Можно себе представить, с каким юным волнением я ждал знакомства с Римским-Корсаковым, перед творчеством которого я благоговел и беззастенчиво верил в его художественный авторитет». Глазунов стал частным учеником Николая Андреевича и приходил заниматься к нему домой.

«Майская ночь»

До лета 1877 года Николай Андреевич ничего особенно крупного не сочинял. Он написал струнные квартет и секстет, квинтет для духовых инструментов, несколько пьес для фортепиано и хоров. Занялся составлением сборников народных песен.

В свое время, когда Николай Андреевич сделал Надежде Николаевне предложение, они вместе читали повесть Гоголя «Майская ночь», сюжет которой Надежда Николаевна советовала Николаю Андреевичу использовать для оперы. И вот в конце лета 1877 года композитор вспомнил об этом сюжете, и у него стали появляться первые музыкальные мысли для новой оперы. Но настоящим образом сочинение «Майской ночи» началось с февраля 1878 года и, ненадолго прерванное поездкой в Кронштадт, стало основным его творческим занятием. Лето того года Римские-Корсаковы проводили на даче, снятой в Лигове, под Петербургом. Там работа над оперой пошла быстро. А в октябре «Майская ночь» была окончена и посвящена Надежде Николаевне.

«Майская ночь» была принята к постановке в Мариинском театре, и ее премьера состоялась 9 января 1880 года. Автора вызывали девять раз, песни Левко «про Голову» и из третьего действия требовали бисировать. На этом спектакле Николай Андреевич сидел в одной из лож первого яруса вместе с Софьей Васильевной, Надеждой Николаевной, другими родственниками и няней Авдотьей Ларионовной Сиволдаевой. Эта чудесная няня появилась в доме Римских-Корсаковых со времени рождения дочери Сони. С тех пор она нянчила всех детей, убаюкивала их своими песенками. Бывшая чья-то крепостная, неграмотная, родом из Вятской губернии, она была всеми любима и прожила у Римских-Корсаковых двадцать три года до самой своей смерти. Николай Андреевич вспоминал такую картину: няня ходит по комнате с младенцем на руках, напевая свою колыбельную. Видя, что он заснул, шепотом говорит: «Барыня, откройте кроватку, он заснул» — и тотчас продолжает песню.

После премьеры «Майской ночи», дома, няня с волнением пересказывала детям трогательную историю Панночки.

А Софья Васильевна послала невестке письмо с такими словами:

«Сама себе удивляюсь, как могла я произвести на свет такого мужа и человека для общества, как Ника».

На второе представление «Майской ночи» в театр взяли Мишу, которому уже шел седьмой год, и он, конечно, был в восторге.

«Снегурочка»

Только прошли первые спектакли «Майской ночи», как Николай Андреевич уже принялся за новую оперу — на сюжет сказки А. Н. Островского «Снегурочка». Он перечитал ее и, по его словам, «точно прогрел на ее удивительную красоту».

«Проявившееся понемногу во мне тяготение к древнему русскому обычаю и языческому пантеизму, — писал он в своих воспоминаниях, — вспыхнуло теперь ярким пламенем. Не было для меня на свете лучшего сюжета, не было для меня лучших поэтических образов, чем Снегурочка, Лель, Весна, не было лучше царства берендеев с их чудным царем, не было лучше миросозерцания и религии, чем поклонение Яриле-солнцу. <...> Начали приходить в голову сначала неуловимо, потом все яснее и яснее настроения и краски, соответствующие моментам сюжета».

Весной 1880 года по совету няни Николай Андреевич отправился снимать дачу не где-нибудь в пригородах Петербурга, как это бывало

до тех пор, а в имении Марианова Стелеово, в Лужском уезде Петербургской губернии, в тридцати верстах от Луги. Переехав на лето в Стелеово, он целиком погрузился в сочинение новой оперы, к которой уже имелись наброски, сделанные в Петербурге. В своих воспоминаниях Николай Андреевич рассказывал:

«Первый раз в жизни мне довелось провести лето в настоящей русской деревне. Здесь все мне нравилось, все восхищало. Красивое местоположение, прелестные рощи (Заказница и Подберезьевская роща), огромный лес „Волчинец“, поля рожи, гречихи, овса, льна и даже пшеницы, множество разбросанных деревень, маленькая речка, где мы купались, близость большого озера Врево, бездорожье, запустение, исконные русские названия деревень, как, например, Канэзерье, Подберезье, Копытец, Дремяч, Тетеревино, Хвошня и т. д., — все приводило меня в восторг. Отличный сад со множеством вишневых деревьев и яблонь, смородиной, земляникой, клубникой, крыжовником, с цветущей сиренью, множеством полевых цветов и неумолкаемым пением птиц — все как-то особенно гармонировало с моим тогда пантеистическим настроением и с влюбленностью в сюжет „Снегурочки“. Какой-нибудь толстый и корявый сук или пень, поросший мхом, мне казался лешим или его жилищем, лес „Волчинец“ — заповедным лесом, голая Копытецкая горка — Ярилиной горой, тройное эхо, слышимое с нашего балкона, — как бы голосами лесных или других чудовищ».

О жизни в Стелеве Николай Андреевич сообщал Семену Николаевичу Кругликову²:

«Живем мы здесь недурно. <...> Наблюдаем за произрастанием плодов земных, едим землянику в большом количестве, обедаем, завтракаем и вообще едим на воздухе — вообще благодушествуем! При этом не видим ни одной знакомой души, с соседями не тянет знакомиться — это все какие-то глухие помещики».

А об одном удивительном происшествии Надежда Николаевна написала своей старшей сестре:

«Вчера налетела гроза с вихрем, мы спрятались в комнаты, я села у самого окна, так как сделалось темно в комнате, чистить землянику, Ника и Миша тоже были в этой комнате. Вдруг блеснула ослепительная молния, и одновременно раздался страшный треск, стекла задрожали, и меня силою удара вместе с креслом, на котором я сидела,

² Семен Николаевич Кругликов, близкий друг семьи Римских-Корсаковых, музыкальный критик.

повалило на пол. Ника подскочил, поднял меня, я перепугалась страшно, думала, что это сотрясение, которое я почувствовала, будет иметь последствия, что я оглохну или что-нибудь в этом роде, но, к счастью, отделалась только испугом и расстройством нервов на этот вечер. Сегодня мои нервы уже успокоились. От этого удара все в доме переполошились, люди повыскакивали из своих комнат; потом мы узнали, что нашего садовника тоже отшатнуло от окна, дети арендатора повалились с лавок, коровница, которая доила в это время корову, на несколько минут одурела, — словом, это было нечто необычайное. Мы сегодня искали в саду следов молнии, т. к. наверно молния ударила где-нибудь около нас, но не могли найти, верно, она ударила в землю, куда-нибудь, где трудно найти следы ее. Ника видел шарообразную молнию, летевшую по направлению наших окон».

Пребывание в Стелееве оставило хорошие воспоминания, и Николай Андреевич даже сочинил шуточную поэму о проведенном там лете, посвятив ее ради смеха спичечному фабриканту Гессе.

Вот эта поэма:

ЛЕТОПИСЬ УСАДЬБЫ СТЕЛЕВО
в трех песнях

Посвящение
Тебе, о Гессе, посвящаю
Произведенье музы робкой.
Над стичек полною коробкой,
Склоняся над стаканом чаю,
Желал бы я его прочесть;
Большая сделана бы честь
Моей несмелой, робкой музе
Была тобой, о Гессе в Рузе!

I

О тысяча и восемьсот
Восьмидесятый славный год
Со дня рождения Христова!
Твоё прекраснейшее лето
Проведено среди Стелева
И мною будет ныне пето.

Числа восьмнадцатого мая
В карету, взятую в наймы,

Уселись; поздний час; — то зная,
Вдруг опоздать боялись мы,
Но, к счастью, вовремя поспели,
Раздался в третий раз звонок,
Свистки машины засвистели,
Помчались мы; был путь далек.
Приехали мы в полдень в Лугу,
С коляской встретил Осип нас
И, подтянув коню подпругу,
Примчал в Стелеово нас как раз.
Вступив в стелевское владенье,
Мы вдруг в отчаянье пришли,
Там беспорядок, разоренье
Во всем мы страшное нашли.
Повсюду пыль, в грязи перины,
В углах повисли паутины,
Без ножек стулья по углам,
И дует из оконных рам.
Однако одолели это.
Но шли дожди, и холод был.
У нас ведь в мае что за лето?
Но литься дождик прекратил,
Настал июнь, тепло настало,
И расцвели цветы лугов,
И было птиц в саду немало,
И ночью пенье соловьев.

И молоко от двух телиц
Мы в изобилии получали,
За пять алтынных покупали
Десяток свеженых яиц,
И у Ростовской Катерины
Наседку мы купили раз,
Без всякой видимой причины
Наседка каждый день неслась.
Воспой, о Муза, ту наседку,
Что продала тогда соседка!
Но все болит сердечна рана:
Ее вовек не залечить —
Не собирались мы купить
В то время жирного барана!

II

Но вот поспела земляника,
Мы в лес с корзинами пошли,
В саду на грядках уж клубнику
Склевали куры. (Не нашли
К стиху б сему поэты рифмы!)
В саду варенья наварив, мы
Вошли все в комнату; вдруг гром
Как грянет, молния сверкнула,
Затрясся весь наш старый дом,
Упала Надичка со стула,
Но не ушиблась, Богу слава!
С тех пор боялись мы грозы.

В саду мяукал котик Савва.
Бот с сеном поплелись возы.
По Реомюру двадцать пять —
Уж лень и ягоды сбирать.
Приятно вспомнить — просто Ах!
Ходил я в рваных сапогах.
Кого стесняться мне? Старух,
Мальчишек, девок, мужиков?
Ведь в шапке меховой пастух
Пасет же лето все коров!

Средина лета, месяц юль,
Собрали вишенъ целый куль;
Малина-ягодка, крыжовник
Поспели славно. Наш коровник
Давать стал меньше молока.
Купались с Мишней мы; река
Была у нас не велика;
Но все же в ней купаться можно.
Кусали мухи нас безбожно;
Летал под вечер нетопырь,
Сова кричала. В монастырь
Череменецкий мы катались
И просвирами восхищались.
Мы посетили Голубково,
Побыв у Спицына в гостях
(Помещик нрава он простого);
Домой вернулись на рысях.

И вот, беда нам приключилась:
Растаял ледник наш совсем,
Вода в нем даже испарилась.
Я мяса тухлого не ем,
Такое мне не по нутру.
За мясом стал тут ездить Осип
Ежесубботно поутру.

III

Мужик недолго сено косит,
Уж жать пора и сеять рожь.
Не стану я в поэме ложь
С святою правдою мешать
И сознаюсь — надоедать
Нам одиночество отчасти
Уж начинало, и напасти
На нас валились: нету льда,
Коровы мало молока
Дают нам. Новая беда:
Горшков и банок весь запас
Издержан. Пуда три варенья
Наварено; довольно с нас.
(Варенье очень нам пригоже
Зимой холодной для еденья.)
Да уложить его во что же?
Купили банки; Осип з Луги
Горазд их много понавез,
К примеру, с прочим целый воз.
Ему полтинник за услуги.
Не то чтоб чувствовал я скучу,
Но нет на грядках боле луку,
С которым есть я все привык.
(Но написать без заковык
Стихотворенье невозможно!)

Пора и в город, молвить можно.
Проходит август месяц; эх!
В саду уж собран весь орех!
Желтеют листья на лугу,
Уж нет нигде густой травы,
И нет грибов. (Опять, увы!
Найти я рифму не могу!)
Одно скажу я разве кстати:

В железной Надиной кровати
Оборвались веревки вдруг.
Окончен всех прогулок круг.
Нам в Петербург без сожаленья
Пора лететь, пора кончать
Лубочное стихотворенье,
Чтoderнулчертмениначать.

«Снегурочка» была сочинена в рекордно короткий срок — за два с половиной месяца. По возвращении в Петербург Николай Андреевич занялся инструментовкой оперы, которую и закончил весной следующего года. Он играл свою «Снегурочку» на фортепиано у себя дома друзьям, показывал ее и Балакиреву, который после этого писал ему:

«В моей квартире она произвела эффект огромный. Я уже не говорю, что я большинством остался доволен и даже восхищен, но моя сестра <...> была просто очарована. Даже старуха Марья и та, как оказалось, когда Вы производили Масленицу, стояла все перед образом и с ужасом помышляла вслух, что накануне такого великого праздника [св. Николая Чудотворца] у нее ноги ходуном ходят, и только напряженное благоговение помешало ей пуститься в три ноги».

А Николай Андреевич в ответном письме приписал: «*Вот не воображал, что Марью введу во искушение*».

Свою новую оперу он играл и приезжавшему в Петербург Острожскому. Потом Семен Николаевич Кругликов, навестивший Островского после его возвращения в Москву, писал Николаю Андреевичу, что Александр Николаевич «за все полчаса, какие я у него просидел, только и говорил, что про Вашу оперу. Вот его подлинные слова: „Музыка Корсакова к моей „Снегурочки“ удивительна; я ничего не мог никогда себе представить более к ней подходящего и так живо выражавшего поэзию древнего русского языческого культа и этой сперва снежно-холодной, а потом неудержимо страстной героини сказки“».

Сам же Николай Андреевич так отзывался о своем творчестве: «*Кончая „Снегурочку“, я почувствовал себя созревшим музыкантом и оперным композитором, ставшим окончательно на ноги*».

В самом начале января 1881 года Николай Андреевич играл оперному начальству в Мариинском театре свою «Снегурочку», и она была принята к постановке. В концерте Русского музыкального общества он дирижировал своей новой вещью для симфонического оркестра — «Сказкой», законченной одновременно со «Снегурочкой».

Прошел год. Приближалось первое представление «Снегурочки» в Мариинском театре. Все там шло хорошо, постановка была хорошая, исполнителями Николай Андреевич был доволен За несколько дней до премьеры, которая состоялась 20 января 1882 года, у Римских-Корсаковых появился на свет четвертый ребенок— сын, названный Владимиром в честь дяди Надежды Николаевны. Своим рождением он помешал Надежде Николаевне присутствовать на премьере «Снегурочки», и она была в отчаянии.

«По этому случаю, — вспоминал потом Николай Андреевич, — я тоже был расстроен и даже, выпив через меру много вина за обедом, пришел на первое представление мрачный и равнодушный ко всему происходившему. Я держался все время за кулисами, а время от времени уходил в режиссерскую и не слушал своей оперы. На вызовы я выходил».

А вызовов было много, и после третьего акта автору был поднесен лавровый венок и в нем серебряный. Об этой премьере один из современников, присутствовавший на спектакле, вспоминал:

«После каждого акта, когда оркестр умолкал, проходило несколько секунд полной тишины, затем начинались аплодисменты, вначале слабые, но постепенно крепнувшие и разраставшиеся до довольно шумных вызовов».

Отзывы критиков были самые разные, плохие и хорошие. А Бородин так выразил свои чувства в письме к Николаю Андреевичу, написанном после одного из первых представлений оперы:

«Душенька, миленький, хорошенъкий, ясненький, золотой, серебряный и др. В среду мы были с Катею в „Снегурке“ и оба наслаждались вот по этих пор — (показываю рукой на горло)».

В Москве «Снегурочка» в Большом театре была разучена только к концу января 1893 года За несколько дней до премьеры Николай Андреевич приехал в Москву и прямо с поезда отправился в Большой театр на репетицию своей оперы. Там его представили артистам, и при этом оркестр сыграл туш. Исполнением оперы он остался очень доволен, о чем и поделился с Надеждой Николаевной:

«Снегурочка как опера произвела на меня самое хорошее впечатление. Могу сказать: кто не любит Снегурочки, тот не понимает моих сочинений вообще и не понимает меня. Скажу тебе (по секрету) совершенно беспристрастное мое мнение: Снегурочка — лучшая опера после Глинки, не только из русских, но и из всех вообще. В ней все хорошо, сценично, музыкально, пропорционально. Не сочти это за гор-

деливое умопомешательство. Но те, кто ее хвалят и любят, находят милой, свежей и т. п., не понимают ее достаточно и недостаточно ценят, ибо не понимают, в какой степени она выразительна, картина, искренна, красива и притом удачно осуществлена и во всех отношениях гармонична. К тому же она пребольшая. В ней ничего нет вычурного, внешнего, напынного, преувеличенного, подчеркнутого. Как это случилось, что при сравнительно небольшом моем композиторском таланте и темпераменте эта опера вышла такой, какая она есть, я уж и не знаю, но только это так. Если ты не согласна с моим мнением о Снегурочке, то, может быть, когда-нибудь соглашись. Таковую удачу со Снегурочкой я могу объяснить только ее необыкновенно подходящим для меня сюжетом и тем, что я взялся за этот сюжет при полном своем развитии. Больше такой вещи я написать не мог, и Млада есть, во всяком случае, спуск вниз, несмотря на свою большую яркость: светит, да не греет, за исключением нескольких пунктов. <...> На репетиции я часто вспоминал тебя. Как больно, что тебя нет».

II

СЕРЕДИНА ПУТИ

«Хованщина» Мусоргского

Летом 1882 года Николай Андреевич работал над завершением оперы Мусоргского «Хованщина» и редактированием его же романсов. Он писал Кругликову:

«Вообще Мусоргский и Мусоргский; мне даже кажется, что меня зовут Модестом Петровичем, а не Николаем Андреевичем и что я сочинил „Хованщину“ и даже „Бориса“.

Весной 1883 года Николай Андреевич передал законченную и отредактированную им «Хованщину» на рассмотрение Оперного комитета. Состоя его членом, он, как в какой-то мере соавтор Мусоргского, не считал возможным принять участие в баллотировке. Результат голосования оказался неожиданным: оперу забраковали, даже не получив отзывов специалистов. Возмущенный этим, Николай Андреевич послал в комитет письмо, в котором сообщал:

«Считая, что одно имя Мусоргского уже ручается за то, что для музыканта, любящего русское искусство, посмертное произведение его должно представлять интерес, и, сверх того, высоко ценя направление этого произведения, я прихожу к убеждению, что совершенно расхожусь во взглядах с большинством гг. членов комитета на русское искусство и оперное дело, а потому считаю долгом заявить, что впредь не вижу для себя возможным участвовать в нынешнем составе комитета и прошу считать меня выбывшим. Следующее же мне дежное вознаграждение за семь заседаний комитета, в которых я участвовал, желаю получить, с целью передать его на присоединение к фонду для сооружения могильного памятника Мусоргскому».

Большим музыкальным событием начала 1886 года была постановка оперы Мусоргского «Хованщина» в обработке Николая Андреевича. Этот спектакль взялся осуществить петербургский Музикально-драматический кружок. В том году прошло восемь представлений оперы.

Капелла

В начале 1883 года произошел новый поворот в жизни Николая Андреевича. Директором Придворной певческой капеллы стал граф С. Д. Шереметев, который пригласил занять должность управляющего капеллой Балакирева, а Милий Алексеевич, в свою очередь, предложил место помощника управляющего Николаю Андреевичу, на что тот и согласился. Ведь это давало возможность полностью развязаться с Морским ведомством.

По Высочайшему повелению предписанием министра двора Римский-Корсаков был определен помощником управляющего Придворной певческой капеллой. Но некоторое время он должен был еще оставаться и на службе в Морском ведомстве, от которой освободился лишь в следующем году. Тогда одновременно была упразднена и занимавшаяся им должность инспектора военно-морских хоров, как излишняя, «так как надлежащее устройство и направление хоров и школы вполне достигнуты» — говорилось в приказе Морского министерства. По поводу своего увольнения Николай Андреевич писал в Москву дирижеру М. М. Ипполитову-Иванову:

«Упразднив мою должность, Шестаков [управляющий делами в министерстве] сберег Министерству 2800 рублей и вместе с тем и меня избавил от излишней траты этих 2800 рублей на всякие житейские прихоти и соответственно оставил меня на жалованье от Капеллы и консерватории; ну это не беда, справлюсь».

Начав работать в капелле, Балакирев и Римский-Корсаков столкнулись с необходимостью заново наладить воспитание и обучение малолетних певчих. Как всегда, Николай Андреевич деятельно отнесся к своим новым обязанностям и сразу принял за составление устава музыкального училища при капелле, правил и подробной программы обучения в инструментальном и регентском классах.

На начало мая 1883 года была назначена коронация Александра III, и вся капелла выехала в Москву для участия в этой церемонии.

«Милая Надя, <...> — писал Николай Андреевич из Москвы 8 мая, — приехав в гостиницу, получил №, выходящий на Тверскую, так что видны и Иверские ворота, и часть Кремлевской стены, и Храм Спасителя. Комната моя в 4 этаже. <...> Переодевшись, пошел в Кремль, посмотреть, как устроились певчие; они устроились оч. хорошо. Мне сообщили, что получена повестка, чтобы часть хора направилась к 4 часам в Петровский дворец для встречи Государя. От певчих

мы зашли... опять в Московский трактир сесть по расстегаю. <...> Из своих окон я увижу отлично всю процессию въезда и остановки у Иверских ворот. Завтра жду твоего письмечка. Целую тебя крепко, милуша моя, и детей всех по очереди. Пиши почаше, дорогая моя, твой Ника Р.К.».

11 мая он сообщал Надежде Николаевне:

«Вчера весь город был иллюминован флагами и декорациями, и с утра на Тверской и около гостиницы до Иверских ворот толпился сплошной массой народ; мы с Балакиревым, разодевшись в мундиры, при помощи коменданта нашей гостиницы едва пробрались к 1 ч. в Кремль и потом, к 2 часам, вместе с певчими направились в Успенский собор. Кругом везде войска и народ; выстроенные места тоже были наполнены. Мы разместились на клиросах: Балакирев на правом, а я на левом. Шествие тронулось из Петровского дворца в 2 часа и прибыло в собор в 3 1/2 часа. При входе Государя запели Концерт „Воспоите людие“, во время которого Государь, Государыня и дети прикладывались к образам, так что мы должны были дать им дорогу и очень стесниться; между мной и образами было не больше аршина, и тут они все проходили. Концерт спели хорошо. После этого Царская фамилия отправилась в другие соборы, а мы едва-едва поспели по Красному Крыльцу во Дворец, куда пришли потом все, и мы их провожали пением».

В связи с обстоятельствами новой службы Николай Андреевич не мог уехать на лето куда-нибудь далеко. Ему приходилось бывать по делам капеллы и в Петербурге, и в Старом Петергофе, так как туда отправляли на лето малолетних певчих, с которыми надо было заниматься. Поэтому Римские-Корсаковы обосновались в Тайцах.

Взяв на себя класс гармонии и будучи неудовлетворен учебником Чайковского, Николай Андреевич взялся за составление своего учебника гармонии. К концу августа этот учебник был написан и той же осенью литографским способом издан. Творческая деятельность его пристановилась.

Занятиями в капелле Николай Андреевич был поглощен целиком. Его ученик, композитор, преподаватель капеллы Николай Александрович Соколов, впоследствии так вспоминал о нем в те годы:

«Он дирижировал оркестром учащихся <...> или занимался с одною из оркестровых групп, переделывал различные пьесы для ученических ансамблей, проверял <...> наличность нотных сумм, а также <...> нот. Хлопотал над упорядочением библиотеки; выписывал, заказывал,

принимал, распределял и отдавал в починку инструменты. Вел личные сношения с преподавателями и с воспитанниками, которых знал, как родных детей, с поставщиками и т. д. <...> Его тянули направо, налево и только что не разрывали на куски. Бывали минуты, когда он до того запутывался в хлопотах, что, отдавая какое-нибудь распоряжение, бесконечное число раз повторял одну и ту же фразу на разные лады. <...> Разносторонняя трудоспособность Николая Андреевича действовала заразительно на всю капеллу, чьему способствовали <...> подкупавшая личность его и созданная им, чуждая казенщины обстановка. <...> Всякая работа встречала со стороны Н.А. справедливую, беспристрастную оценку: не было „любимцев и нелюбимых“. <...> Чтобы получить точное понятие об оригинальной простоте его обращения, достаточно было видеть Н.А. во главе шумной массы ребят разного возраста в оркестровом классе».

Надо сказать, что Римский-Корсаков обладал чрезвычайно ровным характером. Делая ученикам или своим детям замечания, он никогда не повышал голоса, терпеливо поправлял ошибки. По воспоминаниям одного из его учеников, М. Ф. Гнесина, Николай Андреевич говорил студентам на уроке в консерватории:

«Знаете, как нянюшки говорят: „Я тебя и раздену, и в постельку уложу, и песенку тебе спою, а уж заснешь ты сам“? Так и вам: и объясню, и расскажу, и пример приведу, и покажу, а уж сочинять музыку придется вам самим!»

Ни в письмах, ни в обществе мужчин, в том числе сыновей, он не употреблял грубых слов, не рассказывал анекдотов. Он мог строго судить поступки людей, но раздражения не проявлял, и грубых суждений от него слышать не приходилось. Николай Андреевич был несколько замкнут, не выражал шумно своих чувств и, при всей своей доброте и благожелательности, даже с близкими друзьями не переходил на «ты». Исключение составляли товарищи по юным годам, проведенным в Морском корпусе, и, как ни странно, его учитель музыки и друг Федор Андреевич Каниlle. Но если ему Николай Андреевич говорил: «Федор Андреевич, ты...», то к Глазунову и Лядову он обращался: «Сашенька, вы...» и «Лядинька, вы...». Несмотря на внешне отчуждающее «вы», приятели очень ценили дружбу Николая Андреевича. Именно его призывала мать Глазунова к своему сыну в тяжелые минуты, и Николай Андреевич всегда приходил и просиживал с Александром Константиновичем долгие часы.

Лето 1883 года для Николая Андреевича было беспокойным. Он сообщал Кругликову:

«Живу я теперь в Тайцах, но частенько вспоминаю Москву и на первом плане, конечно, Вас: такой вы милый человек, что просто ужастъ! Я частенько в Питер езжу и в Петергоф, где живут малолетние, что мне весьма портит дачное препровождение, а на даче сижу за составлением Обихода, окруженный всякими Потуловыми, Разумовскими и изданиями св. Синода. <...> Балакирев сильно замотался ездой в Петергоф и всякими бумажными и небумажными делами по Капелле и потому как-то нервен, и глаза такие скверные; тут кашни с ним не сваришь».

И некоторое время спустя, в другом письме:

«Живем мы в Тайцах хорошо, но лето стоит прескверное — двух одинаковых дней нет подряд: то мелкий дождь, то солнце, то ливень — черт знает что такое. <...> Жива здесь, я раза два в неделю езжу в Петербург — в Капеллу — да раза два в Петергоф — к малолетним; неприятно, что больно много приходится кататься: читаешь, читаешь, сидя в вагоне, — даже одурь возьмет. Светской музыкой не занимаюсь, а все копаюсь в духовной. Черняков много написал, а до чистого все не можно добраться: принесешь Балакиреву, а у него лежит по нескольким неделям, он и не смотрит, а посмотрит, так начнет морщиться. <...> Мне все сдается, что у него такая мысль: нет, мал, и не может быть Божьей благодати в моих сочинениях, потому что... и т. д. Я, кажется, плюну на все это и в течение осени изготовлю изрядную тетрадь своих переложений и напечатаю, а там пущь, кто хочет, тот и поет. Что же делать, если светская музыка теперь что-то мне не задалась, а духовная меня занимает, неужели же моему времени так уж задаром и пропадать! Вообще мне что-то Балакирев надоедает последнее время; в Капелле он как-то все буднично ведет дела, а между тем помимо него ничего нельзя сделать, и чуть что по-своему рассудишь — ему не угодишь».

В то же время Балакирев говорил о Николае Андреевиче Кругликову, который записал его слова в своем дневнике:

«А как, если бы Вы знали, в капелле Корсакова уважают и любят. Но притом, вообразите, боятся. Это нам с Вами странно, но, представьте себе, его не в одной капелле боятся. Мать Глазунова, которой Корсаков давал одно время уроки, всегда меня серьезно уверяла, что боится его. И точно, ведь у Корсуньки на первый взгляд вид суровый, и, кто его не знает, всегда готов уверенить, что он — сухой и черствый человек. Но как же это неверно: Он очень хороший и, главное, чистый какой-то. <...> А все-таки скажу — до женитьбы он был лучше. Она

его связала по рукам и по ногам и ото всех нас немного отодвинула. Прежде, бывало, принесет он ко мне что-нибудь свое новое, и, если ему что скажешь, какой-нибудь совет дашь, он сейчас ему так или иначе последует, и было все хорошо. Теперь же только к советам своей Нади и прислушивается. <...> В „Майской ночи“ и „Снегурочке“ многое есть, что бы я с удовольствием выкинул, хотя бы многие глупости у самой Снегурочки или Мизгрия».

Видимо, Милию Алексеевичу трудно было расстаться с положением учителя, которого беспрекословно должны слушаться ученики. Но, как в свое время высказался Бородин, прежние, еще не оперившиеся птенцы уже давно окрепли и вылетели из гнезда. Каждый из них — Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков — нашел свой собственный путь в музыке, они перестали слепо подчиняться взглядам старшего товарища, стали самостоятельными и самобытными. И по отношению к роли Надежды Николаевны Балакирев был не прав. Ее суждения Николай Андреевич ценил, бывал огорчен, если что-нибудь из его сочинений ей не нравилось, но всегда оставался при своем мнении, ничего не менял, а если и менял, то только по собственному усмотрению, что бывало вызвано неудовлетворенностью собственным же сочинением. Так было с «Псковитянкой», которую Николай Андреевич не один раз переоркестровывал, хотя Надежда Николаевна оставалась привержена ее первоначальной редакции.

Летом 1883 года Надежда Николаевна и Николай Андреевич недолго уезжали из Тайц на Иматру, и Софья Васильевна сообщала им туда:

«Милые мои Надя и Ника, половина десятого, дети легли спать, а я села к вам писать. <...> Сегодня, милая моя, представь себе, до чего сделался дерзок мой попугай: он сегодня сел на один момент на голову к Андрею, а потом на Соню, и оба не испугались, но я воображаю, какую испуганную мину ты сделаешь, когда прочтешь эти строки. Прошу тебя не бояться его на них нашествия, я при них не буду его приносить в залу».

Для некоторого отвлечения от капельльских дел Николай Андреевич в Тайцах сочинил об этом попугае такие стихи:

ПОПУГАЙ (ода)

Не за Волгой Астраханской —
За рекой Американской,
Где и летом и зимой

Вся природа — рай земной,
Где раскинулися царства,
Все заморски государства:
Перу, Чили, Парагвай,
Проживал сей попугай;
Он в Европу привезен
И мамаше подарен.
Говорить не мастер он,
Но красив и как умен!
У открытого окна
Смело может он сидеть, —
Невдомек лишь мысль одна:
Взять вспорхнуть да улететь.
Но зато как вкус развит:
Землянику отличит
От репейника всегда,
Не надуешь его, да!
Он самец, и вот причина,
Что не любит он мужчины.
Благосклонен к дамам он,
Любит музыки он тон:
Время попусту не трята,
Любит, сидя на кровати,
Он без устали внимати,
Когда мелет кофе Катя.

Надо мною за стихи
Вы не смейтесь: «Хи, хи, хи!»
Стихотворцем и поэтом
Я ведь делаюсь лишь летом.
Понабравшия терпенья,
Постараюсь научить
Попугая говорить
Все сие стихотворенье.

H.P.-K.

*Написано в Тайцах по желанию С. В. Римской-Корсаковой.
В лето от сотворения мира 7.???,
от Р. Хр. 1883-е, Июля 24 дня.*

Осенью состоялся переезд на другую квартиру, так как при четырех детях в семье квартира в доме на Фурштатской улице стала мала. Как помощнику управляющего, Николаю Андреевичу полагалась казенная

квартира при капелле. Но так как в то время ее здание реконструировалось, она переехала в частный дом на Миллионной улице, а Римские-Корсаковы сняли новую квартиру в доме на углу улиц Владимирской и Колокольной, в третьем этаже, у самой колокольни собора Владимирской иконы Божьей Матери. Так завершился 10-летний период жизни семьи Римских-Корсаковых в доме на Фурштатской.

Как писал Николай Андреевич Кругликову, весь сентябрь 1883 года, пока семья оставалась еще на даче, он приезжал туда лишь раза два в неделю — переночевать и справиться, все ли благополучно.

«*А занят я, — сообщал он Семену Николаевичу, — следующим: 1) перебирал себя с прежней квартиры на новую; 2) ездил раз в неделю в Кронштадт, чтобы готовить там военный концерт, который имеет быть 7-го октября; 3) все же осталное время проводил в Капелле, где устраивал музыкальные классы, начавшиеся 9 сентября; наконец, 4) начались мои классы в консерватории.*

Первые три дня после переезда в новой квартире был страшный беспорядок, разбирались и расставлялись по местам вещи, а Николай Андреевич продолжал свои городские занятия. По его словам, в капелле надо было многое менять. Дело церковного пения было еще Бортнянским налажено прекрасно, а набранных из разных волостей безграмотных мальчиков, забитых и невоспитанных, при спадении с голоса часто постигала печальная участь. Кое-как обученных игре на каком-либо инструменте, не приученных к труду, их увольняли, и они становились или провинциальными певчими, в лучшем случае — плохими регентами, или просто писцами, или какой-нибудь прислугой, а многие спивались и пропадали. Николай Андреевич так увлекся работой в капелле, что не стремился что-либо сочинять.

Стасов писал Кругликову:

«*Милий и Римский-Корсаков ничего теперь не делают, кроме дел своей проклятой капеллы.*

Николай Андреевич тоже писал Кругликову:

«*Я очень занят капеллой и ничего не пишу, да и не хочется; мне кажется, что, в сущности, я поставил точку, написав „Снегурочку“, а кое-какие романсы, концерт и духовные вещи — это только так, некоторые воспоминания о делах давно минувших дней. В настоящее время в голове просто торчелища пустота, а если и начинаю о чем-нибудь музыкальном соображать, то немедленно чувствую усталость. <...> Деятельность же в Капелле меня ужасно занимает, и я радуюсь, что там все налаживается.*

Николай Андреевич дирижировал в Кронштадте концертом в пользу Кронштадтского общества спасения на водах. Это был последний концерт, проведенный Римским-Корсаковым в должности инспектора морских хоров. С 9 марта 1884 года он считался из Морского ведомства уволенным и к концу месяца сдал все дела по хорам и по музыкальской школе. Композиторская бездеятельность Николая Андреевича беспокоила и Кругликова, который писал ему:

«Вам не следует раскисать; теперь Вам нужно себя пришпорить и взяться за сочинение чего-нибудь стоящего Вас, за оперу или симфонию. Повторяю, что Вам только кажется Ваше нежелание сочинять».

И в следующем письме:

«Вам, родной, от души желаю пришпориться и приняться, хотя сперва насилино, за светскую композицию. Уверен, что, принудив себя к первым тaktам, Вы увлечетесь и скоро подарите нас чем-нибудь и очень объемистым, и очень хорошим. Встряхнитесь, не обленивайтесь; ей-Богу же, это нехорошо, да и для Ваших лет слишком рано».

Однако эти уговоры на Николая Андреевича не действовали.

Между Балакиревым и Римским-Корсаковым начинался разлад. По этому поводу Кругликов писал Николаю Андреевичу:

«Частые личные и тесные сношения, которые давно у Вас с ним существуют, может быть, и привели бы меня к подобному же мнению о нем, какое у Вас теперь вырабатывается, но пока, насколько теперь я Балакирева знаю и имел с ним дело, он мне очень люб, близок и представляется чем-то очень хорошим, несмотря на замечаемые уже мной в нем некоторые непривлекательные и тяжелые свойства (деспотизм, напоминающий упрямство, и т. д.)».

Николай Андреевич отвечал ему:

«О, Балакирев! которого вы так полюбили и к которому я все больше и больше теряю вкус как к музыканту, как к начальнику и как даже к человеку. Как я посмеялся (про себя), когда прочел ваши теплые о нем строки. Трудно это все разъяснить в письме».

В июне 1884 года произошло очередное прибавление семейства: у них родилась дочь, названная Надеждой, как ее потом стали называть — Надежда Николаевна младшая.

Занятость Николая Андреевича была колоссальной, времени ни на писание писем, ни на сочинение музыки у него не хватало, уроков в консерватории и капелле у него было до двадцати шести часов в неделю, и еще многие часы отнимали другие капелльские дела. В начале следующего года он делился с Кругликовым:

«Я ничего музыкального не сотворил с самой осени, так как-то нет охоты, да и на ум ничего порядочного не идет, пробовал, да все такая дрянь выходит, что через пять минут одолевают зевота и утомление».

Зато он беспокоился, что Бородин очень медленно пишет свою оперу «Князь Игорь». Александр Порфириевич очень много времени посвящал столь же любимой химии, а занятия музыкой все откладывал. «Написал И-го-ря мало, а ему и го-ря мало», — шутил над Бородиным Николай Андреевич. На вопрос же, переложил ли (на оркестр) Александр Порфириевич наконец такой-то из своих набросков, тот отвечал, что да, переложил — с фортепиано на стол.

С детских лет, проведенных в Тихвине, Николай Андреевич отличался хорошим здоровьем, прекрасно плавал, даже мог лежа на воде читать книгу. Но, к сожалению, по окончании Морского корпуса он начал много курить и не хотел бросить эту привычку.

Наступило лето 1885 года, семья Римских-Корсаковых жила снова в Тайцах, и снова Николай Андреевич был занят только капеллой, ничего не сочинял. Вместо музыки он опять взялся писать шуточные стихи, на этот раз — о Тайцах и таицких башенных часах, которые постоянно бывали в неисправности, о фейерверке.

ТАЙЦЫ

Прелестный дачный уголок,
Где чистых вод бежит поток,
Где дева близ прозрачных вод
День ото дня со злобы тает,
И немец, мудрый садовод,
Часы хромые починяет.
Воспой, моя прелестна музा,
Не струсиш критики косы,
Воспой мне таицки часы,
Воспой и немца-толстопуза,

О немец! Слово твердо рцы:
Все ль целы у часов зубцы,
Что в ясный, знайный полдня час
Звонят подряд сто десять раз?
А в три часа бьют шесть иль пять,
Сколь их не тщишься починять
Ты, садовод, что пользы для

Покинул огород, поля
И день и ночь на башне той
Сидишь — бессменный часовой;
Но лишь забудешься дремой
Иль за какой-либо нуждой
Уйдешь на малый час домой, —
Часы давай себе звонить
И в три часа раз двести бить!

Владимир Федорович Пургольд, брат отца Надежды Николаевны, был уже весьма пожилым, но не утрачивал своей организаторской энергии в домашнем кругу. Он и в Тайцах затевал спектакли, разыгрываемые детьми, теперь уже его внучатыми племянниками и племянницами. Вероятно, по его инициативе в Тайцах был устроен, с привлечением к этому членов семьи, фейерверк, описанный Николаем Андреевичем в другом стихотворении:

ФЕЙЕРВЕРК

Брильянтный фейерверк вчера
Иллюминировал наш сад.
Чтоб дескриптировать, пера
Где легкость взять, где взять те тоны,
Чтоб петь его? Я был бы рад
Иметь на то талант хоть Фета,
Но я поэт сего лишь лета.
Две компетентные персоны...
Позвольте подтянуть струну,
И лучше снова я начну.
Напротив самого дворца
Два компетентные лица
Перебралися за Канаву,
Взялись за дело. Фейерверк
Был препарирован на славу.
Подобно выстрелам фузей,
Дым, треск его; среди аллей
Зажглись фальшфейеры, взлетали
Ракеты с шумом, упадали,
Поднявшись кверху, римски свечи.
Индифферентности нет места,
О равнодушии нет речи
При том аспекте. Самый лес-то
Внимал с attention. Казалось,

И адмирация у нас
На физиономьях отражалась.
Взлетел бурак в последний раз —
Прощай, о фейерверк блестящий
И афраппирующий глаз!
Прости, бурак, фантом горящий!
Вы невизибельны для нас.

Стасов возмущался в письме к композитору С. М. Ляпунову: «Римлянин все-таки ничего не делает. <...> Вот скоро и лету конец, а он и усам не ведет и до самых сих пор ничего на даче не делал, кроме каких-то аранжировок церковных хоров для своих капелльских певчих (чтоб черт их всех побрал, они только мешают Римлянину и Милию делать что-нибудь путное по музыке)».

И Кругликова беспокоило, что Николай Андреевич ничего не сочиняет: «Непростительно зарывать свой талант в землю. Согласитесь, что Вам еще рано кончать. <...> Встряхнитесь и ободритесь».

На летний сезон 1886 года дача была снята снова в Тайцах, но на этот раз Николай Андреевич и Надежда Николаевна там почти не жили. В начале июня, оставив детей под присмотром Софьи Васильевны, они отправились в поездку на Кавказ, которая заняла около двух месяцев. Ехали на пароходе по Волге и посетили Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Самару, Саратов, Царицын; затем побывали в Калаче, Ростове-на-Дону, Железноводске; оттуда съездили в Пятигорск и Кисловодск, поднимались пешком на Бештау; затем поехали во Владикавказ и в коляске проехали по Военно-Грузинской дороге в Тифлис; побывали в Боржоми, затем поехали в Батум, пароходом перебрались в Ялту и оттуда, по дороге домой, заехали к Ипполитову-Иванову в его имение Домаха близ станции Лозовая.

Софья Васильевна несколько раз писала им о детях. О годовалой Наде она сообщала: «Она теперь сама кушает нарезанное мясо и землянику ложечкой. Совсем grande demoiselle!»

В конце июля они вернулись в Тайцы. Там Николай Андреевич описал эту поездку в таких забавных стихах:

НАШЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
поэма в 4 песнях

Расскажу вам так, что ах!
Путешествие в стихах.
Подбираю рифмы скверно,
Описанье зато верно.

Песнь I

Месяц Юнь, число седьмое,
Чрез Любань и Бологое,
Порассеяв мрачны думы,
Через матушку Москву мы
В Нижний мчимся. Обожаю
Я Москву и там съедаю
Каждый раз по расстегаю.
В Нижнем мы — на пароход,
Он во вторник отправлялся,
Уж на пристани народ
Понемногу собирался.
Вот по третьему свистку
Мы покинули Оку.
Здравствуй, матушка ты Волга!
Нам в Царицын плавать долго;
Поедим мы стерлядей
И посмотрим на людей.
Вот по Волге мы помчались:
Васильсурск и Чебоксары
Перед нами красовались
И Казани и Самары
Нам строенья попадались.
Вот Саратов, вот Тетюши.
Прожужжал свисток нам уши.
Мы по Волге долго плыли
И к Царицыну пристали;
Пароход там оставляли,
Наглоталися там пыли
И поехали в Калач;
От ветров там просто плачь.
Перед нами тихий Дон.
Как мелеет быстро он!
Близок солнца уж закат,
Миновать бы перекат
Довелось благополучно!
Все же нам не очень скучно:
Там Цимлянское вино
Пить давно заведено;
Поедим мы осетров
(Рыбы там большой улов).

Вот приехали в Ростов;
Мы в Ростове-на-Дону
Купили шляпу лишь одну.

Песнь II

От Ростова до Кумской
Степью едем мы донской.
Но дождями (вот оказья!)
Нас встречает Предкавказье.
Что ж сказать вам дальше? Ну-с!
Все ж мы видели Эльбрус;
И налево и направо
Цепь виднелась величаво
Снеговых Кавказских гор.
У подножия Бештава
Лес раскинулся кудряво:
Пощадил его топор.
Вот Верблюд, вот Бык-гора,
Вот Змеиная. Пора
Отдохнуть в Железнодорске,
Побывать и в Кисловодске,
А от них Ессентуки
Уж совсем недалеки.
Много там живет народу,
Весь тот люд давно бы умер,
Коль семнадцатый он номер
Не тянул бы год от году.
Худ иль толст, что за беда? —
Все излечит та вода;
Аппетит придет велик,
И захочешь есть шашлык.
Воды описать целебны,
Как, на что они потребны,
Выйдет целая страница.
Кисловодская станица:
Галереи из гранита
И нарзаном знамениты.
Пятигорск — водою серной,
Издающей запах скверный.
Но теперь пора как раз
Ехать нам в Владикавказ.

Песнь III

Ты послушай, человек,
Сколь ничтожен ты; Казбек
Здесь стоит перед тобой
В белой шапке снеговой.
Избежать коль хочешь тряску,
Нанимай скорей коляску
И скачи во весь опор
Посреди Кавказских гор.
Коби, Мчеты, Гудаур,
Ананур, Пасанаур,
Мцхет, Цинхоны пронеслись —
Мы приехали в Тифлис,
Началось Закавказье.
Тут почти совсем уж Азья.
Говорит здесь всякий: «Князь я!»
Все восточные люди —
То грузины, то армяне,
То лезгины, то христиане,
То поклонники все Мекки.
Из Тифлиса чрез Сухум
Переехать надо нам;
Есть еще немного сумм —
Мы торопимся в Батум,
Сделать разные покупки,
Чи-чун-чу купить на юбки,
А оттуда пароход
По волнам нас понесет.

Песнь IV

Море Черное шумит,
Пароход волной качая,
Пассажир внизу лежит,
Отказавшися от чая.
Так ушли мы из Батума
И доплыли до Сухума...
Постоявши в Сухум-Кáле,
Мы отправились дале.
Город знаете ль российск,
Что зовут Новороссийск?
Придет осени пора —

Облака висят как вата
И задует там бора!
Керчь, гробница Митридата,
Феодосья, Айвазовский...
Пароход наш не таковский —
Долго там он не стоит,
В Ялту весело спешит.
Южный берег весь в садах,
Горы в легких облаках,
И на рынке много фруктов,
Много есть других продуктов,
Баклажаны, помидоры,
Огурцов, арбузов горы.
Мы из Ялты в Севастополь,
А оттуда в Симферополь,
Через Харьков, Курск, Орел,
Чрез Москву наш поезд шел.
Химки, Клин, Веребья, Бурга,
Маловишера, Любань,
Тосно, Тверь и Померань...
Близко мы от Петербурга.
Попадались сосны, ели...
Вторник... мы домой поспели.
Путешествию конец —
Отдохни, стихов творец.

29 июля 1886 года

На этот раз и Надежда Николаевна не осталась в стороне. Ее стихотворная картинка служит прекрасным дополнением к виршам Николая Андреевича:

<...>
В Царицыне мы были
И наглотались пыли.
Здесь не растет сосна и ель,
В водах не водится форель,
На улицах здесь бродят свиньи,
А в Волге рыба для ботвиньи.
Вода хоть есть, но то беда,
Что в Волге грязная вода.
Ее нельзя не то что пить,
Противно даже руки мыть.

В отеле нашем грязи куча,
И в коридоре мышь летучая.
Звонки не действуют никак,
Лакеи входят просто так.
Чтоб вынуть ключ нам из дверей,
Зовем лакея мы скорей.
Железо слышно сквозь тюфяк,
Бока болят, спиши кое-как.
А от обеда тот лишь толк,
Что станешь голоден как волк.
На рынке фруктов мы искали,
Но только огурцов достали
И даже с голоду как раз
Десяток съели весь зараз.
Но надо же сказать по правде,
А то нас обвинят в неправде:
В отеле здесь хоть скверны блюда,
Зато мы видели верблюда.
Стихи не клеятся, пардон!
И с Волги едем мы на Дон.

Отношения между Римским-Корсаковым и Балакиревым постепенно ухудшались. Как-то во время занятия Николая Андреевича с оркестровым классом пришел Балакирев и сделал замечание по поводу недостаточной, по его мнению, стройности игры мальчиков. Николай Андреевич взорвался, резко ответил Балакиреву.

«Дорогой Николай Андреевич, — писал после этого случая Балакирев. — Мне весьма прискорбно, что мои замечания, самые безобидные как по существу, так и по своей форме, стали вызывать в Вас целую бурю негодования, которую Вы выражаете, даже не стесняясь присутствием мальчиков. <...> Да и стоит ли того приходить в какое-то исступление из-за того, что я выразил желание в самой безобидной форме, чтобы мальчики играли почище и постройнее. <...> Прошу Вас успокоиться и не волноваться в сущности из-за ничего».

На это Николай Андреевич ответил:

«Дорогой Милий Алексеевич, я сознаю, что выходка моя груба и непристойна, и если бы я не получил Вашего письма, то непременно лично бы передал Вам мое извинение. В последнее время я бываю до крайности раздражителен, и всегда это оказывается либо в совершенном унынии, либо, наоборот, в каком-нибудь грубом и нелепом поступке. <...> С другой стороны, я замечаю, что Вы постоянно недовольны моей

деятельностью по части инструментального класса, по части оркестра и ученических вечеров. Каждый раз я от Вас слышу непременно какой-нибудь выговор. Я делаю, как могу и понимаю дело, и вижу, что дело идет хорошо, а не худо. <...> Если же Вы отнимете у меня самостоятельность, то я сразу охладею и буду вам непригоден».

Беляевские пятницы

Еще с сезона 1883/84 года Николай Андреевич начал посещать музыкальные «пятницы» Митрофана Петровича Беляева, с которым некоторое время уже был знаком. В очень богатой семье лесопромышленников Беляевых Митрофан Петрович считался отступником. Не имея к торговле лесом никакого интереса, он вышел из дела с изрядной, причитавшейся ему долей капитала. С юных лет увлекшись музыкой, стал играть на альте и всю свою деятельность посвятил страстью любимому музыкальному искусству. Митрофан Петрович был большим любителем квартетной игры и по пятницам собирал у себя друзей квартетистов. Беляевские «пятницы» никогда не отменялись; если кто-нибудь из квартетистов не мог прийти, ему всегда находилась замена.

Через два года после начала занятий с Николаем Андреевичем у Глазунова уже была написана Первая симфония, и она была с большим успехом исполнена в концерте. «Стасов, — вспоминал Николай Андреевич, — шумел и гудел вовсю. Публика была поражена, когда перед нею на вызовы предстал автор в гимназической форме».

После того как Беляев услышал Первую симфонию Александра Константиновича, от которой пришел в необычайный восторг, он решил организовать издательское дело для издания этой симфонии, а затем и произведений других русских композиторов. Такое издательство с типографией в Лейпциге было им создано.

Но этим не ограничилась его меценатская деятельность. Вскоре по совету Римского-Корсакова он основал и затем субсидировал Русские симфонические концерты. Создал фонд помощи малоимущим музыкантам и учредил ежегодные премии имени Глинки за лучшие музыкальные произведения, причем выплачивал эти премии, не раскрывая своего имени, через Стасова, единственного человека, осведомленного об источнике средств на эти премии.

Николай Андреевич писал о нем позднее в своих воспоминаниях: «К Беляеву привлекали <...> его личность и преданность искусству, а его деньги были лишь средством для достижения возвышенной и

бескорыстной цели, что и делало его привлекательным центром кружка музыкантов».

Беляевские «пятницы» начали посещать и Бородин, и Лядов, и Глазунов, и Стасов, и другие, и эти вечера стали оживленнее, репертуар расширялся, исполнялись новые квартеты, в частности, свой Первый квартет Глазунов показывал у Беляева. А Николай Андреевич со временем даже сделался главой этого нового кружка.

«Князь Игорь» Бородина

Начало нового, 1887 года ознаменовалось печальным событием — смертью Бородина. Он скончался совершенно неожиданно и скоро-постижно во время веселого костюмированного вечера у себя дома 15 февраля. Николай Андреевич тут же решил заняться так и не законченной Бородиным оперой «Князь Игорь» и изданием ее и других неопубликованных его сочинений.

Сразу после похорон Александра Порфириевича Римский-Корсаков и Глазунов разобрали его рукописи и распределили между собой работу по завершению «Князя Игоря». Издание произведений Бородина взял на себя Беляев. Позднее, когда опера «Князь Игорь» вышла из печати, Митрофан Петрович подарил Николаю Андреевичу экземпляр ее партитуры с надписью:

«Глубокоуважаемому Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, благодаря таланту, любви к покойному автору и бескорыстно энергичному труду которого свет обязан появлением этой оперы в печати, от издателя».

Тогда же Людмила Ивановна Шестакова, сестра М. И. Глинки, подарила Николаю Андреевичу декоративную дирижерскую палочку с написанными на ней именами Даргомыжского, Мусоргского и Бородина, в знак преклонения перед его трудом над произведениями этих композиторов.

Осенью того года первый Русский симфонический концерт был посвящен памяти Бородина. Под управлением Николая Андреевича были исполнены произведения Александра Порфириевича, в том числе в первый раз исполнялись увертюра и Половецкий марш из «Князя Игоря». Глазунову и Римскому-Корсакову были поднесены венки, а Николаю Андреевичу еще и серебряная дирижерская палочка от Екатерины Сергеевны Бородиной, не надолго пережившей Александра Порфириевича.

Семья Римских-Корсаковых все разрасталась: в январе 1888 года родилась дочь Маша.

Премьера «Князя Игоря» в Мариинском театре состоялась 23 октября 1890 года. Николая Андреевича как на первом, так и на втором представлении вызывали по несколько раз. В газете «Новое время» М. Иванов писал:

«Русское искусство весьма и весьма обязано Римскому-Корсакову, который, кстати сказать, приводит в порядок и заканчивает уже третью оперу после смерти авторов; первые две были „Каменный гость“ и „Хованщина“. Это редкий пример того самоотвержения, которое, вместе с чувством уважения к известной идеи, лучше всего характеризуется понятием, заключающимся в немецком слове Pietät».

«Шехеразада»

Летом 1888 года Николай Андреевич переехал на дачу с намерением написать две большие вещи для симфонического оркестра. Это были сюита «Шехеразада» на темы некоторых эпизодов из «Тысячи и одной ночи» и увертюра «Светлый праздник» (Воскресная увертюра) на темы церковного пасхального обихода. Об их сочинении он задумывался еще зимой в Петербурге, но усиленная работа над «Князем Игорем» не позволяла ему заниматься собственными композициями. Теперь же, отдохнув от городской суэты в Нежговицах — имении Глинки-Маврина у Череменецкого озера, в восемнадцати верстах от Луги, он за двадцать четыре дня сочинил «Шехеразаду» — замечательное программное произведение, в котором, в частности, средствами музыки удивительно картино переданы различные состояния морской стихии.

Закончив эту сюиту, Николай Андреевич писал Глазунову:

«Душенька моя, не сердитесь на меня за следующую мою затею: мне хочется Вам мою сюиту не показывать (разумеется, и никому другому), а устроить так, чтобы все слышали ее в первый раз на репетиции беляевского концерта. <...> Ну вот, сюиту я написал, но затем остался гол как сокол, в голове торчали две пустоты — ни одной музыкальной мысли».

В конце года «Шехеразада» была с успехом исполнена в концертах.

«Млада»

В день двухлетней годовщины со дня смерти Бородина на его могиле в Александро-Невской лавре был открыт памятник в присутствии всех любивших его друзей. А вечером Стасов, Глазунов, Римский-Корсаков, Лядов и Беляев собрались на квартире Александра Порfirьевича.

Им хотелось побывать там вместе в память дорогого человека и поиграть разные оставшиеся неиспользованными его музыкальные наброски. В их числе были и наброски, когда-то сочиненные для оперы-балета «Млада».

В свое время оперу-балет в четырех действиях «Млада» начали сочинять по заказу С. А. Гедеонова, тогда директора Мариинского театра, четверо композиторов, каждый по одному действию: Бородин, Мусоргский, Кюи и Римский-Корсаков. Но вскоре в связи с уходом Гедеонова с директорского поста работа над «Младой» прекратилась, и у авторов этого коллективного труда остались лишь сделанные ими наброски.

Среди разговоров в тот вечер в квартире Бородина Анатолий Константинович Лядов высказал мысль, что сам сюжет «Млады» очень подходит для Николая Андреевича и что ему надо взяться за этот сюжет.

«У Р-К вдруг загорелись щеки и засверкали глаза, — писал после этого Стасов своей сестре, — когда Лядов предложил ему взять да сделать оперу „Млада“, на прежний сюжет. <...> Римлянин крутыми шагами через всю комнату наперерез подошел ко мне и сказал: „Вот что Лядов предлагает!“ — „Ну и что? Что?“ — спросил я. — „Да возьму“.

Сообщая об этом Глазунову, Владимир Васильевич добавлял:

«Я <...> был до самых корней поражен. Ведь наши любезный Римлянин никогда не пытает щеками и не сверкает глазами. <...> А эти минуты оставляют знаете какую глубокую потоком борозду на душе и какой Архимедов винт на сердце!!!»

В тот же вечер, вернувшись домой, Николай Андреевич завел новую записную книжку для музыкальных набросков и надписал ее: *«Для от. „Млада“. Н.Р.-К. Задумана в квартире А.П.Бородина, по совету Анатолия»*. Он с увлечением стал работать над новым сочинением. Стасов помог достать прежнее либретто «Млады», и наброски ее стали появляться один за другим.

В середине мая 1889 года Римские-Корсаковы переехали на дачу снова в Нежговицы, но Николай Андреевич оставался пока в городе. Он писал оттуда Семену Николаевичу Кругликову:

«Вам известно, что я собрался писать оперу-балет „Млада“, материалу заготовил довольно много, но, когда могу настоящим образом приняться, не знаю. Предстоит Париж, потом езда в Петергоф в Капеллу, там переборка на казенную квартиру, а далее вновь вращение музыкальной шарманки. Черт побери!»

В июне Беляев устроил в Париже два Русских симфонических концерта и пригласил Николая Андреевича дирижировать этими концер-

тами. Вместе с ним в Париж выехала и Надежда Николаевна. Концерты имели у парижан огромный успех.

Тотчас по возвращении в Петербург Николай Андреевич уехал на дачу и целиком отдался сочинению «Млады».

В середине августа сочинение «Млады» подошло к концу. Николай Андреевич сообщал Кругликову:

*«Добрейший, хороший и самый свежий Семен Николаевич, <...>
„Младу“, т. е. сочинение в тесном смысле, действительно кончил, но
ведь остается так называемая инструментовка, которую, кроме
Глазунова, никто не хочет считать за сочинение или, по крайней
мере, за продолжение сочинения, а оно в самом деле так и есть. Если
бы живописец ранее писания картины на полотне набросал бы оную
карандашом с значительными подробностями, то разве это значит,
что картина окончена и остается только раскрасить, как это де-
лают дети. Ведь подчас все и дело-то за колоритом, за освещением,
да и выражение-то настоящее достигается только в красках, поми-
мо того, что при этом могут быть всякие переделки, а это довольно
большой труд».*

Летом того года перестройка здания капеллы была закончена, и Римские-Корсаковы, вернувшись с дачи, поселились на казенной квартире при капелле, в доме на Большой Конюшенной улице.

На первом музыкальном вечере в новой квартире 30 сентября Николай Андреевич показывал друзьям свою «Младу». В ожидании этого события Стасов писал Глазунову:

*«Меня все время гложала жестокая жажда узнать, что же из все-
го этого смятения душевного и талантливого трепета вышло? <...>
И втихомолку думал про себя: „А что, брат, как, невзирая ни на что,
ничего великого у тебя не вышло?“»*

Однако музыка «Млады» произвела на всех большое впечатление.

В декабре 1889 года в семье Римских-Корсаковых появился седьмой ребенок, сын Славчик.

Отношения с Балакиревым продолжали ухудшаться. Милий Алексеевич поговаривал о своем уходе из капеллы, думая, что Римский-Корсаков хочет занять его место.

Некоторым отвлечением от петербургских передряг была для Николая Андреевича поездка в Брюссель в 1890 году, куда он был приглашен дирижировать концертом русской музыки.

По возвращении в Петербург в апреле он застал дома настоящий госпиталь. Надежда Николаевна тяжело заболела воспалением горла,

сын Андрей заболел скарлатиной, а Надежда Николаевна за ним ухаживать не могла, все легло на плечи Николая Андреевича.

«У меня дома очень скверно, — сообщал он Стасову. — Вы можете себе представить нравственное состояние Надежды Николаевны, которая, вследствие еще не окончившейся болезни горла, не может быть около больного».

Николай Андреевич окончательно превратился в сиделку, был не в состоянии сосредоточиться и заняться своими музыкальными делами. Да и заниматься-то было невозможно: рояльная гостиная превратилась в спальню, кабинет — в детскую и т. д.

К началу мая Надежда Николаевна стала поправляться, у Андрея наступило улучшение, и Николай Андреевич обратился с письмом к Кругликову:

«Хочу сказать вам, что теперь, когда опасность (острая) миновала у Андрея, какой душевный голод я чувствую, и рассказать нельзя. Созданное мной дело в инструментальном классе Капеллы и брошенное в самую важную минуту (1-х значительных выпускных экзаменов) тянет к себе; даже опостылая консерватория мила. А главное — это сочинение, эта несчастная Млада, работа над которой прерывалась каждую минуту самым безжалостным образом. Когда я за нее примусь, и сам не знаю. В квартире все перевернуто, дети разбросаны по разным домам, надо собрать и приготовить все, чтобы поскорей, на днях же отправить их на дачу подобру-поздорову. Прибавьте разные мелочные заботы и неприятности: кухарку надо сыскать, прачку переменить — все это кажется мелочью какому-нибудь неопытному Глазунову, ухаживающему за консерваторскими ученицами, но вы поймете, что в семейной жизни какая-нибудь стерва-прачка может влиять на дело искусства: поди прежде достань ее, ибо без нее жить нельзя, а потом уж сочиняй.

Разумеется, сочинение, как дело непомерно тонкое, как цветок, отодвигается жизнью на последний план, а между тем оно и есть самое главное дело, для которого живешь или, по крайней мере, воображаешь, что живешь для него. При всяком будничном вопросе, которых вечно целая куча, можно пойти в консерваторию к известному часу и дать там урок, еще можно пойти в Капеллу и окружить себя ее атмосферой, заняться делом, интерес которого создан, впрочем, самим мной, но сочинять — нельзя. Это уж слишком тонкая материя. <...> С некоторым навыком еще можно дирижировать концертом при неудобной обстановке в доме, ибо это все-таки какая-то служба,

какое-то отправление своего долга... Но сочинение есть дело душевное, оно тоньше, чем всякое дело науки и мышления. Разумеется, дело здоровья, воспитания детей, довольства и порядка семьи есть дело большей важности, чем, может быть, призрачные музыкальные писания; тем не менее вы поймете мой душевный голод, вы поймете, как у меня болит сердце оттого, что прервалось творчество. <...> В опасные и серьезные минуты жизни это чувство, разумеется, молчит, но, когда опасность прошла и остаются одни неудобства и последствия ее, душевная боль завладевает мною всецело. Нынешний год у меня крайне несчастный: я не выхожу из опасностей, сильных ощущений и передряг, и все это обрушилось на мою несчастную Младу, которая, вероятно, будет моим последним сочинением. <...> По окончании Млады мне нечего будет писать. Я все сделал, что мог, со своим ограниченным в узкий круг талантом. До сочинения Млады для меня еще оставались незатронутые темы; теперь ничего не остается. У меня все есть, что для меня пригодно: русалки, лешие, русская пастораль, хороводы, обряды, превращения, восточная музыка, ночи, вечера, рассветы, птички, звезды, облака, потопы, бури, неводнение, злые духи, языческие боги, безобразные чудища, охоты, входы, танцы, жрецы, идоложествование, музыкальное развитие русских и всяких славянских элементов и т. д. С Младой заполнились все пробелы, мне нечего писать, а повторять и размыливать старое не стоит. Лучше уподобиться Россини и прекратить, не уподобляясь старым безголосым певцам, все еще поющим после всевозможных 25, 35, 45-летних своих юбилеев. <...> Я люблю Младу за то, что она последняя, за то, что я все в ней договорю, что не досказал. И вот обстоятельства мне мешают и вредят, и вот потому-то это особенно болично».

Кругликов возражал:

«Нет, дорогой, пример Россини к черту отправить надо. Во-первых, что за пример для Корсакова этот сытый итальянец, для какого-то необыкновенного соуса выписывающий сушеные русские грибы в Париж? А во-вторых, не автору судить свои произведения. Он не вправе кончать писать, пока он не оглох, не в параличе, пока в голове его зарождаются могут мысли, может, по его мнению, и менее значительные, а на поверку, может быть, более важные, чем прежде».

В начале апреля 1890 года Софья Васильевна делилась с тихвинскими знакомыми:

«Лето думаю провести у сына на даче в Лужском уезде, на той же, что в прошлом году. <...> Он, мой голубчик, богат детьми, их у него теперь семеро, последнему 3 месяца. <...> У него дети все очень разные, но кажется, ни один из них не оказывает такой страсти и способности к музыке, как их отец, но слух у всех очень верный. <...> Благодарю Бога, что у него теперь казенная квартира, что ему большая помощь».

Ко дню рождения Николая Андреевича, уже неуверенной рукой, она писала:

«Сегодня день твоего рождения, друг мой Ника, а получиши эту записку только завтра. Я, как тебе известно, нынче совсем без памяти. Обыкновенно поздравляющие дают новорожденного, а я жду от моего [сына], чтобы он меня подарил, о чем я при свидании сообщу, подарок очень затейливый. Да благословит тебя Господь.

Твоя мама С.Р.-К. 6 марта».

Она стала сильно слабеть, но все же в середине мая Николай Андреевич перевез ее, вместе с Надеждой Николаевной и детьми, на дачу в Нежговицы. Как обычно, из-за консерваторских экзаменов он вернулся в город. Лишь в первых числах июня Николай Андреевич смог приехать на лето на дачу. Там он наконец плотно занялся «Младой». Но в середине августа Софья Васильевна стала слабеть еще заметнее, и, чтобы быть ближе к докторам, Николай Андреевич перевез ее в Петербург.

В это же время Балакирев решил уехать отдохнуть в Ярославль и передал капеллу на попечение Николая Андреевича. Его старались уговорить в эти дни не уезжать, так как Николай Андреевич находится в трудном положении: у него семья на даче, в Петербурге умирает мать, а капелла еще в Петергофе.

Балакирев на это ответил: «А мне какое дело! Его матери уже почти 90 лет теперь, и он давно должен быть приготовлен к ее смерти».

«Милый дружок Надя, — сообщал Николай Андреевич в Нежговицы, — я сижу в Петергофе точно под арестом, хотя и ездил сегодня к Беляеву [в Ораниенбаум], а завтра буду в Петербурге и пойду в консерваторию. Я сказал, что живу под арестом, потому что наши Английский дворец, с моей комнатой, совершенная тюрьма, делать мне, в сущности, нечего, и я почти безвыходно сижу, дописываю и поправляю 4-е действие [„Млады“]. Гулять совершенно не охота, парк просто противен; говорить решительно не с кем. Балакирев все еще не уехал, хотя должность мне сдал, но ходит два раза в день в канцелярию и пишет какие-то письма. В пятницу [24 авг.] по приезде в Петербург

я был у мама́; в этот день она чувствовала себя пободрее. Завтра опять зайду к ней. <...> Переезд кателлы состоится, как и говорено было, 4-го сентября. <...> Балакирев решительно мог бы вытребовать меня 5 днями позже, хоть бы уехал поскорее! <...>

P. S. Написав это письмо, я лег спать, но меня разбудили телеграммой <...> о том, что мама́ очень худо и просят приехать. Я уехал на поезде в 12 ч. 45 м. и приехал к ним в 3-м часу. Застал мама́ крайне слабою; я спал на кушетке в ее комнате; она всю ночь ужасно стонала; слабость такая, что невозможно было понять, что она говорит; к утру она стала чуть бодрее, в 9 часов пришел священник и причастил ее; доктор приедет в 2 часа. Думаю, что она последние дни до-живает. Ночью она спрашивала о тебе и детях. Сегодня, если ничего не случится, буду ночевать в Петергофе.

Твой Н.Р.-К. Понедельник, 10 ч. утра».

А Надежда Николаевна писала из Нежговиц:

«Мне скучно, что я о тебе ничего не знаю, удобно ли ты там устроился, есть ли у тебя все, что нужно, — подушка, одеяло, постельное белье и проч, ведь ты с собой ничего не взял. Может быть, в этом дворце сырь и холодно, ты, пожалуй, еще простудишься.

P. S. Сейчас получила твое письмо. Это ужасно, что мама́ так худо».

В свой последний день Софья Васильевна уже совсем не могла говорить. Она скончалась 30 августа 1890 года восьмидесяти восьми лет. На следующий день Надежда Николаевна со старшим сыном и 8-месячным Славчиком, которого нельзя было оставить на даче, приехала в Петербург. Похоронили Софью Васильевну на Смоленском кладбище, рядом с могилой Воина Андреевича, которого она пережила на девятнадцать лет.

Впоследствии Михаил Николаевич (старший сын) вспоминал, что видел слезы на глазах Николая Андреевича, когда прах его матери опускали в землю.

Софья Васильевна оставила Николаю Андреевичу свои «Посмертные пожелания, писанные в 1887 году в январе 9 числа». Ей тогда было восемьдесят пять лет, и в то время еще красивым, четким почерком она писала в этих пожеланиях:

«Прошу сына моего Николая Андреевича Римского-Корсакова исполнить: Желаю, чтобы на моей могиле не ставили памятника, а положить плиту, как на могиле Андрея Петровича. <...> Образ Тихвинской Божьей Матери, который поменьше, сыну моему Николаю Андр.

Им благословила бабушка отца его, когда он ехал на мне жениться. Бронзовое распятие всегда висело в головах Андр. Петр. и лежало у него на груди, когда он кончился, и он брал его с собой всюду, а после его смерти всегда бывало у моей постели, я оставляю тебе, Ника. Оставляю на память мои любимые бронзовые часы моему Нике, прошу их беречь и держать на письменном столе. <...> Часы, которые я ношу, Мише, когда ему минет 18 лет. Соне дорожный несессер, золотую брошку, бисерный кошелек с птичками. Андрюша серебряную штучку для пятиалтынн. и гравенников. Валоде серебряный ножик с буквой S и десертную ложку. Наде № 2 серебряный вызалоченный молочник, серебряное кольцо для салфетки, и серебряный порт-монэ с птичками, и маленькую чайную ложечку».

Так распределила Софья Васильевна свое весьма скромное имущество.

В конце сентября Николай Андреевич у себя дома показывал друзьям «Младу».

В феврале 1891 года третье действие «Млады» было с большим успехом исполнено в концерте, после чего Дирекция императорских театров решила поставить «Младу» на сцене Мариинского театра. Премьера же состоялась только 20 октября 1892 года. Театр был переполнен, и успех был большой.

Партитура этой оперы-балета чрезвычайно сложна, и, как было написано в газете «Новое время», автор должен был быть доволен, так как не всякий театр мог бы исполнить «Младу» так, как в Мариинском. Несмотря на успех, это произведение было встречено в прессе преимущественно враждебно, не приняла его и абонементная публика, состоявшая главным образом из высших кругов общества. Чайковский же на вопрос одной из абонементных слушательниц, каково его мнение о «Младе», сказал:

«Конечно, публика глупа и художественно не развита, а потому ей никакого нет дела до этого произведения, между тем нам, музыкантам, есть что послушать и чему поучиться».

29 января 1893 года в Мариинском театре в шестой раз давали «Младу». Несмотря на успех у неабонементной публики, это ее представление оказалось последним. Как записал в своем дневнике главный режиссер Мариинского театра Г. Кондратьев, в царской ложе мнение было не в пользу «Млады»: «Какое счастье, что эта опера окончилась! Этими словами было обрисовано впечатление, полученное от оперы».

Высочайший двор «Младой» не заинтересовался.

25-летний юбилей

В сентябре 1890 года началась подготовка к празднованию наступившего 19 декабря 25-летия композиторской деятельности Николая Андреевича. В этом захотели принять участие многие музыкальные учреждения. Чествование юбиляра было намечено на 22 декабря.

Год этот сложился для семьи Римских-Корсаковых крайне тяжелым. В декабре умер младший сын Славчик, немного не дожив до года. У Маши, которой не исполнилось еще и трех лет, обнаружился туберкулез. Можно себе представить, в каком состоянии должны были Николай Андреевич и Надежда Николаевна принимать поздравления и присутствовать на юбилейных торжествах.

По совету Стасова известный петербургский фотограф Шапиро выставил в витрине своего фотоателье на Невском проспекте большой портрет Николая Андреевича в лавровом венке.

В самый же день юбилея, 19 декабря, ровно через двадцать пять лет после первого исполнения в 1865 году Первой симфонии Николая Андреевича, к нему домой пришла от консерватории депутация. Ее возглавлял А. Г. Рубинштейн. Антон Григорьевич прочел поздравительный адрес.

В тот же день Николай Андреевич подарил Балакиреву печатный экземпляр партитуры своей Первой симфонии, написав на ней:

«Дорогому Милию Алексеевичу Балакиреву на память о первом исполнении этой симфонии под его управлением 19 декабря 1865 года от благодарного ему Н. Римского-Корсакова.

19 декабря 1890. С. Петербург».

Днем 22 декабря Римского-Корсакова чествовали в капелле, там ему преподнесли настольные часы-чернильницу в виде колодца. Вечером же в зале Дворянского собрания состоялось главное чествование.

Устроенный Беляевым концерт из произведений Николая Андреевича состоял из двух отделений: в первом, под управлением Г. Дютша, были исполнены Первая симфония, Концерт для фортепиано с оркестром и музыкальная картина «Садко»; во втором, под управлением А. Глазунова, — «Антар» и увертюра «Светлый праздник». На программе концерта были помещены два портрета Николая Андреевича, слева — в морской форме, каким он был в начале своей музыкальной карьеры, справа — времени юбилея.

Николай Андреевич и Надежда Николаевна сидели в ложе, установленной тропическими растениями. Когда кончилось исполнение Первой

симфонии, Римского-Корсакова пригласили выйти на эстраду. Он шел под звуки фанфар, сочиненных для этого случая Глазуновым и Лядовым и сопровождавшихся шумными овациями. Ему навстречу бросали маленькие лавровые веночки. Читались адреса, среди которых сенсацию вызвал адрес в виде серебряного с позолотой листа древнерусского свитка с выгравированными на нем текстом, сочиненным В. Стасовым, и более чем ста шестьюдесятью подписями почитателей таланта Николая Андреевича,

От Певческой капеллы Николая Андреевича приветствовал ее начальник граф С. Д. Шереметев. Товарищи по консерватории поднесли ему золотые карманные часы с памятной надписью, а консерваторские ученики — большой альбом в плюшевом переплете, украшенном серебром и эмалью с изображением хоругви и с музыкальной фразой на ней: «*Звонкие струны славу рокочут*» (из «Снегурочки»). В альбоме были портреты учеников.

Кроме всего этого, по ходатайству Балакирева перед министром императорского двора (через посредство Шереметева) Николаю Андреевичу была назначена пенсия в 1500 рублей в год «в награду двадцатипятилетней полезной музыкальной деятельности». А от Морского ведомства представителей и поздравлений не было.

После концерта в честь Николая Андреевича был устроен ужин, в меню которого значилось много блюд: богатые закуски, бульон, дьябли и пирожки, рыба, котлеты, мороженое и кофе. На красиво оформленной карте меню были помещены даты 1865 и 1890 и нотные строчки, соединенные римскими цифрами XXV. Ужин происходил в ресторане Контана.

В ответ на это чествование Римские-Корсаковы устроили у себя 6 января 1891 года праздничный обед для наиболее близких друзей. Накануне Николай Андреевич пришел к Балакиреву и пригласил его на этот обед, но тот ответил: «Нет, к вам я не пойду». Такой резкий ответ был вызван, казалось бы, незначительным обстоятельством. Незадолго до того Николай Андреевич послал Балакиреву такое письмо:

«Дорогой Милий Алексеевич, согласно вашему желанию, я выспросил М. П. Беляева об условиях по изданию Симфонии Ляпунова и хотел это сегодня вам сообщить на словах; но вы пожелали, чтобы я это изложил письменно, а я попрошу вас не рассердиться на меня, если позволю себе уклониться от этого. <...> Прямая дорога к М. П. Беляеву никому не закрыта, а передавая известные условия вам непременно письменно, я становлюсь как бы посредником в деле, которое меня

совершенно не касается, чего бы я вовсе не желал. Отказываясь от письменной передачи вам условий между М. П. Беляевым и Ляпуновым, я тем самым прошу вас уволить меня и от словесной их передачи».

Этот ответ привел Балакирева в негодование. Он написал:

«Николай Андреевич, вчерашнее Ваше неожиданное посещение и еще того менее ожиданное приглашение меня на обед после оскорбительного Вашего письма привели меня в такое возбужденное состояние, при котором я мог, при последовавшем у нас объяснении, наговорить лишнего и упустить существенное; а потому, чтобы урегулировать наши новые отношения, считаю нужным сообщить Вам следующее: возобновление личных наших отношений немыслимо не только для меня, но и для Вас, так как после того, как Вы дали мне ясно понять, что разумеете меня способным в отношении Вас на подвохи и что в сношениях со мной следует держать ухо востро, не делается ли фальшию с Вашей стороны не только приглашение меня на дружеский обед, но даже простое со мной знакомство? Но есть поприще, на котором мы не должны расходиться. Это — Капелла. Я уверен, что сумею, независимо от личных отношений, ценить пользу, приносимую моими сослуживцами, и ради массы добра, проистекающей от нашего служебного союза для дорогих детей, врученных нашим заботам, союз этот не должен разрываться. Дружба дружбой, а служба службой! И в этих интересах я нахожу, что никто из капельских не должен знать о нашем разрыве.

М. Балакирев».

На это Николай Андреевич ответил:

«Милий Алексеевич, уехав в субботу от вас и оглянувшись на прошлое, я пришел к заключению, что наши исключительно официальные отношения установились уже давно и устанавливались постепенно; наше с вами объяснение по поводу моего письма только окончательно подчеркнуло эти отношения. Тем не менее это не мешало нам вести наше служебное дело до сих пор согласно и даже дружественно; поэтому и теперь ничто не должно измениться; а в Капелле о разрыве нашем, конечно, знать никому не следует. Пусть так и будет.

Н. Р.-Корсаков».

С того времени в письмах друг к другу обращение «дорогой» заменилось сугубо официальным: «Господину управляющему Придворной капеллы Милию Алексеевичу Балакиреву» и «Господину помощнику управляющего Придворною капеллою». Много времени потребовалось, чтобы впоследствии прежнее дружеское обращение восстановилось.

Но обида на Николая Андреевича не помешала Балакиреву восторгаться «Младой». В начале следующего года эта опера-балет вышла из печати, и когда певец П. Оленин зашел к Балакиреву, то увидел «Младу» на пюпитре рояля и Милий Алексеевич стал играть ему вступление.

«Он в восторге, — вспоминал Оленин. — „Это ведь гениально!“ — восклицает он. Затем переходит к танцам Клеопатры; те же восторги и возгласы».

Ускорившийся постепенный разрыв отношений с Балакиревым совпал по времени с периодом домашних невзгод и прибавил немало горечи к переживаниям Николая Андреевича.

Творческий кризис

Печальные обстоятельства последнего времени — болезни и смерти в семье, разлад с Балакиревым — вызвали у Николая Андреевича упадок духа.

Из-за нездоровья Маши было решено уехать на лето в Швейцарию. Получив в капелле отпуск на два месяца, Николай Андреевич с Надеждой Николаевной и детьми уехали в Люцерн. Они поселились в сорока минутах езды от Люцерна, в отеле «Зонненберг», на высоте восемьсот метров над уровнем моря.

В августе Николай Андреевич, оставив семью в Швейцарии, вернулся в Петербург.

Надежду Николаевну огорчало душевное состояние Николая Андреевича, отсутствие у него желания сочинять, и она подбадривала его:

«Милый мой Ника, как я рада, что ты благополучно доехал до Берлина. Теперь жду не дождусь письма от тебя из Петербурга. Все-таки лучше знать, что ты уже на месте, хотя ужасно скучно подумать, что ты так далеко. И ты, конечно, испытываешь то же, но меня утешает одна мысль: может быть, ты, будучи один, на свободе (никто из домашних не будет мешать тебе, и в Капелле, вероятно, еще не много занятий), может быть, ты сочинишь что-нибудь новое, хорошее и припомнишь то, что изорвал, к моему огорчению, во Франкфурте. А мне здесь особенно делается скучно, когда я пойду гулять, именно потому, что тебя нет».

Николай Андреевич писал:

«Балакирев с сегодняшнего дня в отпуску, хотя уедет в действительности только через два дня. <...> Я с ним кроток как агнец, согласно твоему желанию; но кажется, никогда еще не было так сильно

желание покинуть Капеллу, как теперь, неужели же все служить у сумасшедшего и играть в игрушки вместо дела! Поговорим при свидании. Целую детей. Обнимаю тебя, дружок мой милый».

Он жил в Петергофе, но бывал и в Петербурге, ездил на Смоленское кладбище, на могилу матери.

Надежду Николаевну волновала неурядица в капельских делах Николая Андреевича из-за разлада его с Балакиревым. Она писала, что была бы очень рада, если б Николай Андреевич ушел из капеллы.

«Ах, как бы ты наслаждался сегодня, если бы был здесь, — писала она, — погода дивная, жара, голубое небо, все снежные горы безукоризненно чисты и необыкновенно хороши, потому что за последнее ненастье на них еще прибавилось снегу. При закате все было ярко-розовое. <...> За что же этот противный Б. украл у тебя столько дней. Ведь мы могли бы еще целую неделю быть вместе. <...> Прощай, милый мой. Как я рада, что ты каждый день мне пишешь».

Действительно, каждый день Николая Андреевича начинался с написания письма к Надежде Николаевне, а потом уже он переходил к капельским делам, подготавливая расписание занятий к предстоявшему учебному сезону. Музыку совсем забросил, к роялю не прикасался.

«Когда я был за границей, — писал он, — мне казалось, что вот не хватает мне музыки; а теперь она оказывается мне вовсе не нужна. Уж не знаю, отчего это происходит. На моем столе лежит известное тебе расписание поездов С. Готардской дороги с картинами Монте-Дженерозо, и я так люблю его смотреть, оно мне так напоминает всех вас, и житье за границей, и все чудные места, в которых мы побывали. Я, должно быть, так обленился, что ничего не делаю. Впрочем, читаю Анну Каренину, но это не дело. <...> Поцелуй Андрея за то, что он ласков к тебе, Валодю за то, что он славный мальчик, Надю за то, что она меня вспоминает, Машу — за то, что она милая девочка. <...>

Р.С. Миша, береги маму. Скажи Валоде и Андрею, чтоб в дороге не шалили».

На это письмо Надежда Николаевна отвечала:

«Это очень дурно, что ты не занимаешься музыкой и не гуляешь. Чтобы ты обленился, в это я не верю. А верно, настроение не такое, но надо постараться лучше себя настроить».

Николай Андреевич присутствовал в Мариинском театре на разучивании хоровых номеров «Млады» и после этого делился с Надеждой Николаевной:

«Странное дело! Я прослушал хоры Млады, пели их хорошо, звучат они тоже хорошо, но тем не менее я остался совершенно холoden к собственному сочинению; оно мне мало понравилось! Вообще, я замечаю в себе громадную перемену после поездки за границу. Я отдохнул и отвык от музыки, и все, что я ни слышу теперь, мне не нравится. <...>

Полагаю, что часть русской школы — не музыка, а холодное и головное сочинительство. Ты в ужас приходишь от моих слов, но что же делать, если мне так это представляется и я потерял возможность слушать и чувствовать то, что казалось, вследствие долгой привычки, хорошим. Бросившим курить на 2 месяца табак перестает нравиться, и надо вновь себя приучать к нему. Вот в каком я положении нахожусь. Бетховен, Глинка, Шопен, итальянцы и, разумеется, многое у других композиторов, напр. у Шумана, а также Гайдна, ну, словам, ты меня поймешь — это не табак, — от них не отвыкнешь. А русская школа, за малым исключением, все представляет одну табачную торговлю. Пожалуй, что с такими мыслями и сочинять следует бросить, но если мысли и чувства верные, то и следует бросить. Разумеется, никогда не нужно задаваться этим вперед, — все само уясняется, но думаю, что устами моими значительная доля правды глаголет в эту минуту. Не сожалей, душа моя, что я разорвал записную книжку в порыве дурацкой злобы и что теперь я не припоминаю того, что там было. Право, все, что там было записано, не стоит и гроша, ибо представляет образчики нежелаемого сочинительства. <...> Я не упомянул о Листе и Вагнере. Сочинений первого я не слыхал теперь и потому вполне не могу представить, какое они впечатление на меня произведут. Полагаю, что какой-нибудь *Danse macabre* останется в полной силе, но что от многих повеет холодом — я убежден. Из Вагнера я слышал отрывок пения дочерей Рейна в *Götterdämmerung*, который играл Глазунов. Это прелестно. Я полагаю, что и ковка меча, и многие другие вещи, напр. *All[egro]* увертиры Тангейзера, все-таки будут производить впечатление, но все это только небольшие отрывки, проникнутые огнем, а прочее все окажется головным, умозрительным и холодным. Впрочем, надо испытать на деле. Я боюсь, что за свое пребывание за границей я недостаточно отдохнул от музыки, недостаточно отвык от нее. Если бы дальше ее не слышал, быть может, у меня бы образовался еще более очищенный вкус или, лучше сказать, очищенное чувство; чувство, способное отличать Божью искру от простого соединения с кислородом. Гниение и окисление, говорят, тоже горение. Но тут и вся разница. Я припоминаю, что до

сих пор решительно все сочинения Глазунова мне нравились, я находил в них недостатки, длинноты, преувеличения, но я не понимал, как многие из них могут не нравиться другим. А это было все оттого, что у других не было притуплено чувство распознавания Божьей искры, а у меня оно не существовало. Божья искра может быть даже и в оторной мелодии. Она в высшей степени есть у Штрауса. Вкус и дух времени, мода, условное благородство стиля — это совсем другое дело, а мы часто способность удовлетворить этим условиям принимаем за Божью искру. Вот я какой стал! Пожалуй, ты на меня досадуешь. Я болтал с тобой об этом предмете, а между тем в письме всего не скажешь. Душечка моя, мой миленок, Надюшонок, мам, мама, мамуля, прощай. Целую тебя в глазки».

В письме к Кругликову Николай Андреевич продолжал рассуждать: «Знаете, чего нет в русской музыке? — Души нет. А у Бетховена есть великая душа. Бетховен самый великий и дивный композитор. „Вот так Америку открыл!“ — думаете вы. Да, открыл. Когда я в оркестровом классе Капеллы слушаю в 1000 раз в жизни 8-ю симфонию или играю в классе для учеников кое-что из 1-х сонат для указания формы, я чувствую, что весь проникаюсь этой удивительной музыкой. Какой огонь, и жизнь, и душа! Глинка тоже удивительный, и Шопен тоже. Вы не думайте, что все прочее я огульно отрицаю — никогда. А молодое поколение музыкантов — вот уже, правда, малую цену имеет».

Вскоре Николай Андреевич все же вернулся к работе, решив сделать новую редакцию «Псковитянки», но ничего нового сочинять не начал. Он также взялся за редактирование «Бориса Годунова», надеясь тем самым добиться сценического воплощения этой оперы, которая в свое время не была принята к постановке в Мариинском театре.

Весной 1892 года Николай Андреевич писал Кругликову, что закончил переоркестровку «Псковитянки», редактировал «Бориса Годунова», «Каменного гостя» и «Садко»:

«Словом, нового (!!!!!) ужасно много сделал и сделаю. Засим учу, учусь, обучаю, обучаюсь, злюсь на многое, а на многое устанавливаю объективный взгляд. Воспитываю и выкармливаю в себе чувство величайшего отвращения к Балакиреву (и с успехом). На будущее русской музыки, молодой русской школы в особенности, и на будущность музыки вообще смотрю с величайшим сомнением и недоверием или, лучше сказать, убежден в пришедшей к ним старости или, по крайней мере, в том, что она скоро наступит».

Лето того года Римские-Корсаковы провели опять в Нежговицах. Творческий кризис Николая Андреевича продолжался, он так ничего и не сочинял. По словам Николая Александровича Соколова, в нем «*произошла какая-то перемена. <...> Н. А. постепенно ко всему охладел, стал скучным и вялым, в его деловых объяснениях, в обыденных разговорах послышались ноты непривычной усталости. <...> Вскоре он стал жаловаться, <...> что не может больше сочинять*».

Николай Андреевич обратился к вопросам эстетики и философии, собирался писать об эстетике в музыкальном искусстве. Чувствуя недостаток своих знаний в этой области, он стал изучать труды Ганслика, Льюиса и других, составлял статьи о музыке, музыкальном образовании, музыкальном творчестве. В Николае Александровиче он нашел внимательного и интересного собеседника по волновавшим его вопросам.

«*Сначала наши беседы, — вспоминал потом Соколов, — ограничивались темами наиболее близкими искусству. <...> Мы с увлечением фантазировали в области эстетических загадок. Но эти загадки как-то незаметно повлекли нас к другим. <...> С решительностью дилетантов мы вошли в заколдованный круг о вкусовом и рассудочном, о запрещенном и дозволенном, <...> о бесцельности существования и о совершенствовании, святости и Божестве*».

Все эти загадки очень пугали Николая Андреевича.

«*Непрерывный, боящийся отдыха беспредельно-настойчивый труд, за себя и за других, не является ли инстинктивной попыткойбежать, спрятаться от „проклятых вопросов жизни“?*» — задавался вопросом Соколов.

От усиленной работы к концу августа Николай Андреевич почувствовал приливы к голове, мысли его пугались, совсем пропал аппетит, а когда он оставался один, его одолевали неприятные навязчивые идеи, он стал размышлять о религии, о примирении с Балакиревым.

«*В одно прекрасное утро, — вспоминал он позднее, — я почувствовал крайнее утомление, сопряженное с каким-то приливом к голове и полной ступанностью мышления. Я перепугался не на шутку*».

Видя его состояние, Надежда Николаевна настояла, чтобы он бросил все свои философские занятия, и это помогло. Как он потом вспоминал, в Петербург он вернулся «*опомнившимся*». Но, несмотря на совет доктора пока не возвращаться к этим занятиям, возобновил свои философско-эстетические исследования, стал усиленно изучать труды Генекена, Спинозы, Спенсера.

Здоровье Николая Андреевича не улучшалось, он был так же утомлен и стал чрезвычайно раздражительным. В разговоре с Ястребцовым³ он никак не мог вспомнить название своей оперы «Снегурочка», а в другой раз спросил Ястребцева, почему накануне он не зашел к нему после концерта в артистическую, когда на самом деле Василий Васильевич заходил и разговаривал с ним. По свидетельству доктора Эрлицкого, у Николая Андреевича был серьезно расстроен весь организм на почве усилившегося склероза и этим было обусловлено его убеждение в ослаблении творческих сил, состояние депрессии.

Вскоре после Нового года Николай Андреевич писал Кругликову: «*Скажу вам, что в настоящее время занимаюсь лечением самого себя под руководством врачей, конечно. Лечение это будет долгое: принимать йод внутрь, делать побольшие движения, а главное — ни-чем не заниматься. Так как всякие нелепые ощущения в моей голове продолжают появляться, то я и обратился к врачам; они нашли переутомление и предписали мне упомянутые вещи. Лечиться следует до лета, тогда меня посмотрят и предпишут лечение на лето; осенью опять посмотрят и тогда...? ...?? ... Если вы спросите, что я делаю? Отвечу: гуляю без конца по морозу, что, во всяком случае, меня очень бодрит. Выйдет ли только из этого талк?»*

Плохому настроению способствовали и новые болезни в семье: опять заболел Андрей, не поправлялась Маша, плохо себя чувствовала Надежда Николаевна.

Уход из капеллы

Как близкому другу, Николай Андреевич поведал Кругликову свои мысли в письме от 1 февраля 1892 года:

«*Милый друг, Семен Николаевич, убежден, что удивлю вас этим письмом. Прошу вас, чтобы до поры до времени содержание его осталось бы в совершенной тайне. Дело вот в чем. 1) У меня давно зреет мысль покинуть службу в Капелле. 21 февраля истекает срок моего 10-летнего служения по министерству двора, и я получаю право на значительную пенсию; параллельно с этим назревает нравственная потребность покинуть это учреждение, в котором я уже не могу*

³ Василий Васильевич Ястребцев, друг и почитатель творчества Н. А. Римского-Корсакова, оставил очень ценные записи разговоров и высказываний Николая Андреевича.

сделать чего-либо путного, ибо таковое мною по мере возможности сделано и в настоящую минуту чувствуется наклон к деградации. 2) Дело в Петерб. консерватории идет положительно к деградации: такого сна, вялости и безнадежности нельзя себе представить. 3) Кружок петербургских музыкантов (бывшая Могучая кучка) вступает, очевидно, в какой-то новый фазис, мне чуждый. 4) В общем, я чувствую потребность в обновлении, в другом воздухе, в менее туманных и мрачных зимних днях. Мне кажется, что при другой обстановке я бы ожил, может быть, вновь принял за сочинение и т. д. Вы знаете, что я люблю Москву, люблю ее не за одни расстегаи, а за то, что в ней жизнь как-то энергичнее и моложе. Вам, москвичам, кажется это наоборот; но нам, петербуржцам, это, право, лучше видно, ибо мы знаем наш усталый и вялый Петербург. Это не мое исключительное мнение; то же впечатление производит Москва и на других, напр. Репина. Моим желанием было бы: покинуть службу в Капелле, переселиться в Москву (в один из переулков) и занять место профессора Московской консерватории, которой бы я был, вероятно, к лицу. <...> Не правда ли, все это удивительно! Хочу сделаться москвичом на старости лет, хочу, да и только! И Надежда Николаевна хочет. Хотим нового; старое невозможно».

Николай Андреевич начал переговоры с Балакиревым о своей отставке. Милий Алексеевич обещал сделать все возможное, но просил не подавать заявления раньше осени.

Видимо, некоторый перелом в настроении Николая Андреевича наметился. Он снова писал Кругликову:

«Милый друг, Семен Николаевич, <...> в Москву не переедем. Отчего не помечтать дня 2 или 3, а потом пора и за действительность приниматься. А действительность такова, что как ни покидай, а принадлежности к Капелле не покинешь. Надо перестать бабиться, хвортать, злиться на Балакирева, а заняться делом, — вот и все. Сделать глупый и опрометчивый шаг недолго, а потом не поправишь. И действительно: там хорошо, где нас нет. А что Петербург никуда не годен — это все-таки правда, но только и в нем можно дело делать, и это зависит от самого себя. Ну, словам, мораль, а всякая мораль все-таки, в сущности, дело хорошее».

Все же Николай Андреевич не оставлял занятий эстетикой музыкального искусства и, кроме того, много писал свои воспоминания.

В конце марта Надежда Николаевна с Машей уехали в Ялту. Здоровье дочери ухудшалось с каждым днем.

В эти дни Римскому-Корсакову пришлось посещать Репина в его мастерской. По заказу Беляева Илья Ефимович писал портрет Николая Андреевича.

Надежда Николаевна жалела, что долго не увидит портрета, который пишет Репин. Спрашивала Николая Андреевича, доволен ли он им, какого он мнения о самом Репине. В ответ на беспокойство Надежды Николаевны о состоянии его головы Николай Андреевич писал ей:

«Об эстетике и философии за последнюю неделю вовсе почти не думал, а на инструментовал хор девушек, что мне не было затруднительно, и это поневоле отвлекло меня от отвлеченных размышлений. Голова моя все-таки не всегда хороша; никак не могу проследить, с чем это состояние связано: с утомлением ли, с желудком ли, с поздним ли засыпанием или с раздражением. Во всяком случае, очень худого ничего нет, и скорее это реже, чем прежде, со мной бывает. Я думаю, что когда приеду на лето в Крым к тебе, то все пройдет; надо только побольше гулять там».

Николай Андреевич был сильно занят служебными делами:

«С сегодняшнего дня 2 недели у меня заняты экзаменами сплошь: с 9-ти ч. утра до 1 ч.; с 2-х до 5-6 часов, а к 7 ч. вечера надо идти в консерваторию, чтобы дать пропущенные утром уроки. Словом, времени свободного окажется только от вечернего чаю и до сна. Ты не бойся: это мне вреда не принесет, ибо эти занятия утомительны однообразием и сухостью, а не утомительны для головы. <...> Ты не бойся, что беспокойство мое о тебе принесло мне вред. Этого не случилось».

13 апреля он снова писал:

«Оба эти дня, несмотря [на то] что целый день я занят, чувствую себя хорошо и явлений в голове никаких нет. Должно быть, учебная работа мне полезна, или она есть мое нормальное состояние, к которому голова и весь организм привык, а книги, философия, эстетика не про меня писаны. Что я сделал за этот год? Говорил, говорил, болтал, болтал. Старый я болтун, вот и все. Попробуешь прочитать свои записи и видишь, что это записки сумасшедшего Поприщина: марабобря такого-то и т. п. Чтобы этими вещами заниматься, надо начать их малоду и иметь образование, а так, как я делал, не стоит делать. После экзаменов устаешь, правда; но усталость здоровая, и даже хочется музыкой заняться, несмотря на то что слушаешь целый день фальшивые скрипки».

О Репине Николай Андреевич писал:

«Он очень милый и умный, я с ним много говорил об искусстве, и он далеко не держится стасовских угловатых и чудных взглядов. Портрет мой вряд ли будет совершенно окончен весной; портрет очень похож: лицо почти отделано, и весь холст уже закрашен».

А у Надежды Николаевны на глазах угасала Маша.

«Милый друг мой, Ника, не знаю, что и написать тебе. У нас все тоже, та же скуча и уныние. Маше нисколько не лучше...»

Николай Андреевич всей душой рвался в Ялту, к жене, к больной Маше, но консерваторские дела не позволяли уехать из Петербурга.

Еще сомневаясь, следует ли ему уходить из капеллы, Николай Андреевич предполагал, что он мог бы с осени взять на себя занятия в оркестровом классе. Но Балакирев, узнав об этом его намерении, написал ему письмо, в котором уговаривал не делать этого, под тем предлогом, что здоровье Николая Андреевича расшатано, нервы расстроены и эти занятия, при его склонности к крайнему раздражению, будут ему приносить только вред. Николай Андреевич понял это как намек на желание Милия Алексеевича с ним расстаться.

«Я тоже так понимаю заботливость Балакирева о твоем здоровье, — писала Надежда Николаевна, — что это есть любезный способ от тебя отделаться. Я считаю, что выйти в отставку необходимо».

В Ялту Николай Андреевич приехал 16 мая. Его отпуск, полученный сначала на два месяца, был продлен из-за неважного состояния его собственного здоровья еще на месяц, до 20 августа. К этому времени Машине состояние было все таким же плохим, и родители были в нерешительности, уезжать ли с ней в Петербург или Надежде Николаевне еще остаться с Машей в Ялте. В письмах к старшему сыну Николай Андреевич писал:

«Настаивать на отъезде теперь же в Петербург — значит отнимать у мамы всякую надежду окончательно. С другой стороны, если надежды нет, то следует, во всяком случае, продолжить жизнь и отдалить конец. <...> Конечно, центр, вокруг которого все сосредоточивается, — это Маша, а главное действующее лицо — мама, и потому я поступлю, как она поступит. А она поступит так, как ей будет казаться в ту минуту, когда надо будет что-нибудь предпринимать. <...> Я решительно делать ничего не могу эти дни; хожу бальшей частью из угла в угол или сижу и курю без конца. Возьмешься за то, возьмешься за это и бросишь за ненадобностью».

Приближался день, когда Николаю Андреевичу надо было уезжать в Петербург, возвращаться к работе. Ему на смену поехали Миша и

Соня. 20 августа Николай Андреевич покинул Ялту, но в Харькове его настигла телеграмма о смерти Маши, и он тут же вернулся обратно, предупредив телеграммой капеллу о необходимости отложить возвращение из отпуска.

Похоронив в Ялте Машу, все вернулись в Петербург и сразу же уехали на остаток лета в Тайцы.

Ястребцев записал 6 сентября:

«По дороге в банк издали видел Римского-Корсакова, едущего в консерваторию. Он имел вид сильно озабоченный, глаза его глядели куда-то в пространство. Вообще, судя по первому впечатлению, он за это время как бы несколько осунулся».

Намерение Николая Андреевича уйти из капеллы не исчезло, он стал подыскивать другую квартиру и в середине сентября подал Балакиреву докладную записку:

«В продолжение времени, прожитого мною на казенной квартире, <...> семейство мое, жена, дети и я сам неоднократно бывали больны и двое моих детей умерло. В квартире моей имеется холодный коридор, служащий источником простуды; сверх того, все печи дымят. <...> Поэтому я решаюсь просить покорнейше разрешить оставить казенную квартиру и переехать на частную».

Служба в богомольной и ханжеской капелле, как ее характеризовал Николай Андреевич, становилась для него невыносимой, он находил ее вредной для своего здоровья из-за постоянного раздражения. Несколько позднее он писал Кругликову:

«В прошлом году я стал хворать переутомлением, подкладкой к которому служит артериальный склероз, несколько преждевременно развившийся у меня. <...> Мне все противно в этой Капелле, т. е. все ее порядки и беспорядки. Отношения мои с Балакиревым более чем холодные — это вы знаете. Скажу вам, что острого ничего в последнее время не произошло, но отвращение ко всему, что там происходит, накапливается мало-помалу с величайшей постепенностью. Словом, мне нечего там делать, я там не ко двору».

Теперь, после окончательного решения об уходе из капеллы, осталось лишь официальное его оформление в соответствующих инстанциях. Николай Андреевич сообщал Кругликову о своем намерении:

«Разговоров о моем выходе [из капеллы] не оберешься. Обвиняют Балакирева, подозревают ссору и т. п. Причины моего выхода для всех следующие: я чувствую себя нездоровым и переутомленным, имею за собой 33 года службы, а выходя по болезни, и все 35, что дает мне

порядочную пенсию + добавочное содержание, дарованное мне Государем] Императором за 25-летие полезной музыкальной деятельности; я желаю освободить себя от излишков занятия службой, чтобы иметь свободное время для сочинения, которым желаю заниматься без переутомления. Кажется, причины достаточные?

Стасов же, тоже в письме к Кругликову, сообщал:

«Р.-Корсаков вышел из Капеллы!! Это просто, по-моему, ужасно! Вот до чего довел бедного Римского-Корсакова этот ханжа, этот лжехристианин Балакирев. Мучил и преследовал его несколько лет сряду. <...> И все за потерю прежнего своего престижа и власти над Новой русской музыкальной школой. <...> Впрочем, надо и то сказать, что Р.-Корсаков вообще устал и переутомлен. Еще в прошлом году он начал впадать в какой-то мистицизм! Ему надо поскорее спасти остатки самого себя».

Новую квартиру Римские-Корсаковы наняли в доме на Загородном проспекте, во флигеле, стоящем во дворе и благодаря этому защищенном от городского шума. 19 сентября 1893 года Николай Андреевич перебрался туда один, а Надежда Николаевна и дети пока еще оставались в Тайцах. Окончательное переселение семьи состоялось 30 сентября.

Просторные солнечные комнаты, тишина, деревья под окнами — все это, вкупе с решением уйти из капеллы, способствовало обретению душевного покоя, возрождению композиторских устремлений.

Музыкальная жизнь Николая Андреевича быстро активизировалась. Он вернулся к дирижированию Русскими симфоническими концертами, чему отчасти способствовало печальное событие — в ноябре в Петербурге скончался Петр Ильич Чайковский. Это произошло вскоре после первого исполнения его Шестой симфонии.

В таких случаях Николай Андреевич чувствовал себя нравственно обязанным в память скончавшегося исполнить его музыку. Концертом из произведений Чайковского под управлением Римского-Корсакова был тогда открыт новый сезон Русских симфонических концертов.

Официальное прошение об увольнении из капеллы Николай Андреевич подал 3 ноября 1893 года, а уволен он был лишь 19 января 1894 года. Через два дня после этого состоялось прощание с ним сослуживцев. Ему поднесли хлеб-соль с серебряной солонкой, на которой были выгравированы даты его десятилетней службы в Певческой капелле. Балакирев прислал благодарственное письмо, но сам на прощание со своим когда-то любимым учеником и другом не пришел.

Вот текст этого письма:

«Глубокоуважаемый Николай Андреевич, мне чрезвычайно жаль, что незддоровье не позволяет мне присутствовать при сегодняшнем прощание с Вами Капеллы, а потому обращаюсь к Вам письменно, чтобы принести Вам глубокую благодарность за Ваши ревностные десятилетние труды по инспекции музыкальных классов в Капелле. Если покойный Левов положил начало, то Вам пришлось быть вторым их основателем, так как те остатки музыкальных классов, которые назад тому десять лет мы с Вами застали в Капелле, совершенно не соответствовали требованиям времени, почему и понадобилось немедленно организовать их вновь.

Задача эта, на Вас возложенная, была блестательно Вами выполнена, и в настоящее время, благодаря Вашим усиленным трудам, Капелла имеет превосходно организованные музыкальные классы, с программой, соответствующей по своему объему курсу консерваторий, а имя Ваше навсегда будет увековечено в истории Капеллы и займет в ней одно из самых почетных мест».

На следующий же день Николай Андреевич зашел к Балакиреву, который, как рассказывала Ястребцева Надежда Николаевна, «ему очень обрадовался и с которым они даже расцеловались. Вообще на этом раз Милий Алексеевич был неузнаваем, угощал его чаем».

«Неужели они снова примирятся?» — спрашивал сам себя Василий Васильевич.

21 января 1894 года, разочаровавшись к тому времени в своих работах по эстетике, Николай Андреевич сжег их. А в конце января он уехал вместе с Надеждой Николаевной в Одессу, где дирижировал симфоническими концертами. Там в зале Биржи силами учащихся музыкальных классов Одесского отделения Русского музыкального общества был дан концерт в честь Николая Андреевича. После концерта он и Надежда Николаевна были приглашены на торжественный ужин, о котором Надежда Николаевна сообщала в письме к старшей дочери:

«Говорилось много тостов, очень лестных для папы и даже по моему адресу, один господин говорил целых четверть часа и описал в своей речи всю папину деятельность. Все это прекрасно, но мне все-таки было скучно; общество незнакомое и, может быть, неискреннее, да и вообще я не люблю подобных торжеств».

Поездка в Одессу освежила Николая Андреевича. Ко дню своего 50-летия, наступившего 6 марта, он был в хорошем настроении. В этот день состоялось первое музыкальное собрание в новой квартире. Собралось двадцать пять человек.

III

НА НОВОМ ЭТАПЕ

«Ночь перед Рождеством»

В апреле 1894 года в доме Александры, сестры Надежды Николаевны, после нескольких репетиций была исполнена «Майская ночь», давно уже сошедшая со сцены Мариинского театра. Во время этого исполнения у Николая Андреевича появилась мысль сочинить оперу на сюжет другой повести Гоголя — «Ночь перед Рождеством». Он сразу сам принялся за составление либретто, и вскоре появились музыкальные наброски для оперы.

Первое время он сохранял свою новую работу в тайне, но желание поделиться задуманным с кем-нибудь из друзей взяло верх. В начале мая, еще не раскрывая секрета, над чем он работает, Николай Андреевич сыграл нескольким из своих друзей им сочиненное вступление к опере и просил угадать, что это могло бы быть? Как потом записал Ястребцев, «все сошлись на том, что музыка рисует ясную холодную звездную ночь и безмятежную тишину». После этого Николай Андреевич признался, какую оперу он сочиняет, но свой секрет пока широко раскрывать не хотел. В ответ на письмо Кругликова он писал:

«Милый Семен Николаевич, простите! Но когда я начинаю писать оперу, я становлюсь невежливым, неблагодарным, способным на всякое маленькое и средней руки свинство и т. п. А я таковую затеял. А имя-рек не сообщу, ибо никому не говорю и прошу вас об этом не болтать. Но вследствие этой причины, т. е. вследствие заражения некоторыми свинскими наклонностями, я вам не отвечал, да и теперь, в сущности, не отвечаю, а только мысленно пожимаю вам руку и желаю вам и семье всего хорошего».

Как всегда, настоящим образом сочинение пошло летом. В тот год Римские-Корсаковы впервые проводили летний сезон в Вечаше, имении С. М. Огаревой, расположенном тоже в одном из живописнейших мест Лужского уезда.

По приезде на лето в Вечашу Николай Андреевич почти не отрывался от сочинения «Ночи перед Рождеством», уделяя только немного времени купанию и прогулкам.

Еще весной в Петербурге Николай Андреевич получил письмо от Н. Ф. Финдейзена, историка русской музыки и издателя «Русской музыкальной газеты». Николай Федорович предлагал ему приняться за сочинение оперы на сюжет былины о Садко, в свое время использованный Николаем Андреевичем для оркестровой музыкальной картины. К письму был приложен и план оперы. Эта идея привлекла внимание Римского-Корсакова, и он стал подумывать о такой опере. Как он писал впоследствии, в Вечаше сочинение «Ночи перед Рождеством» было на первом плане, но стали приходить кое-какие мысли и для «Садко»:

«Помнится, местом для сочинения такого материала часто служили для меня длинные мостки с берега до купальни в озеро. Мостки шли среди тростников; с одной стороны виднелись наклонившиеся большие ивы сада, с другой — раскрывалось озеро Песно. Все это как-то располагало к думам о „Садко“.

Ко времени возвращения в город «Ночь перед Рождеством» была в черновике почти сочинена.

«Все лето я безвыездно провел в глухии, — давал отчет Кругликову Николай Андреевич, — и, как вы сейчас увидите, наработал довольно много. Я писал вам, что затеял оперу. Первая мысль о ней явилась 10 апреля, а 16 августа опера в 4-х действиях (9 картинах) была кончена (разумеется, в наброске). Опера моя есть не что иное, как „Ночь перед Рождеством“ по Гоголю».

Свою новую оперу он показывал в конце ноября у себя дома в присутствии Глазунова, Стасова, Лядова, Беляева, Ястребцева и других. Василий Васильевич записал:

«Музыка началась около девяти и окончилась к часу ночи, при этом был сделан только один значительный перерыв между 3-й и 4-й картинами, длившийся более часа, во время которого пили чай».

Глазунов остался равнодушен к этой, по его мнению, неудавшейся опере; не удовлетворила она и Владимира Васильевича Стасова.

Начались заботы, связанные с постановкой «Ночи перед Рождеством». Николай Андреевич решил предложить эту оперу в Мариинский театр, и она была принята, но возникли затруднения с цензурой. В числе персонажей повести Гоголя есть Екатерина II, а лиц из царствующего дома Романовых не полагалось выводить на сцену. Предвидя возможные из-за этого сложности, Николай Андреевич в своем либретто

не указал имени императрицы, назвав ее просто царицей, а Петербург — градом-столицей. Несмотря на это, цензор заявил, что все знают повесть Гоголя и догадаются, что царица — Екатерина II.

Под самый Новый год к Римским-Корсаковым явился курьер и привнес сообщение, в котором говорилось:

«По всеподданнейшему докладу представленного вами министру Императорского Двора ходатайства последовало Высочайшее разрешение на допущение сочиненной вами оперы „Ночь перед Рождеством“ к представлению на Императорской сцене без изменений либретто.
31 декабря 1894 г.»

Николай Андреевич был в восторге. Тогда же он надписал заглавный лист новой оперы: «*Садко, опера-былина в 5 действиях. 31 декабря 1894. 1 января 1895. Черняк.*» Сочинение этой оперы пошло довольно быстро.

24 апреля Ястребцев записал:

«Нашел Николая Андреевича в прекрасном расположении духа: опера его продвигалась».

Директор императорских театров Иван Александрович Всеволожский обрадовался полученному разрешению и захотел поставить «Ночь перед Рождеством» с особой пышностью, надеясь, что это понравится двору. Вопреки протесту Николая Андреевича, он распорядился загrimировать царицу именно под Екатерину II, а на декорации града-столицы была изображена Петропавловская крепость с собором.

20 ноября состоялась генеральная репетиция, на которой присутствовали великие князья Владимир Александрович и Михаил Николаевич. Они страшно возмутились показом на сцене Екатерины II и собора Св. Петра и Павла с усыпальницей, где покоятся их предки. «Вы нынче моя прабабушка, как я посмотрю!» — сказал великий князь Владимир исполнительнице роли Екатерины II. Они потребовали отмены премьеры.

Но первое представление было назначено в бенефис учителя сцены О. О. Палечека, и для спасения спектакля Всеволожский предложил заменить царицу Светлейшим князем (!). Николай Андреевич весьма неохотно, но все же на это согласился.

«Уж право, — сказал он Василию Васильевичу, — было бы лучше, если бы одновременно с моей оперой запретили бы и все сочинения Гоголя, не было бы по крайней мере соблазна писать на его сюжеты».

Из Римских-Корсаковых на премьере присутствовали только дети, а Надежда Николаевна и Николай Андреевич в это время поехали

кататься на Острова и узнали об успехе оперы от детей и Ястребцева, заехавшего к ним после спектакля с лавровым венком от почитателей. Рецензии на оперу были преимущественно неблагоприятные, а критик Н. Ф. Соловьев посчитал кощунственным, что в опере в Святую ночь звезды отплясывают балетные танцы, комета является в виде красивой дамы, а дьяк, заигрывая с Солохой, поет на мотивы в церковном стиле. Опера прошла несколько раз и больше не давалась.

«Садко»

К середине августа 1895 года опера «Садко» была Николаем Андреевичем почти закончена. Он играл некоторые ее куски приехавшему в Вечашу Владимиру Ивановичу Бельскому, с которым познакомился зимой в Петербурге. Это был очень образованный человек, большой знаток древней русской литературы и почитатель таланта Римского-Корсакова.

От музыки «Садко» Владимир Иванович пришел в восхищение. Зашел разговор о сюжете оперы, и возникла мысль о дополнении либретто новым персонажем — женой Садко Любавой. Николай Андреевич попросил Бельского взять это на себя. Тем самым было положено начало их сотрудничеству, в котором Владимир Иванович выступал в качестве либреттиста.

По возвращении с дачи Римский-Корсаков окунулся в обычную петербургскую жизнь, в которой немалое место заняла работа над «Садко». Он писал Кругликову:

«Вы удивляетесь, что я оперы как блины пеку. <...> Я чувствую себя в роли ленивого ученика, зубрящего изо всех сил перед экзаменом. А экзамен этот есть возможность отправиться на тот свет, когда идет 6-й десяток от роду. Мало делал, много ленился, много потерял времени по-пустому; надо подумать о душе, т. е. написать побольше, что можешь и к чему способен. Ну вот, я и пишу».

Несмотря на пережитые неприятности при постановке «Ночи перед Рождеством», Николай Андреевич решил предложить теперь уже совершенно законченную оперу «Садко» Дирекции императорских театров. Но, помня об инциденте с «Ночью перед Рождеством», Всеяловский и тут заявил Николаю Андреевичу, что он не вправе включить ее в репертуар театра без соизволения государя и что на постановку этой оперы потребуются большие расходы. Николай Андреевич расценил эти слова как вежливый отказ. Всеяловский все же доложил

Николаю II о новой опере Римского-Корсакова. На вопрос царя о том, какова она по музыке, Иван Александрович ответил, что она несколько напоминает «Младу» и «Ночь перед Рождеством».

«В таком случае, — сказал Николай, — нечего ставить эту оперу, и пусть дирекция вместо нее подыщет что-нибудь повеселее».

Сообщив Ястребцову об отказе дирекции ставить «Садко» на императорской сцене, Николай Андреевич добавил:

«Любопытно во всей этой истории еще одно обстоятельство, что сегодня Кондратьев [режиссер], здороваясь со мною, уже не прижал моей руки к своей груди и не расспрашивал о здоровье жены».

Всеволожский же не нашел ничего лучшего, как сказать Николаю Андреевичу: «А знаете, что хорошо во всем этом: ведь мы таким образом избавились от страшных хлопот по постановке».

Профessor Петербургского университета историк музыки С. К. Булич тогда сказал: «Значит, есть еще у нас новые действительно талантливые произведения, раз их не ставят».

Узнав о неудаче с «Садко», Владимир Иванович Бельский писал Николаю Андреевичу:

«Я утешаюсь мыслью, что, как темные силы ни стараися, они смогут только затормозить, а никак не остановить колесо истории: рано или поздно Ваша былина будет поставлена, оценена и признана классической. <...> Царь, и Всеволожский, и абонементная публика Вашей музыкой недовольны, но смею думать, что эта причина еще не решающая».

С того времени Римский-Корсаков решил не беспокоить Дирекцию императорских театров предложением своих опер.

Тем же летом он отдал «Садко» для постановки на сцене Савве Ивановичу Мамонтову, создателю оперной труппы, которая выступала в театре Солодовникова в Москве и ранее уже ставила «Псковитянку» и «Снегурочку».

Сын калужского откупщика Ивана Федоровича Мамонтова, пионера железнодорожных концессий в России, Савва Иванович продолжил дело отца и унаследовал свое наследственное состояние, так как развитие железнодорожных сообщений стало в России одной из самых выгодных отраслей для помещения капитала. Но Мамонтова отличала от других предпринимателей подобного рода страстная любовь к искусству. Он был разносторонне одарен. Занимался скульптурой, учился в Италии пению, увлекался театром и сам сочинял драматические пьесы, которые ставил у себя дома силами любителей, выступая в этих

спектаклях как актер, режиссер и даже гример. Эти спектакли ставились и в его московском особняке, и в купленном им в 1870 году имении Аксакова Абрамцево.

В этом имении подолгу жили и работали И. Репин, В. Васнецов, М. Врубель, В. Серов, И. Левитан, М. Нестеров, К. Коровин, В. Поленов. Все они принимали деятельное участие в постановке спектаклей и как художники, и как исполнители тех или иных ролей. Первой оперной постановкой Саввы Ивановича был третий акт оперы Гуно «Фауст», исполненный в Абрамцеве в 1882 году. Партию Мефистофеля пел в этом спектакле сам Мамонтов. Видя такую энергичную и успешную его деятельность, некоторые артисты советовали Савве Ивановичу открыть в Москве оперный театр, что и было им сделано в 1885 году.

Посредником между Мамонтовым и автором «Садко» в деле постановки этой оперы стал Кругликов. Он писал Николаю Андреевичу в июне 1897 года:

«Вы ведь знаете, что в Москве есть Савва Иванович Мамонтов — большой поклонник Ваших „Снегурочки“ и „Псковитянки“, человек с большим вкусом, давно окруженный такими людьми, как Репин, Васнецов, Поленов и т. д. [...] Мамонтов просто молится на Вас, Бородина, Мусоргского, [...] мечтает и о Вашей новой опере. Вы будете правы, если отнесетесь с доверием к Мамонтовской опере, к самому Мамонтову. [...] Отчего бы Вам не попробовать здесь и „Садко“?»

На это Николай Андреевич отвечал:

«Что касается до С. И. Мамонтова, то я знаю лично его и уважаю. Если он найдет возможным поставить „Садко“ и тем самым натянуть нос кому следует, то буду очень рад. Желательно только, чтобы был полный оркестр [...] и достаточное число оркестровых репетиций при хорошей разучке вообще. И в этом вы можете на него повлиять. Он не щадит своих средств на декорации и костюмы, а по сравнению с этим затраты на добавочные инструменты и 2–3 лишние репетиции так ничтожны, а между тем в опере первое дело музыка, а не зрительные ощущения».

Тот же Кругликов сообщал Николаю Андреевичу ответные слова Мамонтова:

«Передайте Николаю Андреевичу, что я его неизменный почитатель и что если „Садко“ придется нам по силам, то [...] будут все мои силы употреблены к тому, чтобы музыкальная и художественная стороны выполнения оперы были вполне достойны ее и ее автора».

Так сценическая постановка «Садко» оказалась реальной, но не на императорской сцене, а на частной.

В самом конце декабря в Москве, в Мамонтовской опере, состоялась премьера «Садко». На первом представлении Николай Андреевич не был, а 29-го он и Надежда Николаевна выехали в Москву и присутствовали на третьем и четвертом спектаклях.

«Третье представление „Садко“, — говорилось в статье корреспондента газеты «Новости дня», — сопровождалось рядом оваций по адресу ее автора, приехавшего на этот спектакль из Петербурга. После третьей картины Н.А. Римский-Корсаков появлялся на сцене в каждый антракт при громе восторженных рукоплесканий и приветствий».

Ему были опять поднесены венки, в том числе серебряный от Мамонтова.

В этом спектакле партию морской царевны Волховы исполняла Надежда Ивановна Забела. Своим чарующим голосом и прекрасным исполнением она произвела на Николая Андреевича большое впечатление.

«После 2-й картины я познакомилась с Николаем Андреевичем и получила его одобрение», — писала потом Надежда Ивановна в своих воспоминаниях. Ее муж, Михаил Александрович Врубель, работал в Мамонтовской труппе, и по его эскизам были сделаны декорации и костюмы для «Садко».

В те дни, проведенные Римскими-Корсаковыми в Москве, куда приехал также и Стасов, произошло их знакомство со Львом Николаевичем Толстым. Владимир Васильевич познакомил их сначала с Софьей Андреевной, после чего они посетили и самого великого писателя, романами которого особенно увлекалась Надежда Николаевна. Вместе со Стасовым они пришли ко Льву Николаевичу в Хамовники. Об этом знаменательном событии Николай Андреевич рассказал потом Ястребцеву, записавшему этот рассказ:

«Когда мы пришли к Толстым, мы застали автора „Войны и мира“ и „Анны Карениной“ сидящим по обыкновению в своей рабочей блузе, одетой поверх ночной рубахи; руки его были очень чисто вымыты душистым туалетным мылом. <...> Во время разговора Лев Николаевич сильно горячился, хватал меня за руки и неоднократно перебивал. <...> До чая велся общий разговор, зато после чая, когда мы с Надеждой Николаевной собрались было уходить, Лев Николаевич почти насильно задержал нас, говоря, что ему очень бы хотелось меня лично порасспросить кое о чем. Мы остались, и вот тут-то у нас зашла речь о задачах искусства, о красоте, этой „гниющей“, „зловонной“, по мне-

нию Толстого, „язве“ на искусстве. Говорили далее о том, что Толстой ненавидит Бетховена за его порывы и что до сих пор он никак не может вполне отрешиться от шопеновской музыки, — обстоятельство, которое его нескованно удручет. Я, наоборот, — возразил Римский-Корсаков, — страшно счастлив, что не только Шопена, но и Бетховена богочестив, и ни минуты в этом не раскаиваюсь».

„Всякое произведение искусства, — продолжал граф Лев Николаевич, — должно быть, прежде всего, простым и ясным, чтобы однажды могли понимать и кучер и барин“ <...>. Когда же я ему стал говорить, — сказал Римский-Корсаков, — что раз, как он сам признает, искусство облагораживает и возвышает душу, что возвышать можно только вверх, а не вниз, что его „Детство и отрочество“, „Война и мир“ и „Анна Каренина“ поразительно художественные создания и, однако, они и не просты и переполнены красоты, Лев Николаевич меня и слушать не стал, говоря, что он глубоко презирает себя за эти романы, да и вообще их ни во что не ставит».

В половине первого ночи Римские-Корсаковы стали прощаться. Лев Николаевич вышел их проводить и в передней, в ответ на извинения Надежды Николаевны, что они его обеспокоили, изрек: «Полноте, мне было очень интересно сегодня лицом к лицу увидеть мрак».

В разгар этого нелепого разговора Стасов со страху сбежал, второпях надев шубу Николая Андреевича.

Рассказывая эту историю Ястребцеву, Николай Андреевич добавил, что слова Толстого он намеревается выгравировать на золотой дощечке и поставить перед собой на письменном столе для вящего назидания. Зато книгу его об искусстве он уж наверно читать не станет. Толстой же на следующий день после визита Римских-Корсаковых записал в своем дневнике:

«Вчера Стасов и Римский-Корсаков, кофе, глупый разговор об искусстве».

Так прошла первая и последняя встреча двух великих художников.

В феврале 1898 года в Петербург приехал Мамонтов со своей оперной труппой. В программе ее гастролей было несколько опер, в том числе «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка» и «Садко». Последняя, только что разученная, была назначена на открытие гастролей, которые проходили в Большом зале Петербургской консерватории. Савва Иванович просил Николая Андреевича дирижировать «Садко», и тот сразу по приезде артистов взялся за доучивание оперы с оркестром и солистами.

О первом представлении «Садко», состоявшемся 22 февраля, Ястребцев записал:

«Театр был переполнен. <...> Вызовам не было конца. Римскому-Корсакову поднесли венок, а по окончании оперы к Николаю Андреевичу в артистическую пришла целая группа студентов с г. Холодным [пианистом] во главе, чтобы выразить свою благодарность за то громадное наслаждение, которое они вынесли сегодня от его новой оперы. „Очень рад, — сказал, смеясь, Николай Андреевич, поочередно пожимая всем руки, — очень рад, господа, что угодил вам своим „Садко“.<...> Забела действительно идеально хороша в роли Валховы, к тому же ее пение полно благородства и поэзии. Впрочем, не я один Морской царевнью был сведен с ума. Честь ей и слава!“

На следующий день давали «Псковитянку» с Шаляпиным в партии Грозного; успех оперы, особенно Шаляпина, был громадный. В другой день исполнялась «Майская ночь», по окончании которой Николаю Андреевичу были поднесены два венка, один — от труппы Частной оперы, другой, с надписью «Творцу чафующих русских созвучий», — от кого-то оставшегося неизвестным.

В продолжение гастролей Частной оперы была дана и «Снегурочка». Вопреки желанию Николая Андреевича Мамонтов не захотел дать Забеле петь Снегурочку, назначил на эту роль певицу Пасхалову. Это расстроило Николая Андреевича, к тому же он был утомлен. Такое его состояние усугубилось происшедшими на репетиции неприятным инцидентом.

«Повторяя заключительный хор берендеев (из конца II акта), — описывал случившееся Ястребцев, — Николай Андреевич, с целью лучшего уяснения, с чего начать повторять, напел было тему этого хора. В этот самый момент одна из хористок пискливым голосом передразнила его. Римский-Корсаков вскинул. „Я не виноват, — крикнул он, обращаясь к хору, — что у меня нету голоса. Я не виноват в этом, но зато во мне, быть может, есть кое-что другое, чего ни у одного из вас нет“. Он был страшно взъярен, а потому чуть не сломал дирижерскую палочку — так сильно он ударил ее по тюпитру. Когда же хор был спет с начала до конца, Римский-Корсаков встал и, не прощааясь ни с кем, произнес громко, на всю залу: *„До завтра... с Эспозито!“*

Евгений Доминикович Эспозито был дирижером Мамонтовской частной оперы. Публичным исполнением «Снегурочки» дирижировал все же Николай Андреевич.

«Его при входе в оркестр, — писал далее Ястребцев, — приветствовали троекратным тушем, да и вообще при начале каждого дей-

ствия шумно принимали, а перед последним действием от молодежи поднесли лавровый венок с надписью, придуманной Бельским: „И слушаешь и таешь“». Это — слова из партии Снегурочки.

Последним спектаклем Мамонтовской оперы в Петербурге была «Псковитянка». Артистов и автора вызывали много раз, Николаю Андреевичу была поднесена ажурная серебряная корзиночка с букетом из свежих роз и белой сирени и с надписью на донышке: «*Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову от искренних почитателей его. 26 марта 1898 г.*». Кто были эти почитатели — осталось неизвестным.

Спустя три дня на музыкальном вечере у Римских-Корсаковых собралось около тридцати гостей. Пришли Глазунов, Лядов, Стасов, Забела и Михаил Александрович Врубель, Шаляпин, Бельский с женой Агриппиной Константиновной, Ястребцев с матерью и другие. Музыки было много, все с наслаждением слушали Забелу и Шаляпина.

Свою досаду за недостаточно хорошее исполнение партии Снегурочки и на другие огрехи в исполнении оперы Николай Андреевич высказал Мамонтову.

«*С С. И. был разговор по душе, — сообщал он Кругликову. — Я ему высказал, что у него в опере музыка не на первом плане, а у меня на первом, и потому мое горячее участие в делах его оперы волею-неволею охлаждается. Мы расстались хорошими знакомыми, но делать мне у него в опере нечего. <...> Оказалось, что я во всей этой истории наделал непредвиденных беспакостей, ибо вел дело в простоте душевной, а встретился с самолюбием самодура. Замечаю, что в Моск. ч. опере царствует значительная доля лицеприятия. <...> Забеле, лучшему сопрано, безусловно нравящейся всей петербургской публике, ходу не дают. А что уж автора не слушают — это совсем худо».*

Понимая стремление Николая Андреевича к наилучшему исполнению его музыки и в то же время считая, что Николай Андреевич погорячился, Семен Николаевич пытался доказать ему, что в этом конфликте он не прав:

«*Вы не настолько в фаворе у Императорской театральной дирекции, чтобы пренебрегать Мамонтовым, всегда, с давних пор расположенным к Вашей музыке и к Вам лично. И это отношение его к Вам до случая с Забелой было далеко не неприятно Вам. <...> Вы высказывали столько чудесного настроения и приязни к Мамонтовской опере и самого Мамонтова называли Савва превосходный. Наконец, сообразите — нет ведь совершенных вполне людей, вполне безошибочных человеческих деяний. Ну что же делать? <...> Вам не мешает*

простить Мамонтову его доставившую Вам неприятность ошибку, ведь он поставил в один сезон четыре Ваших оперы, сделал для Вас много и, пожалуй, большие, чем Вы ему. <...> Очень бы желал, от души и от чистого сердца, чтобы все у Вас и ним скорее наладилось на прежнее. А то, право, боюсь, что начну Вас считать менее справедливым человеком, чем считал Вас до сих пор, и что (это еще более гораздо важно) Мамонтов ощутит Вашу перемену к нему, охладится и к Вам, а попутно и к Вашей музыке. Не причините мне такого огорчения. Очень уж люблю Вас».

Через две недели Николай Андреевич ответил:

«Дорогой Семен Николаевич, думаю, что вы немало удивлены тем, что на ваше откровенное и дружеское письмо до сих пор не последовало моего ответа. Это произошло оттого, что когда я сочиняю, то делаюсь невменяем, ни на что не похож, а потому и поступаю часто весьма неблаговидным образом. <...> Простите, милый! Отношения же мои к Савве для меня теперь ясны. Собственно, никакой вражды нет, но и особенной близости тоже нет, и все пришло к уровню, установленному до постановки „Садко“. А иначе и быть не должно. Думал я одно время втесаться в советчики, да это оказалось неудобно; ему дороги зрительные впечатления, а мне слуховые. А враждовать не из-за чего, и против меня он ничего иметь не может. Я ему благодарен за постановку моих опер, но и он должен мне быть благодарен за то, что эти оперы существуют. Ведь публика-то ходила на них, и в особенности на „Садко“. <...> Затраты его на мои оперы были крайне ничтожны, и с музыкальной стороны исполнение их оставляло желать многого. <...> По всему этому я вовсе не считаю себя всецело обязанным Савве; а просто была услуга за услугу. Причем я ему дал хорошие оперы, а он мне дал неважное их исполнение, между тем как мог отплатить хорошим. <...> Думаю, что он будет продолжать ставить мои оперы и впоследствии, если таковые будут. <...> Во всяком случае, ссоры у нас с ним никакой нет, и вы напрасно чего-то опасаетесь и в чем-то меня уговариваете. <...> Не сердитесь же на мое молчание.

Любящий вас Н.Р.-Корсаков».

Видимо, действительно в периоды интенсивного творчества Николай Андреевич становился если не невменяем, то очень рассеян. Несколько позднее он отправил еще одно письмо Кругликову, на которое тот ответил:

«Ваше письмо дошло до меня чудом, почтальону надо было меня отыскать по таким указаниям: Москва, Тверской бульвар, д. Романова, Семену Николаевичу Римскому-Корсакову. Хорошо еще, что в доме

Романова живет один Семен Николаевич, который хотя и очень гордится Вашим желанием произвести его в Ваши однофамильцы, но, обнимая Вас и посыпая Вам и Вашим сердечные приветствия, именуетя по-прежнему Сем. Кругликов».

26 января 1901 года премьера «Садко» состоялась в Мариинском театре при полном соборе, несмотря на высокие цены билетов, так как это был бенефис оркестра. Николай Андреевич отказался от авторского гонорара за этот спектакль в пользу бенефицианта. Вызовов было много, по записям считавшего их Ястребцева, композитора вызывали восемь раз. Спектакль был парадный, на нем присутствовала вся царская семья, кроме государыни, и многие видные деятели науки и искусства. Хотя Николай II приехал в театр ровно к шести часам, спектакль, по его просьбе, начали на десять минут позднее, так как ждали вдовствующую императрицу Марию Федоровну.

На протяжении двух недель «Садко» прошел в Мариинском театре пять раз и имел большой успех. На каждом спектакле автора вызывали много раз, хотя, как говорил Николай Андреевич, довольно холодно.

«Борис Годунов» Мусоргского

Когда в январе 1896 года Николай Андреевич предложил дирекtorу императорских театров И. А. Всеволожскому поставить в Мариинском театре «Бориса Годунова», редактирование которого было им уже почти закончено, тот не решился сразу дать ответ, сославшись на необходимость получить для этого высочайшее соизволение. Он обещал при случае доложить царю, что вскоре и сделал. В свое время Александр III вычеркнул оперу Мусоргского из представленного ему репертуара Мариинского театра. Так и теперь, по словам Ивана Александровича, Николай II, поморщившись, сказал: «Нет, этой оперы не надо пока. Ведь это все музыка Балакиревской школы». Таким образом, дорога на императорскую сцену для «Бориса Годунова» осталась на неопределенное время закрытой.

Тогда Николай Андреевич решил собрать на постановку этой оперы средства по частной подписке и осуществить ее с помощью Петербургского общества музыкальных собраний. Незадолго до того это общество успешно поставило «Псковитянку».

«А пока, — записал Ястребцев слова Николая Андреевича, — я буду назло всем оркестровать эту оперу, и оркестровать особенно хорошо. Это будет моя месть».

Работа его пошла быстро, он оркестровал до двадцати трех страниц в день. Во время создания Мусоргским «Бориса Годунова» оба они, Модест Петрович и Николай Андреевич, были особенно близки друг другу и даже жили вместе. Сочинение оперы Мусоргским шло буквально на глазах у Римского-Корсакова. Воспоминания его об этом времени помогали ему, как никому другому, проникнуться духом творчества Мусоргского, сохранить характерные черты его музыки.

Николай Андреевич взялся за разучивание оперы. Все солисты, артисты императорских театров, пели бесплатно. Им не полагалось выступать в частных концертах и спектаклях и следовало получить на это разрешение от Театральной дирекции. Всеволожский в своей записке по этому поводу к управляющему Кабинетом его величества писал:

«Ввиду того, что в этом случае не преследуется материальных выгод, а фанатизм кучкистов, я не нахожу препятствия к удовлетворению просьбы. <...> Тем более, что, надеюсь, наконец публика поймет уродливое направление новой музыкальной школы».

С. Д. Шереметев дал для постановки «Бориса Годунова» свои декорации; благодаря вмешательству князя Сергея Михайловича Волконского, все костюмы были сделаны новые. Сценической постановкой заведовал О. О. Палечек. Русское музыкальное общество предоставило Большой зал нового здания консерватории за умеренную плату.

До того времени Петербургская консерватория помещалась на Театральной улице и теперь вот-вот должна была переехать в новое здание. Оно было построено для нее напротив Мариинского театра, на месте находившегося там ранее Большого театра, возведенного в свое время по проекту архитектора Тома де Томона. В 1805 году театр был перестроен, а в 1811 году, в новогоднюю ночь, сгорел. Затем он восстанавливался, перестраивался, ветшал и, наконец, в 1891 году был разобран. Проект нового здания консерватории был составлен инженером Б. В. Николя. Торжественное его открытие состоялось 12 ноября 1896 года. Накануне этого дня Ястребцев записал:

«Назавтра открывается новое здание консерватории, а у Римского-Корсакова ордена куда-то запропали, да и пришить-то их к фраку он не знает как, в каком количестве и в каком порядке».

Многие музыканты считали, что оперу Мусоргского следовало оставить в авторской редакции. Даже Стасов был возмущен, что Римский-Корсаков редактирует «Бориса». Но после первой генеральной репетиции оперы, на которой собрались многие причастные к музыкальному искусству люди, Ястребцев записал:

«Стасов, кажется, окончательно тает и, даже встретясь с Николаем Андреевичем, расцеловал последнего за „Бориса“».

Теперь Стасов стал говорить, что это поистине огромная заслуга Римского-Корсакова перед памятью Мусоргского и даже что это не только заслуга, но прямо настоящий подвиг. «Изумительно-с!» — сказал он Ястребцеву по окончании репетиции. По словам Глазунова, это был один из самых смелых поступков Римского-Корсакова. Зная почти всю оперу наизусть, он поставил своей задачей придать оркестру всю ту силу и красочность, которые он множество раз слышал в блестящем исполнении этого произведения на фортепиано самим автором. По определению Глазунова, Николай Андреевич, этот музыкальный маг и волшебник, выполнил эту задачу со всем свойственным ему талантом и мастерством, и делал это совершенно бескорыстно. Большинство музыкантов было за редакцию Римского-Корсакова.

Премьера состоялась через две недели после открытия нового консерваторского здания. Дирижировал Николай Андреевич. Партию Бориса исполнял М. В. Луначарский, Варлаама — Ф. И. Стравинский. Поставлена опера была хорошо, даже фонтан на сцене был настоящий и костюмы красивые. Успех был большой. Группа молодежи поднесла Римскому-Корсакову серебряную дирижерскую палочку с надписью: «28. XI. 1896. Окончен труд, завещанный от Бога».

«Моцарт и Сальери»

На лето 1897 года Римские-Корсаковы сняли дачу в шести верстах от Луги, в Смычкове. Там 30 июня 1897 года был скромно отпразднован день серебряной свадьбы Николая Андреевича и Надежды Николаевны.

Лето в Смычкове оказалось выдающимся по числу сочиненных Николаем Андреевичем произведений, особенно романсов, которые выходили из-под его пера один за другим, — на слова А. К. Толстого, А. С. Пушкина, А. Н. Майкова. Кроме того, в Смычкове он еще сочинил: оперу «Моцарт и Сальери», написав ее на полный и неизмененный текст пушкинской трагедии; кантуту «Свитезянка»; два дуэта — «Пан» и «Песнь песней»; вокальное трио «Стрекозы»; струнный Квартет и Трио для скрипки, виолончели и фортепиано. Это Трио он оставил неотделанным, так как решил, что камерная инструментальная музыка не его область, и издавать его не предполагал.

По возвращении с дачи Николай Андреевич показывал «Моцарта и Сальери» у себя дома небольшому кругу друзей, а в декабре у Римских-

Корсаковых состоялся музыкальный вечер, на котором было около пятидесяти гостей. Кроме многих романсов, была исполнена и опера «Моцарт и Сальери», имевшая большой успех и после чая повторенная. Получив сведения о том, что Римский-Корсаков сочинил еще одну оперу, Бельский писал ему из Мюнхена:

«От одного этого известия меня точно подхватила какая-то могучая и светлая волна. <...> „Моцарт“ Ваш должен быть плодом гармоничного сочетания влечений: как к могучей правде и выразительности, так и к лучезарной Вашей богине, вышедшей из морской пены, — красоте».

Савва Иванович Мамонтов устроил на даче у певицы своего театра исполнение «Моцарта и Сальери». Всю оперу спел Федор Иванович Шаляпин под аккомпанемент Сергея Васильевича Рахманинова. После Надежда Ивановна Забела писала Николаю Андреевичу:

«Я редко получала такое наслаждение. Музыка этой вещи такая изящная, трогательная и вместе с тем такая умная, если можно так выразиться. Муж мой, который также восхищен ужасно, тут же нарисовал костюмы, и за обедом мы пили за успех „Моцарта и Сальери“, в котором, т. е. в успехе, я никак не сомневаюсь. <...> Я как-то не сумела выразить Вам своего восторга от „Моцарта и Сальери“, а между тем впечатление было такое, как будто прибавилось во мне что-то очень хорошее».

На премьере «Моцарта и Сальери», которая прошла у Мамонтова 25 ноября, Николай Андреевич не был. Отзывы об опере были разные. Композитор С. И. Танееев записал в своем дневнике:

«Опера мне очень не понравилась. <...> Музыка безжизненна и не производит ни малейшего впечатления. Бесцветная канитель. И это после „Садко“!»

Другое мнение высказала Надежда Ивановна:

«Впечатление от „Моцарта и Сальери“ было <...> такое: галерея и вообще крикуны были в некотором недоумении и не знали, нужно ли им бесноваться, зато в партере очень много аплодировали, и я слышала много лестных и даже восторженных мнений».

Газетные статьи были преимущественно хвалебные, но в основном превозносился Шаляпин, исполнявший партию Сальери. Сам же Федор Иванович послал Стасову телеграмму:

«Вчера пел первый раз необычайное творение Пушкина и Римского-Корсакова Моцарт и Сальери. большим успехом очень счастлив».

Кругликов был в восторге от этой оперы:

«Ваша пьеса при внимательном слушании (а ее нельзя слушать без внимания, никто не кашлянул в зрительном зале) просто потрясает. Я не запомню, что бы меня больше трогало и заполняло, как Ваш „Моцарт“. У меня слезы выступали на глазах, какая-то спазма в горле чувствовалась. Это — большое произведение. Конечно, его интимность, его уклонение от общепринятых эффектов — не для ежедневной оперной публики, <...> но все-таки она — большое произведение, которым Вы по праву должны гордиться, и человек, смогший его написать, не только не испытался, а в полном блеске таланта и творческих сил. Кукситься Вам, значит, нечего».

Михаил Александрович Врубель тоже был покорен оперой «Моцарт и Сальери» и, в знак почитания таланта Николая Андреевича, подарил ему три своих рисунка — иллюстрации к одноименной трагедии Пушкина, сделанные им еще в 1884 году. Эти замечательные рисунки заняли место на одной из стен гостиной Римских-Корсаковых.

«Царская невеста»

В начале 1898 года Николай Андреевич взялся за сочинение еще одной оперы — на давно привлекавший его внимание сюжет драмы Л. Мая «Царская невеста». Прикинув сценарий будущей оперы, он попросил Илью Федоровича Тюменева составить либретто. Работа над оперой началась, но, как всегда, в городе многое отвлекало.

В день рождения Николая Андреевича, 6 марта, днем к нему заходили Глазунов, Ястребцев. В тот же день в квартире Римских-Корсаковых начал работать художник Валентин Александрович Серов, которому П. М. Третьяков заказал написать портрет Николая Андреевича, и Серов сделал тогда первый набросок углем. Заниматься новой оперой становилось трудно.

«Я по два раза в день езжу в театр, а до 12 часов с меня пишет портрет Серов, чем немало меня удручет, ибо работать самому становится невозможным, и поэтому сочинение мое совсем остановилось», — писал Николай Андреевич Кругликову и в постскриптуме добавил: «Третьего дни минуло мне 54 года (жалко, что не шестнадцать!)».

Работа над портретом шла на протяжении двух месяцев. И вот однажды, забыв про Серова, Николай Андреевич пошел в парикмахерскую и, как он обычно делал это весной, коротко постригся. Валентин Александрович пришел в ужас, увидев изменившуюся натуру. Тем не менее портрет получился очень удачным и ценным еще тем, что

Николай Андреевич изображен на нем работающим над «Царской невестой» именно так, как он всегда занимался сочинением музыки, то есть за письменным столом, а не за роялем.

По свидетельству его детей, этот портрет передает облик Николая Андреевича лучше любой из фотографий, на которых он всегда выглядит каким-то суровым, каковым в действительности никогда не был. Ему были присущи открытый взгляд, скромность, простота, приветливость, прямота и искренность в обращении с людьми, мягкость и доброта. Недаром же одно из прозвищ его в молодости — Искренность.

Удивительное обаяние его личности сочеталось в нем с колossalным авторитетом композитора, пользующегося всеобщей известностью. Как вспоминала впоследствии его старшая дочь, эта его известность привела к тому, что от времени до времени соверенно незнакомые люди стали присыпать ему свои либретто для опер, обычно весьма слабые, а иногда даже курьезные. Однажды ему было прислано либретто в стихах для оперы под названием «Девица-воин», в котором был такой текст:

Мама кличет к пирогам
Делать фаршировку.
Папа судит по ногам —
Любит маршировку...

В одном из писем сообщалось:

«Мое имя, к сожалению, еще не известно. Я сочинила пьесу в минорном тоне. Не согласитесь ли Вы напечатать ее под своим именем? Гонорар пополам».

Учившиеся в консерватории певицы часто бывали очень слабы в теории и гармонии и очень боялись Николая Андреевича на экзаменах. Но он относился к ним снисходительно.

«Не хочу проваливать барышню, — рассказывал он дома, — спрашиваю самое легкое, общеизвестное, например: много ли в оркестре скрипок? Получаю ответ: одна. Спрашиваю: неужели одна? Ответ: ну, две. Спрашиваю: а тарелок сколько? Ответ: очень много. Пропустил, жалко срезать».

Иногда к Римским-Корсаковым приходила одна дальняя родственница, чудаковатая старушка Варвара, находившаяся в какой-то богадельне. Она являлась с большим мешком, в который собирала все возможные лакомства, и Николай Андреевич никогда не забывал освежомиться, положили ли Варваре в мешок что-нибудь вкусное. Она писала ему оригинальные письма, например:

«Большой зал консерватории. Римскому-Корсакову. Умираю, ничего не могу есть. Живот провалился в спину. Пришлите, пожалуйста, рыбчиков и слоеных пирожков».

В таких случаях ей отправлялась посылка на дом.

1 июня Николай Андреевич приехал на дачу в Вечашу. Там полным ходом пошло сочинение «Царской невесты». О своей работе над новой оперой он некоторое время никому не говорил, но было ясно, что он снова что-то сочиняет. Стасов считал, что это не важно, какую оперу он пишет, главное, что он снова сочиняет. «*Вот этот так работает!*» — писал Владимир Васильевич брату. А Ястребцев отметил: «*Какую оперу пишет Р.-К., мне не известно, но есть основание предполагать, что он сочиняет „Царскую невесту“ по Мюю.*

Заинтересовался этим и Семен Николаевич Кругликов, но Николай Андреевич отвечал ему в Москву:

«*Вы спрашиваете имя моей новой оперы. Голубчик, простите! Все еще не скажу. Скажу только, что три действия в наброске готовы и остается одно 4-е действие; а кусок 1-го акта уже отделан и оркестрован.*

«Лето 1898 года, — писал впоследствии Николай Андреевич в своих воспоминаниях, — в милой Вечаше протекало быстро за сочинением „Царской невесты“, а вместе с ним и сочинение текло быстро и легко. В течение лета вся опера была сочинена».

Настроение Николая Андреевича было тогда хорошим, и музыкой он был поглощен настолько, что даже письма писал в виде музыкальных писем-речитативов.

Секрет о названии оперы стал приоткрываться. Николай Андреевич показывал «Царскую невесту» приехавшему в августе в Вечашу Кругликову.

Узнав о появлении новой оперы Римского-Корсакова, Мамонтов, через посредничество Кругликова, просил Николая Андреевича не отдавать ее на императорскую сцену, а дать Частной опере, «если только наши дорогой и славный Николай Андреевич (пересказывал Семен Николаевич просьбу Саввы Ивановича) ничего не будет иметь против того, чтобы мы своими скромными средствами первыми исполнили его новую оперу. Напишите ему, что все наши старания, лучшие голоса нашей труппы, всю нашу любовь мы отдадим „Царской невесте“ Римского-Корсакова».

Под конец работы над новой оперой Николай Андреевич, как обычно, чувствовал большое утомление. По поводу предложения Мамонтова

о постановке этой оперы Николай Андреевич сообщал Семену Николаевичу, что, «в случае каких-либо намерений Имп[ераторской] дирекции, я прямо откажу, так как эта опера должна пойти в 1-й раз в Москве у С. И.».

А на просьбу Саввы Ивановича заменить балетную музыку в сцене подводного царства в «Садко» на хоровую (в связи с затруднениями с постановкой танцев) Николай Андреевич писал, что он отказывается что-либо делать вновь для «Садко».

«Кончено, и точка поставлена. Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит. Устал, думать не могу о „Садко“. Устал думать и о „Царской невесте“, хотя продолжаю отделку и инструментовку и скоро кончу 2-е действие; но я пока еще многим недоволен в мелочах, так как собой вообще не слишком восхищаюсь. Эх, кабы хоть 10 лет с плеч долой».

Такие слова встревожили Семена Николаевича, и он писал Николаю Андреевичу:

«В тоне Ваших обоих городских писем <...> я подслушал что-то не то, чем дышали Ваши речи в Вечаше и письма Ваши оттуда по моему адресу. Что-то усталое слышится, какое-то как будто вспыхивающее вновь недоверие к себе и к своим силам. Бросьте Вы это настроение. Будьте таким, каким стали за последние годы, не браните чернила, перо и бумагу нотную, почаше за них беритесь, хорошошенько отгоняя всякие мысли мрачные и апатичные нотки. Особенно не поддавайтесь последним. Дайте мне и всем, любящим и ценящим Вас и Ваше творчество, побольше любоваться Вашей готовность отдаваться большие и чаще сочинению музыки все на новые и новые сюжеты».

Пять дней в октябре Николай Андреевич провел в Москве, где дирижировал оркестром в Русском симфоническом концерте. Мамонтов пригласил его к себе домой и специально для него устроил исполнение «Моцарта и Сальери». Певцам аккомпанировал на рояле Сергей Васильевич Рахманинов. Приехав домой, Николай Андреевич благодарили Савву Ивановича:

«Побаловали-таки меня. <...> Интерес к сочинениям моим и сердечность мне дороже оваций и венков».

А в письме к Кругликову он признавался:

«Я прихожу к тому, что я весьма тщеславен: люблю, когда мои сочинения исполняют и меня хвалят, и хвалят искренно. Я уехал в таком настроении, что казалось, будто надо вот сейчас сочинять новые

оперы. Между тем это неверно — надо отдохнуть долго или совсем бросить, ибо я устал и устал, и тщеславные чувства и мысли только искусственно возбуждают и настраивают на короткое время».

Тогда же Николай Андреевич послал Надежде Ивановне Забеле рукопись арии Марфы из второго действия «Царской» и писал ей:

«С величайшим нетерпением буду ждать Вашего отзыва об арии. Сначала храбришься, пишешь как бы наверняка, что знаешь Ваш голос и что арию и вообще партию Марфы рассчитывал на Вас, а как дойдет до дела, и боишься, что, пожалуй, Вам не угодил. А что касается до пребывания в *la taj*, которое Вы мне желаете, то скажу Вам, что ограничусь и *ти-бемоль таенг-ом* для себя; это тоже не худо; *a la taj* к моему возрасту не идет. Это тональность молодости, весны, и весны не ранней, с ледком и лужицами, а весны, когда цветет сирень и все луга усыпаны цветами; тональность утренней зари, когда не чуя брезжит свет, а уже весь восток турпуровый и золотой. Хорошо ли я проявил мои декадентские наклонности? Ля мажор и живописные представления?»

Послав затем Надежде Ивановне сцену и арию Марфы из последней картины оперы, Николай Андреевич сообщал ей:

«Эту сцену и арию, а также „Нимфу“ я только желал бы послушать в Вашем голосе». Романс «Нимфа» он посвятил Забеле.

Закончив 24 ноября оркестровку «Царской невесты», Николай Андреевич снова писал Надежде Ивановне:

«Пока не чувствую еще усталости, но это так, сгоряча, а потом почувствую и раскисну, а затем, вероятно, опять подтянусь. Композиторы подобны горьким тьянициам: бросить бы сочинительство — и был бы здоров; да нет, не бросишь, и только мечтаешь о том, как бы не состариться. Уж как я этого боюсь!»

В октябре 1899 года Николай Андреевич ездил в Москву на постановку в Частной опере «Царской невесты». Он писал оттуда Надежде Николаевне:

«Милый друг, Надюша. <...> Опера разучена хорошо, голоса все на подбор, и я нахожусь в самом приятном настроении. <...> Ты не поверишь, как мне было приятно прослушать ансамбли. <...> Но почему же я в этот раз особенно удовлетворен и неужели это только самобальзание? Нет, я уверен, что Царскую невесту пока никто не оценил и, отведя ей последнее место в ряду моих опер, вследствие несоблюдения в ней идеалов кушки, делают непростительную ошибку. <...> А звучит она, поверь, вовсе не старомодно, а очень ново. Приезжай

непременно и привези Соню, не обращая внимания на платья. Ведь иначе ей Бог знает когда придется услышать. Вчера обедал у Кругликова, сегодня буду у Врубелей.

К премьере «Царской невесты» приехали Надежда Николаевна и Соня. Спектакль прошел очень хорошо. Партию Марфы пела Надежда Ивановна Забела, Любашу — талантливая певица Ростовцева, Грязного — Шевелев, Лыкова — Секар-Рожанский.

В газете «Курьер» говорилось:

«Овации по адресу композитора начались после I акта, когда Н.А. вышел на сцену, вызванный всем театром единодушно. Под не- смолкаемый гром аплодисментов ему был подан венок с его инициалами (от Московского филармонического общества), и затем Н.А. вызывали еще несколько раз. То же повторилось и после II акта, когда Н.А. был подан второй венок (от артистов). Вызовы продолжались и после III и после IV действий. Глубоко тронутый приемом, Н.А. благодарил публику, но не забывал при этом и артистов».

Николай Андреевич остался на второе представление своей оперы, а Надежда Николаевна после первого спектакля уехала в Петербург, отчасти, видимо, из-за того, что эта опера ей не нравилась. Но не при мешивалось ли к этому невольно некоторое чувство ревности к Забеле, пением которой так восхищался Николай Андреевич?

В письме к Андрею Надежда Николаевна высказала весьма резкую критику «Царской невесты»:

«Все это, конечно, прекрасно, но я лично этому не сочувствую, так как считаю эту оперу не только гораздо ниже „Садко“, но и вообще самой неудачной из опер папы. <...> Я не сочувствую возвращению к старым оперным формам в стиле „Жизни за царя“, особенно в применении к такому чисто драматическому сюжету, так как это мешает сценическому движению. <...> Если даже допустить эти формы, то надо уж, чтобы они выкупались, по крайней мере, превосходной музыкой, заставляющей забыть недостаток движения, а этого именно и нет. На мой взгляд, музыка всех этих дуэтов, трио, квартетов, секстетов довольно банальна, только прилична, хотя при этом видна рука мастера. <...> Я не нахожу в этой опере ни одного сильного, потрясающего места».

В другом письме к Андрею Надежда Николаевна сообщала, что она одна представляла диссонанс в общей гармонии.

«Разумеется, — писала она, — я из посторонних никому не выражала своего мнения».

Можно представить, как огорчало Николая Андреевича отрицательное отношение Надежды Николаевны к этой опере. Он тоже писал Андрею о «Царской невесте»:

«Как бы я сам ни был уверен в ее достоинствах и как бы ее ни превозносили самые развитые искренние почитатели, у меня остается в глубине души некоторое щемящее чувство, что мама недовольна „Царской невестой“.

30 октября 1901 года премьера «Царской невесты» состоялась и на сцене Мариинского театра и прошла, как всегда, с шумным успехом. За ближайшие две недели эта опера была дана шесть раз. Только аборигенная публика, состоявшая главным образом из представителей высшего общества, принимала эту оперу довольно холодно. Надежда Николаевна была на премьере и после этого сообщала Андрею:

«Я вспоминаю то, что писала тебе о „Царской невесте“ после первого представления в Московской Частной опере, и нахожу, что от многого, многою тогда сказанного, я не отказалась бы и теперь. <...> Но это только одна сторона медали. <...> Я почти ничего не говорила о достоинствах, о многих прекрасных речитативах, о сильном драматизме IV действия и, наконец, об изумительной оркестровке. <...> Тут редкое соединение таланта с необычайным мастерством. Оркестр рисует с изумительной красотой и правдивостью не только положения, но и все изгибы движений души действующих лиц».

«Сказка о царе Салтане»

Еще в феврале 1899 года Николай Андреевич стал записывать первые музыкальные мысли для оперы на сюжет, предложенный Стасовым, — «Сказка о царе Салтане» по одноименному произведению А. С. Пушкина. Мысль об этой опере возникла в связи с исполнявшимся в том году столетием со дня рождения поэта. Начались частые встречи с Владимиром Ивановичем Бельским, с которым Николай Андреевич обсуждал сюжет новой оперы. Вскоре Владимир Иванович принялся составлять либретто. Но больше никто, в том числе и Ястrebцев, об этой новой работе не знал.

Сочинение «Салтана» шло быстро, вся опера была за лето написана и частично оркестрована. В музыке этой оперы Николай Андреевич использовал мотив колыбельной, которую так много раз пела всем их детям няня.

«В память скончавшейся год тому назад няни Авдотьи Ларионовны я взял петую ею моим детям мелодию колыбельной песни для

нянек, укачивающих маленького Гвидона», — вспоминал позднее Николай Андреевич.

Осенью 1900 года в Московской частной опере начались репетиции «Сказки о царе Салтане». 12 октября Николай Андреевич приехал в Москву и остановился в Лоскутной гостинице, управляющим которой был хороший знакомый и большой поклонник его музыки Сергей Петрович Белановский. Николай Андреевич сразу же стал посещать репетиции своей оперы.

Репетиции шли хорошо, Николай Андреевич был доволен, но к самой опере своей отнесся довольно критично:

«Дорогая моя Надюша, вчера окончил Салтана, основательно прошли последнее действие. <...> Я прихожу к тому, что в опере меня на старости лет более всего притягивает пение, а правда очень мало; она всегда какая-то рассудочная. Знаю, что ты со мной не согласна. Когда Салтан и царица начинают свой дуэт, то чувствуется, что следовало бы этого побольше, и сожалеешь, что коротко».

Но Надежда Николаевна возражала ему:

«Ты не прав, милый друг, относительно „Салтана“; ты его всегда обижаяешь. В нем ты не сказал, правда, ничего нового, остался верен своей прежней манере, словом, похож на самого себя; там много напоминаний из „Ночи перед Рождеством“, „Млады“, отчасти „Снегурочки“. Но, во-первых, заимствовать у самого себя позволительно, это встречается у всех композиторов, а во-вторых, в „Салтане“ есть красивая и выразительная музыка, написан он, как все твои зрелые сочинения, мастерски, и в общем он производит впечатление веселой юмористической сказки, что и требовалось. На днях я проиграла все-го „Салтана“. На основании всего выше сказанного прошу его не обижать, а главное, прошу тебя не высказывать никому постороннему своих порицаний и сравнений. Это ужасно может повредить вещи. Ты часто бываешь врагом самому себе. Никогда не говори о себе худо — твои друзья достаточно о тебе наскажут. Не забывай этого гениального изречения Мериме».

Николай Андреевич считал оперу произведением прежде всего музыкальным, чему должны быть подчинены все остальные стороны спектакля.

Он рассчитывал, что Надежда Николаевна приедет в Москву задолго до премьеры «Салтана», но это не получилось.

«Жаль, что ты не приедешь сегодня; мне становится скучновато в здешней суете и хотелось бы тебя видеть...» «Пиши тебе это в 1 ч.

ночи, вернувшись из Царской невесты. <...> Как водится, дирекция побаловала меня прелестным венком. Пришло раскланиваться после каждого действия. <...> Благодарю тебя за отзыв о Салтане и за наставление, которому буду следовать. В общем, я с твоим мнением вполне согласен; но согласись с тем, что в Салтане я нигде не поднялся до высоты последней картины Царской невесты, которая всегда останется наряду с лучшими моими вещами, причем не представляя повторения чего-нибудь прежнего. Вот за что я люблю эту оперу, и всякие нарекания на нее, всякие „но“, „все-таки“ и т. п. меня огорчают. Сверх того Ц[арская] невеста представляет собой новый и откровенный поворот к пению, а следовательно, не назад, а вперед, и если этот поворот не вызовет оперного искусства к дальнейшей жизни, то, следовательно, ему суждено погибнуть в том болоте, в котором оно начало увязать, несмотря на все талантливые пробы правды, которыми только отчасти искусство может воспользоваться. <...> Сегодня обедал у Кругликова. Поцелуй детей. Приезжай. Обнимаю тебя. Твой Н.Р.-К.».

К премьере «Салтана» в Москву приехали Надежда Николаевна со старшей дочерью.

Дирижер М. М. Ипполитов-Иванов вспоминал:

«Спектакль был сплошным его [Римского-Корсакова] торжеством с бесконечным числом разных вещественных доказательств укрепившейся любви к нему москвичей».

Второе представление прошло с тем же успехом, и автора вызывали двадцать шесть раз. В московских газетах писали:

«Это было новое торжество русского оперного искусства и нашего дафновитого национального композитора»; «Первый спектакль был настоящим триумфом композитора, которому были устроены небывалые овации. Нечего говорить, что билеты на все объявленные уже спектакли разобраны».

Откликнулся и «Петербургский листок»:

«Газеты единодушно констатируют солидный успех нового поэтического произведения г. Римского-Корсакова, блещущего красотами мелодии, могучим полетом фантазии и яркими красками».

IV

ПОДВОДЯ ИТОГИ

35-летие композиторской деятельности

35-летие композиторской деятельности Николая Айдреевича исполнялось 19 декабря 1900 года, но уже в ноябре начались разные концерты и спектакли, посвященные этой дате.

Первое чествование Римского-Корсакова состоялось в Петербурге 25 ноября на III Русском симфоническом концерте в зале Дворянского собрания. Такое заблаговременное празднование Митрофан Петрович Беляев объяснял невозможностью устроить еще один концерт в декабре. В первом отделении оркестр исполнил балладу Чайковского «Воевода», музыкальную картину «Садко» и Шествие князей из «Млады», по просьбе публики повторенное. Дирижировал Николай Андреевич.

После «Садко» на эстраду вышел Беляев, сказавший о значении Римского-Корсакова для русского музыкального искусства; затем взял слово Стасов и, как говорилось в газете «Россия», «сказал свою прочувственную, глубоко задушевную и правдивую речь, вызвавшую горячий восторг всей аудитории». Владимир Васильевич сравнил Николая Андреевича с Садко: как моряка, совершившего далекое морское путешествие, как музыканта, пленившего своим талантом царевну, то есть Россию, и как имеющего дружину в виде славных своих учеников. И снова — венки, венки при несмолкаемых звуках туша.

По случаю юбилея Николая Андреевича было назначено еще шесть празднований в декабре и два в январе.

Московская Частная опера уведомила Николая Андреевича, что по случаю его юбилея 19 декабря ставит «Салтан», а 20-го — «Садко» и что вся труппа хочет его чествовать.

В Большом же театре назначили, тоже на 19 декабря, «Снегурочку».

Юбилейные торжества получили продолжение в январе 1901 года в Петербургской консерватории; где ученический оркестр под управлением Галкина исполнил Первую симфонию Римского-Корсакова,

а затем был устроен товарищеский обед с профессорами и преподавателями. Кроме того, в Обществе музыкальных собраний состоялся большой концерт исключительно из вокальных произведений Римского-Корсакова. После первого отделения ему был поднесен венок, и вызывали его и приветствовали после каждого из трех отделений концерта. На этом закончилась продолжительная юбилейная эпопея, после чего Николай Андреевич стал шутить, что теперь он «*до того привык к юбилеям, что уже совершенно свободно может заниматься куда угодно для изображения <...> юбиляра всех сортов: юбиляра без речей, с речами и даже с речами, слезою и жестами*».

«Кашей бессмертный»

К составлению либретто новой оперы Николай Андреевич привлек в помощницы дочь Софью. Одновременно он стал делать и музыкальные наброски. Так в лето 1901 года стала появляться новая опера под названием «Кашей бессмертный».

Софья Николаевна впоследствии вспоминала об этой совместной их работе:

«Когда сочинялся „Кашей“, я помогала папе, как могла, в составлении либретто. Бывало, папа подойдет ко мне с горящими глазами: „Софья, пойдем, надо поговорить“. И мы уходили с ним в лес, обсуждая варианты сказки и разрабатывая детали».

Сочинение, как обычно бывало у Николая Андреевича, когда сюжет увлекал его, пошло быстро. Он задумал написать совсем небольшую оперу в трех картинах, исполняемых без перерыва.

Все лето 1901 года Николай Андреевич усердно работал над «Кашеем». Он писал Глазунову, что принялся за небольшую архифантастическую оперу, он сюжет ее пока не раскрывал:

«Думаю, что за лето составлю весь или почти весь набросок, так как материал прилез в голову как-то сразу весь».

Николай Андреевич считал, что хотя его произведения обычно имеют успех, но в общем публика испытывает малую к ним любовь, что, по всей вероятности, в его таланте чего-то недостает.

«Я всегда могу, — записал Ястребцев его слова, — изобразить, как будет чувствовать каждый из моих героев, но при этом, мысленно перевоплощаясь, сам лично не чувствую ничего. Мои сочинения умны, но в них мало непосредственной сердечности, мало чувства, это все какие-то девушки Снегурочки. Это, может быть, даже очень хорошо,

но только не для публики, которая именно потому и остается равнодушной ко всей моей музыке. Лирика и любовь — вот высшая сила, красота и поэзия».

Николай Андреевич сетовал на то, что стареет. Говорил, что пришел к выводу, что многое он сочинил из чувства противоречия: когда о нем говорили, что он преимущественно симфонист, — он садился сочинять оперу; когда заявляли, что у него лучше всего получаются народные сцены, — создавал такие оперы, в которых особое внимание обращено на сольные партии; когда критик Ларош стал браковать «Бориса Годунова» Мусоргского, — он тотчас же принялся за окончательное редактирование этой оперы, чтобы ее поставили на сцене; Стасов стал уверять, что Николай Андреевич не умеет писать речитативы, — он тут же сочинил оперу «Моцарт и Сальери».

«И вы не поверите, — сказал Николай Андреевич Ястребцеву, — но это сознание умаляет характер и значение моего таланта в моих собственных глазах».

Николай Андреевич много размышлял о путях развития искусства вообще и музыкального в частности, не оставил мысли о написании труда об эстетике музыкального искусства. В самом начале января 1902 года он составил план такого сочинения и в конце написал: «...развитие искусства в XIX столетии идет с поразительной быстротой. Может ли оно пойти далее по пути своей эволюции? Не стоим ли мы накануне конца?»

О судьбе собственных сочинений после его смерти он отзывался весьма пессимистично.

«Сперва, — записал Ястребцев его слова, — будет некоторый подъем, вероятно, даже напишут несколько брошюр обо мне, ну, а затем наступит вечное и бесповоротное забвение».

Николаю Андреевичу исполнилось пятьдесят восемь лет. В те дни ему пришлось пережить весьма неприятный инцидент. Как он сказал Ястребцеву, теперь он окончательно выяснил свои отношения с Балакиревым. В одном из концертов в зале Дворянского собрания, в антракте, Николай Андреевич на пути в артистическую встретился с Балакиревым. «Здравствуйте, Милий Алексеевич!» — обратился к нему Николай Андреевич. Но тот демонстративно отвернулся. Такого Николая Андреевича не ожидал. Видевшие эту сцену рассказывали, что он, бледный как полотно, прошел в курительную комнату и не сразу пришел там в себя. Причина поступка Балакирева осталась для Николая Андреевича совершенно не ясна. Но с того момента всякие отношения между бывшими друзьями были порваны навсегда.

«Это уж слишком! — рассказывал Николай Андреевич Ястребцеву. — Итак, с сегодняшнего дня мы более незнакомы друг с другом».

Николай Андреевич решил наконец раскрыть свой секрет и показать друзьям «Кащея бессмертного». Сначала он показал пришедшему к нему Ястребцеву рукопись этой оперы. Во время разговора у него вдруг стало затрудненным дыхание и он сильно побледнел. Длилось это менее полминуты, но было все же признаком скверным.

На следующий день Николай Андреевич показывал «Кащея» Лядову, Бельскому и другим, кроме Стасова. Музыка началась поздно, около одиннадцати часов, так как Николай Андреевич долго отдыхал. Однако к гостям он вышел бодрым и в хорошем настроении. «Кащей» был исполнен два раза подряд, и ужинать сели лишь в половине второго ночи, так что разошлись около трех часов утра. Музыка новой оперы произвела на всех большое впечатление. Особенно сильно восхищался Глазунов. За ужином он сказал тост:

«Я пью за „преступника“, убившего Кащея бессмертного, но заслуживающего тем не менее полнейшего снисхождения, так как благодаря этому „злодеянию“ в искусстве народилось нечто новое и великое».

Николай Андреевич прислал либретто «Кащея» Е. М. Петровскому, и тот, не сочувствовавший изменениям своего текста, просмотрев окончательное либретто, написал Римскому-Корсакову:

«С удовольствием убедился, что в новом виде оно приобрело настоящий корсаковский характер, иными словами: в него вошло нечто светло-жизненное, радостное, легкое и здоровое, отсутствие чего слишком сильно ощущалось во всех предложенных Вам планах».

«Кащей» был принят к постановке в Московской Частой опере, и в начале декабря 1902 года Николай Андреевич отправился в Москву. Оттуда он писал:

«Милый дружок, Надя, вчера было две репетиции: днем и вечером. <...> Музыка моя мне нравится мало; в диссонансах ужасный пересол. Лучше всего то, что не представляет собой передового и что составляет шаг назад, по мнению чехов: песня с мечом, дуэт Царевны и Королевича (A-dur), ариетта Королевича (As-dur); впрочем, декадентский дуэт Кащеевны с Королевичем выходит хорошо. Ко всему прочему надо привыкать, а с непривычки оно отталкивает. Хор (метель), впрочем, недурно выходит. <...> С одной стороны, писать, как написана Ц. невеста, нельзя, чуть ли не стыдно, а писать, как написан Кащей, тоже не годится, неприятно и лживо. С одной стороны, на Императорских театрах имеются средства, а нет настоящего

желания ставить и давать мои оперы, с другой — на частной опере есть желание, но нет удовлетворительных средств. Лучше бросить оперное сочинение, так как второй Снегурочки не сочинишь, а на тематрах пусть ставят где что хотят».

К генеральной репетиции «Кащея» приехала Надежда Николаевна. На следующий день, 12 декабря, прошла премьера. Театр не был полон, но автора дружно вызывали, поднесли ему венок. Надежда Николаевна писала сыну Андрею в Страсбург:

«После арии Кащеевны с мечом произошел такой всеобщий взрыв, такая буряapplодисментов, каких и я не ожидала. Арию пришлось повторить, и тут еще некстати поднесли певице корзину цветов, так что цельность впечатления была нарушена, чем папа был крайне недоволен и даже при повторении вышел из зала. Но что же делать — это был такой единодушный порыв восторга, что он все-таки был мне приятен. <...> Вообще я от „Кащея“ в восторге; это одна из лучших патиновых опер. Я находила это и раньше и теперь еще более убеждаюсь в этом. <...> В целом получается очень сильное впечатление. И это не только мое мнение. Здесь многие музыканты в восторге от „Кащея“. Гречанинов сиял от удовольствия. Танеев был в каком-то возбужденном состоянии, я его никогда таким не видела. Он сказал: эта опера — новое слово в музыке».

Сразу после спектакля Николай Андреевич и Надежда Николаевна уехали в Петербург.

«Сказание о невидимом граде Китеже»

Осенью 1902 года Николай Андреевич уже начал обдумывать новую оперу, о которой сказал Ястребцеву, что она будет самая фантастическая или даже мистическая. Он имел в виду «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и просил Бельского работать дальше над либретто.

Только весной 1903 года Николай Андреевич занялся сочинением этой давно задуманной оперы.

«Я понемножку принимаюсь за „Невидимый град Китеж“, — писал он сыну Михаилу. — Кое-что у меня надумано, и скоро начну писать 1-ю картину. <...> По совету [врача] принимаю усердно йод, не пью вовсе вина и чувствую себя хорошо».

На этот раз Николай Андреевич не скрывал, что он сочиняет, даже предложил Ястребцеву зайти познакомиться с сюжетом этой оперы. Василию Васильевичу показалось, что Николай Андреевич боится

не успеть окончить ее. Сочинение «Китежа» продвигалось медленно, с трудом, и это раздражало Николая Андреевича. Владимиру Ивановичу Бельскому он написал:

*«Вообще, дело идет тихо и туго. Если так и далее пойдет, то возможно, что никогда и не кончу эту оперу, тем более, что вы предъявляете к ней непреодолимые по трудности требования. Например, не угодно ли сделать задыхающийся от избытка восторг в последней картины? Это хорошо говорить, словечек на свете много, и хороших словечек, а не угодно ли это в музыке сделать? Я в конце концов, вероятно, и сочиню недурную музыку, а задыхающийся от избытка восторг пусть кто-нибудь в чем-нибудь другом сочинит, посмотрим только, кому это удастся. Ведь это легко сказать: музыка, истогающая у слушателей слезы, или повергающая его в мистический ужас, или т. п. А как это сделать и где таковая существует? Слезы у слушателя — это его слабонервность, а мистический ужас — дело натуралистичное. <...> Ястребцев был два дня [у нас] и затугал меня до смерти, говорил, что Китеж должен быть непременно какого-то особо высокого качества. <...> Если со всех сторон будут такие требования, так уж даже приходит в голову, не бросить ли и совсем эту работу, чтобы как-нибудь не провалиться? Вообще, я если еще не впадаю в детство, то все-таки становлюсь несколько ребенком и начинаю слушаться старших. Вы говорите, что речитативы дело низменное, ну вот, надо будет речитатив сочинять, а меня все это мнение будет мучить, и я лучше не буду совсем сочинять речитативы. Вам хочется, чтобы я взял побольше оркестр: слушаюсь, возьму таковой. Свириль какую-то надо сочинить — извольте, сочиню, даже для *trombo piccolo*, хотя таковая, по-моему, для этого дела совсем не подходит. Вот только длинноты божественные начать делать — это уже свыше моих сил, это меня в гроб может свести, чего я все-таки никогда не желаю».*

В следующем письме Николай Андреевич просил простить его за резкость:

«Я стал несносно раздражителен, раздражителен без оснований. <...> Старые годы принесли с собой раздражительность, слабую память, частую непомерную рассеянность или, лучше сказать, рассеянное блуждание мыслей и другие прелести 60-летнего возраста».

Вскоре Николай Андреевич писал Ястребцеву: «Оперу подвигаю со страхом — вы напугали; тем не менее подвигаю». И действительно, к переезду в город в начале сентября «Китеж» был в значительной части сочинен.

Николай Андреевич писал Петровскому:

«Полагаю, что „Китеж“ будет не отсталая, а современная и даже передовая [опера], и притом не растерявшая драгоценные музыкальные элементы: мелодию, форму, гармонию, контрапункт и... следовательно, красоту».

Тут же Николай Андреевич делает примечание:

«В послевагнеровское время на Западе не вредно бы вывесить объявление: „Утеряна красота в музыке; нашедшему и доставившему будет выдано вознаграждение по закону“.

Н. Финдейзен писал в «Русской музыкальной газете»:

«Как плохой музыкант не может создать хорошей оперы, так и выдающийся композитор не может написать плохой или бездарной; от последнего его всегда обережет врожденное художественное чутье и техническое мастерство. Н. А. Римский-Корсаков принадлежит именно к этим исключительным художественным дарованиям, обеспеченным в своем творческом богатстве. Упрек, часто ему делаемый (в особенностях в последнее время), в том, что он пишет слишком много и почти ежегодно дает новую оперную партитуру, т. е. излишне расходует запас творческих сил, — упрек этот окажется вполне неосновательным, если вдуматься в назначение творящего или производящего художника. Нелепо требовать от последнего только создания шедевров; композитор пишет под напором творческих мыслей, независимо от качественного достоинства их, и так же не может их заглушить, как голосистая птичка не может перестать петь по каким-либо архизумным соображениям зоолога».

К концу октября сочинение «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» было закончено. Николай Андреевич жаловался Кругликову:

«Устал я нынче порядком от собственной музыки и собственной инструментовки (последняя начинает мне становиться чуть не противна). Так уж это все выходит как по маслу и перестает быть интересным и мне, и, кажется, даже другим».

Вскоре, в присутствии Лядова, Оссовского, Ястребцева и Бельского, Николай Андреевич показывал у себя дома второй и третий акты «Китежа».

1 января 1905 года он показывал первую картину четвертого действия оперы. В этот день по предложению Владимира Ивановича Бельского было решено устраивать у Римских-Корсаковых музыкальные

журфикссы, для которых были выбраны нечетные среды. Таким образом, музыкальные собрания в этом доме стали проходить два раза в месяц, и при этом никто на них не приглашался. Зная этот день, каждый, кто хотел, приходил, и музыкальная программа складывалась сама собой.

Еще один раз, 5 января, Николай Андреевич играл друзьям «Китеж», на этот раз все четвертое действие.

«Какая неподражаемая поэзия, — записал Ястребцев, — какая чистота, какой неизреченный свет! (Я плакал.) <...> Вообще мы все в восторге от „Китежа“.

На следующий день Василий Васильевич послал Николаю Андреевичу такое письмо:

«Вы знаете, дорогой и высокоуважаемый Николай Андреевич, какие строгие требования в свое время я предъявил к Вам и к предполагавшейся музыке будущего „Китежа“. Скажу теперь, что все мои гордые мечты об этом произведении сбылись, и, как некогда я до глубины души был потрясен „Снегурочкой“, „Псковитянкой“, „Младой“, „Садко“, „Царем Салтаном“ и „Кашеем“, так ныне меня всецело охватил Ваш во всех отношениях ни с чем не сравнимый, бесконечно идеалистический, неслыханный „Китеж“. Воистину Вами „природы постигнута тайна и найден бессмертный дар“. Еще раз громадное Вам спасибо за тот могучий экстаз, который я испытал вчера, слушая Ваше гениальное „Сказание“. Я до сих пор не могу прийти в себя. Аминь».

На «средах» Римских-Корсаковых стали собираться многочисленные гости. На «среде» 9 февраля звучало много музыки: Н. И. Рихтер играл фортепианные вещи Стравинского и Глазунова, Забела с аккомпанировавшим ей Глазуновым исполнила произведения Глазунова и Римского-Корсакова. После этой «среды» Ястребцев записал:

«Наши (с Бельским) „фикссы“ расцвели пышно, но принесли нежелаемый плод: „Китеж“ был совершенно забыт!»

Однако он огорчался напрасно, на следующей «среде» были исполнены первый и второй акты «Китежа». А 27 февраля Ястребцев отправил Николаю Андреевичу письмо следующего содержания:

«Дорогой Николай Андреевич! Слушал я вчера „Бориса Годунова“, вспомнил свою покойную мать, боготворившую эту оперу, вспомнил и то, что Вы сами так недавно еще создали величайшее оперное чудо — „Китеж-град“, и захотелось мне вдруг стать перед Вами на колени. Не сердитесь на меня за этот душевный порыв, памятая, что сегодня „прощеное“ воскресенье. В данную минуту Ваш „Китеж“ передо

мною; проглядывая его наедине, я горячо плакал. Не подумайте, однако, что, подобно Вакуле, я в рассудке повредился, — нисколько. Мне захотелось только хотя приблизительно словами выразить то, что я в глубине души своей продумал и перечувствовал под влиянием Вашего нового вдохновенного „Евангелия“. <...> Воображаю, как Вы будете ругаться, получив это письмо. Но что делать? Вы сами виноваты: не надо было писать такой музыки».

Николай Андреевич отвечал: «Бог знает что вы говорите, дражайший В. В.» — и приписал: «Эту фразу я, кажется, у Гоголя стащил».

6 марта ожидались гости. Лядову Николай Андреевич даже послал приглашение в стихах:

Шестого марта я рождаюсь
В шестьдесят первый раз на свет
И в час вечерний дожидаюсь,
Придет ли милый друг иль нет?

Кругликов прислал к этому дню поздравительное письмо:

«С помощью этих любящих строк поздравляю Вас со днем рождения, поздравляю всех Ваших, и себя, и родную музыку, и тех, кто ей служит верой и правдой. Поздравить есть с чем. У нас есть Николай Андреевич, дорогой, чудесный, чистый, огромный, которого надо горячо любить, безгранично ценить за все, за все, — и за то, что он сделал и делает, и за то, что он именно такой, каков есть. Пусть будет Вам хорошо, пусть всякие житейские тучи Вас минуют».

В начале 1906 года было принято решение о постановке в Мариинском театре «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Премьера же «Китежа» состоялась 7 февраля 1907 года. Эскизы декораций сделал А. Васнецов, костюмов — К. Коровин; автором сценической постановки был В. Шкафер, дирижировал Ф. Блumenфельд. В том спектакле Гришку Кутерьму пел И. В. Ершов, оставшийся непревзойденным исполнителем этой сложнейшей партии. Февронию — прекрасная артистка, очень красивая женщина М. Н. Кузнецова-Бенуа.

Обычный день

Обычный день Николая Андреевича складывался так: вставал он рано и в девять часов уже выходил в столовую. Не дожидаясь никого из семьи, варил себе кофе в спиртовом кофейнике. Он был большим любителем кофе и часто повторял шуточную молитву: «Благода-

рю тебя, Боже, что ты создал этот чудесный напиток!» Кофе со сливками и свежий, только что принесенный из булочной и еще теплый калач с маслом и медом составляли его завтрак. Рядом всегда находился любимец Рекс, рыжий сеттер, которому Николай Андреевич, вставая из-за стола, говорил: «Позвольте вам выйти вон», и тот уходил на свое место.

Затем Николай Андреевич проходил через гостиную, где, на секунду задержавшись у рояля, брал аккорд в нужной ему тональности для проверки своего слуха, и направлялся в кабинет. Там, в этом «святая святых» его творчества, он тотчас же погружался в работу. На его письменном столе появлялось большое количество исписанных листов нотной бумаги.

Римский-Корсаков считал, что не следует ждать, когда вдохновение снизойдет, а надо неустанным трудом самому управлять его появлением. Если же выпадет день, когда композитора не потребует «к священной жертве Аполлон», ему всегда найдется достаточно дела по оркестровке или приведению в порядок того, что уже создано, но еще находится в состоянии первоначального хаоса. Тем не менее вдохновение считало нужным посещать его и не в часы работы, не спрашивая на то разрешения. В такие минуты он мог показаться окружающим несколько странным.

Сочиняя Николай Андреевич очень быстро. От времени до времени он выходил в гостиную, чтобы проиграть на рояле сочиненное. В эти священные утренние часы вдохновения и труда все домашние старались оберегать его покой. Но иногда все же приходилось побеспокоить его чем-нибудь неотложным. Однако он обладал удивительной способностью моментально отрешаться от любых внешних помех и быстро восстанавливал свое состояние вдохновения.

Около двенадцати часов Николай Андреевич приводил свой письменный стол в полный порядок, все рукописи убирал в ящики старинного, еще тихвинских времен, бюро и присоединялся к общему дневному завтраку в столовой. После этого он обычно ехал на занятия в консерваторию и часам к пяти-шести возвращался домой.

После обеда Николай Андреевич позволял себе минут на пятнадцать-двадцать прилечь на диване в кабинете и просил непременно его будить, если он заснет и не встанет вовремя для вечерней работы. Эта работа носила обычно более технический характер. Он переписывал набело сочиненное утром, правил корректуры, писал письма и т. п., и так продолжалось до полуночи или часу ночи.

Трудно понять, как Николай Андреевич мог сочинять, будучи постоянно окружен суетой большой семьи, в которой к тому же все дети учились музыке. Если Соня, пытаясь не мешать ему, пропускала часы своих занятий пением, это неизменно кончалось тем, что он выходил из кабинета и спрашивал: «Сонюшка, отчего ты не поёшь?»

Далеко не всегда удавалось Николаю Андреевичу позаниматься в вечерние часы: или надо было ехать в театр, в концерт, или идти к кому-нибудь на музыкальный вечер, или принимать гостей у себя. Иногда в течение дня он еще успевал присутствовать на репетициях оперных спектаклей или концертов или сам их проводил, а также участвовал в различных заседаниях. Гости обычно засиживались долго, а иногда и собирались только после спектакля или концерта, так что Николай Андреевич ложился спать поздно, а вставал, независимо ни от чего, всегда рано. Помимо этого, для него не существовало праздничных дней, он работал так же интенсивно в дни и официальных и домашних праздников, о чем свидетельствуют помеченные на листах его рукописей даты. В городе при таком напряженном режиме ему не удавалось уделять много времени собственным сочинениям. Зато летом на даче никакое другое дело не мешало его творческой работе.

В свои шестьдесят лет Николай Андреевич стал все больше задумываться о судьбе русской музыки. Однажды у Глазунова во время ужина, устроенного после концерта, как всегда, было много тостов и настроение у всех было приподнятое. А сидевший рядом со Стасовым Николай Андреевич вдруг обратился к нему с такими словами: «А знаете, что среди всех этих праздников, тостов, и поздравлений, и речей мутит и мучит меня по секрету, втайне души, неотступно? Знаете? Я вам скажу сегодня». И, показав на Глазунова, продолжал: «Он — последний между нами, и с ним кончается нынешняя русская музыка, русский новый период! Это ужасно!»

Присутствие на музыкальных вечерах у Римских-Корсаковых многих молодых людей вносило сильное оживление. На одном из вечеров сначала Николай Иванович Рихтер играл на рояле, затем Надежда Ивановна Забела пела арии и романсы, а после ужина «молодой Стравинский (записал об этом вечере Ястребцев) играл свои Комические песенки, а Рихтер напевал знаменитую и вместе с тем глубоко бессмысленную цыгансскую песню „Распаша“ и даже исполнил (к величайшему ужасу Надежды Николаевны) „Кек-уок“, причем Митусов и Стравинский презабавно представляли, как его надлежало танцевать. Вообще, сегодняшний вечер у Римских-Корсаковых прошел очень весело, интересно и оживленно».

1905 год. Консерватория

Еще в конце 1904 года начались студенческие волнения в Петербургском университете. Затем произошли печально известные события 9 января 1905 года. На все это, естественно, отозвалась и консерваторская молодежь. Начались сходки учащихся, возмущенных к тому же поведением одного студента, по фамилии Манец, хваставшегося своим участием в подавлении демонстрации.

Единственным из профессоров консерватории, тоже выразившим возмущение позицией этого студента, был Римский-Корсаков. Его, естественно, сильно тревожили происходившие события, и он даже просил на эту тему с ним не говорить, так как начинал очень волноваться.

О дальнейших событиях в консерватории и о своей в них позиции кратко, но вполне ясно рассказал в своих воспоминаниях сам Николай Андреевич:

«Начались экстренные заседания Художественного совета и дирекции. Я выбран был в число членов комитета для улажения отношений с волновавшимися учащимися. Предлагались всякие меры: изгнать зачинщиков, ввести в консерваторию полицию, закрыть консерваторию. Пришлося отстаивать права учеников. Споры, пререкания возникали все более и более. В глазах консервативной части профессоров и дирекции Петербургского отделения [Русского музыкального общества, которому подчинялась консерватория] я оказывался чуть ли не главою революционного движения среди учащихся. <...> Я напечатал в газете „Русь“ письмо, в котором укорял дирекцию в непонимании учеников и доказывал ненадобность существования дирекции Петербургского отделения и желательность автономии [консерватории]. Бернгард [директор консерватории] на заседании Совета занялся разбором и осуждением моего письма. Ему возражали, он сорвал заседание. Тогда значительная часть профессоров вместе со мною письменно предложила ему покинуть консерваторию. В результате всего оказалось: закрытие консерватории, удаление из нее более сотни учеников, уход Бернгарда и увольнение меня дирекцией [РМО] по постановлению Великого князя Константина Константиновича без ведома Художественного совета из числа профессоров консерватории. Получив такое увольнение, я напечатал об этом письмо в газете „Русь“ и вместе с сим отказался от почетного членства Петербургского отделения Музыкального общества. Тогда случилось нечто невообразимое. Из Петербурга, Москвы и изо всех концов

России полетели ко мне адреса и письма от всевозможных учреждений и всяких лиц, принадлежащих и не принадлежащих к музыке, с выражением сочувствия мне и негодования на дирекцию Русского музыкального общества. Ко мне являлись депутаты от обществ и корпораций и частные лица с теми же заявлениями. Во всех газетах появились статьи, разбирающие мой случай, дирекцию топтали в грязь, и последней приходилось очень скверно. <...> В довершение всего, учащиеся затеяли оперный спектакль в театре Комиссаржевской, долженствовавший состоять из моего „Кащея“ и концертного отделения».

Выбор этой оперы был не случаен: ее сюжет оказался как нельзя более созвучен настроениям волновавшейся молодежи. Гнетущая атмосфера Кащеева царства как бы отождествлялась с режимом самодержавия, а гибель этого царства в конце оперы воспринималась как желаемое освобождение от самодержавного гнета. Опера была разучена студентами консерватории и исполнена под управлением Глазунова 27 марта в помещении театра Комиссаржевской.

«По окончании „Кащея“, — продолжал Николай Андреевич, — произошло нечто небывалое: меня вызвали и стали читать мне адреса от разных обществ и союзов и говорить зажигательные речи. Говорят, что кто-то крикнул сверху: „Долой самодержавие!“ Шум, гам стояли неописуемые после каждого адреса и речи».

Как записал Ястребцев, «сильно смущенный Римский-Корсаков сказал, раскланиваясь и оркестру и публике: „Благодарю, господа, очень благодарю. Поверьте, я этого вовсе не заслужил“».

Далее Николай Андреевич писал: «Полиция распорядилась спустить железный занавес и тем прекратила дальнейшее. Концертное отделение не состоялось. Такое раздутое преувеличение моих заслуг и якобы необычайного моего гражданского мужества можно объяснить лишь возбуждением всего русского общества, которому хотелось в форме обращения ко мне выразить во всеуслышание накопившееся негодование против правительенного режима. Я был козлом отпущения. Чувствуя это, я не испытывал удовлетворяющего мое самолюбие волнения. Я ждал лишь, скоро ли окончится все это. Но это окончилось не скоро, а затянулось на целых два месяца. Мое положение было несносно и нелепо. Полиция распорядилась запретить исполнение моих сочинений в Петербурге. Некоторые провинциальные помпадуры сделали и у себя подобные распоряжения. В силу этого был запрещен и 3-й Русский симфонический концерт, на программе которого стояла увертюра к «Псковитянке». К лету сила

этого дурацкого запрещения начала мало-помалу слабеть, и на летних программах загородных оркестров стали появляться мои сочинения, ввиду моды на меня, в значительном количестве. Только в провинции усердные помпадуры или помпадурни по-прежнему считали их революционными еще некоторое время».

После представления «Кащея» в газете «Слово» появилась статья А. Оссовского с описанием произошедшего в театре и с такой фразой в конце:

«Конечный смысл всех речей был один: слава ныне и вовеки великому художнику и гражданину, позор поднявшимся на него».

«Итак, — записал Ястребцев, — наша консерватория оказалась отставленной от человека, имя которого составляет нашу гордость и пользуется европейской славой».

А в газете «Русь» было напечатано открытое письмо в дирекцию Русского музыкального общества за подпись девяноста московских музыкантов:

«Милостивые государи! Отныне выувековечили свои имена, доселе безразличные для летописей искусства, славой Герострата. Вы осмелились „уволить“ из состава профессоров Петербургской консерватории Н. А. Римского-Корсакова. <...> Но знайте: сколько бы вы ни вычеркивали это имя из ваших канцелярских списков и ведомостей, это имя будет озарять своим блеском всю Россию, весь мир. Позор не ему, уволненному, а вам, в безумной слепоте дерзнувшим поднять руку на гордость родного искусства — великого художника и безутречного гражданина».

Среди многочисленных сочувственных писем к Николаю Андреевичу от людей с именем было и одно от группы крестьян шести деревень Юрьевского уезда Владимирской губернии. Они писали:

«Уволенному профессору Римскому-Корсакову. Из газеты узнали мы, какую с Вами сделали несправедливость. Вашего имени мы до сих пор, по темноте нашей, не слыхали, да что уж: мы не знаем Вас, Вы не знаете нас, а все-таки вот пишем мы Вам, чтобы выразить Вам, что чувствуем. Поняли мы, что потерпели Вы за правду, за то, что не хотели слушаться незаконных приказов начальства да не хотели идти заодно с полицией. Правильно Вы поступили; мы, крестьяне, предъявляем Вам свое сочувствие за постигший Вас инцидент».

Примечательно, что к этому письму были приложены собранные ими в пользу потерпевшего два рубля семнадцать копеек! Хотя сумма была невелика, Николай Андреевич передал эти деньги на вспомоществование голодающим в то время крестьянам Тульской губернии.

Всего Николай Андреевич получил сорок шесть сочувственных телеграмм от частных лиц и учреждений. Лишь от Балакирева и Юи никакой реакции не последовало. Это возмутило Стасова, и он написал Цезарю Антоновичу:

«Какая разница огромная между Юи — композитором поэтических и любовных созданий и Юи — участником действительной жизни! Вся Россия покрывает Римского-Корсакова лаврами, <...> все летят к нему сердцем и благодарностью... Ну, Балакирев давно уже заржал в иссох. А Вы, Вы?. Чего это.. Позор и срам какой!!!!»

В начале апреля в Воронеже во время концерта певцов Касторского и Лабинского, когда они стали исполнять романсы Римского-Корсакова, с мест раздались крики: «Встать!» — и все слушали его произведения стоя, а по окончании концерта восторженная публика пронесла артистов по залу с криками: «Да здравствует Римский-Корсаков!» — и с шумными овациями, повторившимися на улице.

Всех, выразивших в той или иной форме сочувствие, Николай Андреевич поблагодарил через газету «Русь». В знак протеста против действий дирекции РМО Глазунов и Лядов, а затем и некоторые другие преподаватели ушли из консерватории. Занятия были прекращены, а Николай Андреевич и ряд других профессоров стали заниматься со своими консерваторскими учениками у себя на дому.

В довершение всего 1 мая Николай Андреевич получил из Нью-Йорка предложение преподавать там теорию композиции на выгодных условиях.

«Конечно, не поеду», — сказал он.

Александр Ильич Зилоти, пианист и дирижер, ученик Н. Рубинштейна, Ф. Листа и П. Чайковского, организатор симфонических концертов, подал идею Глазунову, Римскому-Корсакову и Лядову, покинувшим консерваторию, основать Высшие музыкальные курсы. Ими был разработан устав таких курсов, но это намерение не осуществилось. Требовалось разрешение генерал-губернатора, который посчитал, что если во главе нового учебного заведения будет Н. А. Римский-Корсаков, то там «сгруппируется состав учащихся нежелательного, в интересах порядка, направления». Кроме того, им предлагали открыть не высшие курсы, а школу.

Генерал-губернатор запросил мнение по этому поводу дирекции Императорского Русского музыкального общества. Но своим официальным ответом генерал-губернатору дирекция общества устранилась от высказывания своего отношения к этому делу, сообщив, что данный

вопрос не в ее компетенции, хотя устроителям курсов было ясно, что дирекция РМО не поддержит их намерения. Зилоти настаивал на продолжении хлопот, а Николай Андреевич писал ему:

«Мы хотели открыть высшие курсы, а нам приказывают открывать школу. <...> Нам не разрешают открыть то, что мы хотим, — ну, так и не надо». Вскоре к задуманному все охладели.

В начале декабря 1905 года состоялось первое заседание художественного совета консерватории, получившей автономию. На этом заседании тайным голосованием ее директором был единогласно избран Глазунов. Лишь один голос был против, и он принадлежал, видимо, самому Александру Константиновичу. Было также составлено обращение к Римскому-Корсакову с просьбой вернуться к преподаванию в консерватории.

Николай Андреевич после девяти месяцев перерыва вернулся в число профессоров консерватории, но до конца учебного года продолжал заниматься со своими учениками у себя дома.

Глазунов предложил отметить день 40-летия музыкальной деятельности Римского-Корсакова, 19 декабря, концертом из его сочинений. Но Николай Андреевич просил этот концерт не устраивать, так как *«в такую минуту, как теперь, когда в Москве происходят такие ужасы, всякие манифестации, а тем более „внemузикальные“ ему были бы невыносимы»*.

19 декабря Римские-Корсаковы всей семьей были днем в Мариинском театре на генеральной репетиции «Моцарта и Сальери». Затем Николай Андреевич давал у себя дома урок консерваторским ученикам и Игорю Стравинскому.

«Летопись музыкальной жизни»

В начале июня 1905 года Николай Андреевич писал Надежде Николаевне:

«Я принялся за писание воспоминаний, так как музыка как-то в голову нейдет и к сочинению не чувствуется никакой охоты. <...> Постараюсь подвинуть воспоминания. Когда я их перечитываю, то кажется, что они в общем будут небезинтересны». Воспоминания «будут называться „Летопись моей музыкальной жизни“». Здесь мне удалось записать 1880–81 и 82 годы. Хотелось бы довести до 1892 г., с которого у меня запись опять имеется. Кроме того, у меня пусто между 1865 и 1872 годами. Все это вспомнить — большая работа».

Приближалась тридцать третья годовщина свадьбы Надежды Николаевны и Николая Андреевича. Они неизменно сохраняли взаимные, одинаково глубокие чувства, оба вспоминали об этом событии и даже писали друг другу теми же словами:

Дорогой Ника, эту посткарту, по моему расчету, ты получишь в день нашей свадьбы. В первый раз мы проведем этот день не вместе. Грустно, что нас разделяют тысячи верст. <...> Целую и обнимаю тебя крепко. Как ты проведешь 30 июня — напиши. Я буду думать о тебе?

Твоя Н. Р.-К.

«Милый друг, быть может, письмо это придет к тебе в день нашей свадьбы, который на этот раз мы проведем поодаль друг от друга. Обнимаю тебя крепко и целую, а 30 числа буду думать о тебе усиленно, хотя и все это время мысль о вас двоих неотступно следует за мной. Будь здорова, душа моя.

Твой Н. Р.-К.».

А в самый день свадьбы Николай Андреевич писал:

«Милый друг, Надюша, сегодня 30 июня — наш день. Ты писала мне, спрашивая, как я проведу его. Провел я его обычным образом, да иначе и быть не могло: погода дурная, сначала еще были просветы солнца и промежутки между дождем, а к вечеру ветер стих, все небо затянуло, и безостановочно сеет мелкий дождь. <...> Летопись свою пока приостановил, но по окончании разбора Пролога [«Снегурочки»] опять за нее примусь. Вообще, мне думается, для меня пришла пора начать заниматься музыкально-литературным трудом вместо сочинения музыки, в котором весьма боюсь и не желаю ослабления и понижения. Во всяком случае, после 10 лет усиленного творчества (с 1894 года) следует или прекратить, или подождать значительно. Ведь в прежние годы у меня бывали промежутки, а за последние 10 лет их не было. Сверх того, музыка нынче начинает вступать в какой-то новый и непонятный фазис своего развития (Штраус, д'Энди, Дебюсси и проч.). А я и многие из нас — деятели иного, предшествовавшего периода. Не пора ли оглянуться и подсчитать итоги, а не тщиться прымыкать к чему-то чуждому? <...> Обнимаю тебя крепко, дружочек мой милый. А ты как провела сегодняшний день?»

Надежда Николаевна отвечала:

«Вчера, в день нашей свадьбы, Андрей поднес мне букет из дивных роз. Их все еще здесь множество. Как жаль, что нельзя тебе их переслать. А погулять нам вчера не удалось — дождь помешал».

В письме к Ястребцеву Николай Андреевич сообщал: «*К сожалению, я действительно не интересен в нынешнее лето, ибо в интересном положении не нахожусь* <...>. Занимаюсь-то я занимаюсь, но не сочинением музыки и даже не оркестровкой старых сочинений. <...> Занимаюсь Летописью, критикой „Снегурочки“, руководством оркестровки и т. п., перебрасываюсь с одного на другое и ленюсь тоже».

Писал Николай Андреевич и к Лядову, и тот ему отвечал:

«*В Вашем письме между строк я прочел, что Вы и скучаете, и как будто недовольны собой. Не сочиняете? Помните, милый, что каждая Ваша нотка, даже среднего достоинства, — драгоценна, а потому пишите и пишите. Все Вами сделанное надо в вату и под стекло, чтобы не тылилось и сохранялось как можно дальше*».

И Владимиру Ивановичу Бельскому, приглашая его приехать в Вечашу, Николай Андреевич писал:

«*Я на этот раз субъект совсем не интересный — нотки не сочинил*».

Стасов, которому был уже восемьдесят один год, тяжело переживал почти одновременную смерть двух близких ему молодых людей — родственников. Он жаловался Николаю Андреевичу:

«*Что же мне-то самому предстоит? Ведь „очередь“ все ближе и ближе! Ужасно, ужасно, ужасно*».

На это Николай Андреевич отвечал ему по поводу смерти:

«*Скажу вам, что и я об ней частенько думаю, ибо она может взять да и прийти. Но я смотрю иначе, чем вы, и полагаю, что если доживу до 80 лет, то не изменю своего взгляда, который у меня сложился давно. Смерти я не боюсь, хотя расставаться с жизнью всегда жалко. Но смерть есть сама по себе удивительно прекрасная вещь. Стоит только подумать, что может быть ужаснее вечной жизни? Все будут умирать, а я буду жить! Да это ужасно. А если никто не будет умирать и все будут жить вечно, так ведь это станет похоже на рай земной или на царствие небесное. Боже, какая неинтересная скужа. Для чего же тогда жить? Чтоб не развиваться, стоять на месте? Рождения и развития нельзя себе представить без умирания, а чего представить себе нельзя, так и не надо. А как хорошо, что нет будущей загробной жизни (я верю в то, что ее нет). Каково было бы смотреть оттуда, как то, над чем трудился и что любил, умирает и забывается или если и не умирает, то рассасывается и испаряется. Любил я, положим, Глинку, и вот пришло время, когда Глинку забыли, и он стал никому не нужен. И какая справедливая эта смерть, этот абсолютный О! Ни наград, ни мщения. Да, это лучший акт*

милосердия Божия. Ну, а пока живется, надо жить, и жизнь любить надо, и я ее люблю и умирать не желаю и нахожу, что все устроено наилучшим образом, ибо как только я своим малым умам начну обдумывать и проектировать переделки — так ничего и не выходит. Итак, желаю вам жить да здравствовать еще долго и продолжать делать то, что вы делали до сих пор, и пусть много ваших сочинений будет еще подлежать изданию. Простите, что зафилософствовался, но это так... Быть может, и у меня на носу шишка, как у алжирского бея. Во всяком случае, у всякого петуха под крылом своя Испания».

22 августа 1906 года Николай Андреевич закончил свои воспоминания, написал последние строчки:

«Летопись моей музыкальной жизни доведена до конца. Она беспорядочна, не везде одинаково подробна, написана дурным слогом, часто даже весьма суха; зато в ней одна лишь правда, и это составит ее интерес. С приезда в Петербург, быть может, осуществится давно желанная мною мысль писать дневник. Продлится ли долго он, кто знает?»

Riva sul lago di Garda
22 августа старого стиля 1906 г.
Н. Р.-Корсаков».

«Золотой петушок»

Как ни уверял всех Николай Андреевич, что к сочинению музыки у него больше нет охоты, видимо, творческое вдохновение приходило к нему действительно совершенно неожиданно. 15 октября 1906 года в его нотной записной книжке появились первые музыкальные фразы для новой оперы — крик петуха: «Кири-куку, царствуй, лежа на боку». Он решил сочинять оперу «Золотой петушок» по сказке А. С. Пушкина. И вот он пишет Бельскому:

Нет ни службы, ни работы
В день торжественный субботу,
Двадцать первый октября,
Ни на что не посмотря,
К Вам сбираюсь на минутку,
В третьем часе меня ждите
(Коль нельзя, то напишите).
Сочинять хочу не в шутку
«Золотого петуха».
Хи, хи, хи да ха, ха, ха.

Так, 21 октября состоялся первый разговор композитора и либреттиста о новой опере.

В «Петербургской газете» появилась заметка о том, что он сочиняет оперу «Илья Муромец» и просил П. И. Вайнберга составить либретто, но тот из-за нездоровья отказался. В «Русской музыкальной газете» эта публикация была справедливо названа вздорной, было сообщено, что Римский-Корсаков пишет оперу «Золотой петушок». Таким образом, о новом сочинении Николая Андреевича были оповещены все. Сочинение же подвигалось все так же неравномерно; 8 апреля он писал Бельскому: *«Ци-ри-ци, ци-ри-цу-цу, не могу прийти к концу»*.

Вскоре Николай Андреевич показал собравшимся у него друзьям первый акт «Золотого петушка».

На законченной 29 августа 1907 года партитуре «Золотого петушки» Николай Андреевич поставил в ее конце четыре даты: *«25 авг. (1 час 45 мин.)»*; *«26 авг. (11 час. 45 мин.)»*; *«28 авг.»*; *«29 августа, когда все было кончено»* (последняя — на эпилоге).

31 августа Надежда Николаевна писала старшему сыну:

«Папа третьего дня поставил последнюю точку в „Золотом петушке“. 3-е действие он оркестровал необыкновенно быстро. <...> Папа вообще чувствует себя хорошо, только глаза его меня беспокоят. У него опять появились круги и вообще глаза в неважном состоянии».

Парижские сезоны

В 1907 году С. П. Дягilev задумал провести в Париже серию Русских симфонических концертов и рассчитывал на участие в них Римского-Корсакова. Николай Андреевич весьма сочувствовал этому, считая необходимым знакомить французов с русской музыкой, но сам ехать в Париж не хотел. Расстроенный намерением Николая Андреевича остаться в стороне, Сергей Павлович писал ему:

«Ради Бога, согласитесь на нашу просьбу. Путешествие это не будет для Вас утомительно, мы окружим Вас всеми возможными заботами о Вас, будем к Вашим полнейшим услугам, а Вы нам сделаете величайшее одолжение и поможете нам, как никто другой помочь не может».

Это письмо достигло своей цели. Николай Андреевич отправился к Дягилеву и, не застав его дома, оставил свою визитную карточку, написав на ней: *«„Ехать так ехать,“ — сказал попугай, когда кошка тащила его из клетки»*.

28 апреля Николай Андреевич вместе с Надеждой Николаевной, Андреем, Володей и Надей выехали поездом в Париж.

В первом из пяти парижских Русских исторических концертов исполнялась сюита из «Ночи перед Рождеством» под управлением автора.

В программу второго концерта вошли вступление и две песни Леля из «Снегурочки» и «Ночь на горе Триглав» из «Млады», исполнявшиеся тоже под управлением Николая Андреевича. В третьем концерте сыграли сюиту из «Сказки о царе Салтане»; в пятом — заключительными номерами программы были интродукция и сцена в подводном царстве из «Садко». Этими произведениями Николая Андреевича дирижировал Артур Никиш.

За время пребывания в Париже Николай Андреевич и Надежда Николаевна слушали в театре «Шатле» оперу Рихарда Штрауса «Саломея», дававшуюся под управлением автора.

«Это такая гадость, — писала Надежда Николаевна старшей дочери, — какой другой не существует на свете».

Они провели один вечер у Скрябина, показывавшего свою Поэму экстаза; были в Opéra Comique, где слушали оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда», после этого Николай Андреевич сказал Дягилеву:

«Не заставляйте меня больше слушать ужасы такого рода, я кончу тем, что полюблю их!»

В Петербург вернулись 24 мая. Через некоторое время в «Русской музыкальной газете» появилась статья о Русских концертах в Париже, в которой говорилось:

«Автор [Римский-Корсаков], лично дирижировавший некоторыми отрывками, явился героем концертов, вызвавшим наиболее шумные и горячие овации. Особенный успех вызвали „Ночь на горе Триглав“ и 3-й антракт из „Салтана“.<...> Это были не исторические концерты русской музыки, но торжество Римского-Корсакова в Париже».

Пора было ехать на дачу, которую на лето 1907 года сняли в усадьбе А. В. Бухаровой Любенске.

Дневник

В ноябре 1907 года было получено известие, что Николай Андреевич избран членом-корреспондентом парижской Академии изящных искусств. В официальном письме секретаря этой академии сообщалось, что Римский-Корсаков избран ее членом-корреспондентом на место, освободившееся со смертью Эдварда Грига, скончавшегося 4 сентября (н. ст.) 1907 года в Бергене.

В дневнике Николая Андреевича, который он начал вести еще в марте 1904 года, записей оказалось очень мало. Что их не было до 22 августа 1906 года — это еще понятно, так как он был занят своей «Летописью». Но что-то мешало ему вести дневник и по ее завершении. Сначала он был слишком поглощен сочинением «Золотого петушка». Ведь в свое время и «Летописью» он занимался в промежутках между сочинением музыкальных произведений. А по окончании «Петушки» у него уже не было настроения вести дневник из-за дававшего себя знать нездоровья. Новая запись появилась в его дневнике лишь 28 ноября 1907 года:

«Вчера на репетиции концерта Зилоти пробовали мою „Неаполитанскую песенку“; присутствовали Лядов, Глазунов, Бельский, Оссовский, Ястребцев, В. П. Зилоти, Штейнберг и Надя. Пьеса была проиграна два раза. Пьеса оказалась дрянь дрянью. Лучшее, что было в ней, — это сама ничтожная мелодия песенки; вариации, коротенькая разработка и небольшая кода — ничтожны и сочинены механически расчетливо; оркестровка не удалась, лятивры в коде, играющие трехнотный мотив, звучали неясно. Вообще эффекту никакого. Грустно мне стало. Пьесу я уничтожу, но следует ли сочинять на старости лет? Не лучше ли другим заняться, более плодотворным? Нельзя же заниматься одним чтением, не производя ничего, можно умереть со скуки. Сочинять от скуки — грех. Попробую приняться за дневник или летопись того, что вокруг меня происходит. Быть может, это заполнит до некоторой степени жизнь».

Еще одну, незначительную запись Николай Андреевич сделал на следующий день, и на этом дневник оборвался.

30 ноября Николай Андреевич был на двенадцатом, последнем представлении «Сказания о невидимом граде Китеже и деве Февронии» в Мариинском театре.

Последние дни

1907 год

Декабрь

У Николая Андреевича сделался бронхит и припадки кашля стали сопровождаться удушьем, появилась одышка, мешавшая скорой ходьбе, и чувство утомления, не позволявшее интенсивно чем-либо заниматься. Это его сильно удручало, он сделался раздражительным. Несмотря на незддоровье, не хотел обращаться к доктору. В конце декабря он писал Бельскому:

«Я сижу дома все эти дни, ибо маленько простудился и приобрел маленький бронхит, а к этому примешалось значительное затруднение дыхания, к которому я вообще склонен».

1908 год

Январь

С первых чисел января Николай Андреевич начал выходить на воздух, но занимался мало, больше читал. В частности, прочел «Тьму» Леонида Андреева. «Это какая-то сплошь отвратительная вещь, — сказал он Ястребцеву, — вонь и грязь, и больше ничего. Зато теперь я с особым удовольствием зачитываюсь Чеховым, и он мне все более и более начинает нравиться».

В то время получила известность американская танцовщица Айседора Дункан. Николай Андреевич ни разу не видел ее выступлений, но высказался о ней так:

«Вероятно, она весьма грациозна, прекрасная мимистка и проч., но что меня от нее отталкивает — это то, что свое искусство она навязывает и присоединяет к дорогим сердцу моему музыкальным произведениям, которые вовсе не нуждаются в ее обществе и авторы которых на сие не рассчитывали. Как я был бы огорчен, если бы узнал, что г-жа Дункан танцует и мимически объясняет, например, мою „Шехеразаду“, „Антара“ или Воскресную увертюру. <...> Вообще, мимика не есть самостоятельный вид искусства и может лишь сопровождать слова или пение и, привязываясь, непрошеная, к музыке, только вредит последней, отвлекая внимание от нее».

Николай Андреевич несколько окреп, и 9 января состоялась очередная «среда», на которой собралось двадцать семь человек гостей.

Февраль

15 февраля в Большом театре состоялось представление «Китежа», первое после переноса этой оперы в Москву. Николай Андреевич в этот раз ни на репетиции, ни на премьеру в Москву не ездил, и его волновало, как пройдет его опера в постановке московского режиссера.

Из письма С. Н. Кругликову: «Простуда, обострение кашля и т. п. прошли давно, но с этой зимы что-то другое дает себя чувствовать. Это другое подготавливается издавна. Дурно дышу, затыхиваюсь из-за пустяков, с одной стороны, а с другой, завелись припадки неполного, мелкого дыхания: дышать всего на одну третью в глубину, а полного вздоха сделать не можешь, и это весьма удручет».

Занимался корректурой «Золотого петушка» для издания, а также «Снегурочки» и «Бориса Годунова» для постановки этих двух опер в Париже.

27 февраля. Принятый к постановке в Большом театре «Золотой петушок» должен был пройти цензуру.

Из телефонного разговора с Ястребцовым: «Театральная (драматическая) цензура многое перемарала в „Петушке“. Сперва либретто было получено чистым, но затем (вероятно, по чьему-либо доносу) на следующий же день его снова потребовали в цензуру, и получили вот какой результат: вычеркнутыми оказались Пролог, Эпилог, многие слова Пушкина („Царь вуй, лежа на боку“, „Ждем погрома с юга, глядь, а н с востока лезет рать“ и проч.), и при этом было кое-что оставлено гораздо более жестокое. Этакие дураки. Я почти убежден, что они толком не знают самой пушкинской сказки».

Март

6 марта. Вечером к Римским-Корсаковым пришли друзья и родные поздравить Николая Андреевича с его 64-летием. Были, конечно, Лядов и Глазунов, Стравинские, Бельский, Лапшин, Михаил Николаевич с женой, Арцыбушев.

В этот вечер Лядов сказал Николаю Андреевичу, что он своего рода ископаемый ихтиозавр по сравнению с современными художниками: «Теперь кругом какой-то песочек и черепки. Нет более громадных гор и исполнинских ландшафтов».

8 марта. Николай Андреевич присутствовал на третьем Русском симфоническом концерте, после которого друзья собрались у Римских-Корсаковых, чтобы еще раз отметить день рождения композитора.

Этот оживленный вечер оказался последним многолюдным собранием в доме Римских-Корсаковых.

Дягilev готовился к следующему «Русскому сезону» в Париже и заказал В. А. Серову сделать для афиши портрет Николая Андреевича, без участия которого не мыслил свои парижские «Русские сезоны». В один из дней в середине марта Серов пришел к Римскому-Корсакову и очень быстро, в два сеанса, нарисовал углем его портрет, ставший впоследствии широко известным. На замечание кого-то из родных Николая Андреевича, что портрет этот носит характер иконописного лика, Валентин Александрович ответил: «Так и надо, пускай французы на него молятся».

Из письма издателю Б. П. Юргенсону по поводу цензурных поправок «Золотого петушка»:

«...Считаю, что ни в клавире, ни в либретто никаких изменений делать не должно. Клавир и партитура должны остаться в оригинальном виде на вечные времена, а либретто тоже сохранить следует. В старинном романе Поль де Кока маменька обязывает дочку всегда вместо слова *atoing* употреблять слово *topinatbour* [земляная груша]; ну так пусть и у нас на сцене будет».

Апрель

Несмотря на явную усталость, Николай Андреевич обдумывал, за какой сюжет взяться ему для следующей оперы.

«Мне надо что-нибудь простое, ясное и определенное в смысле драматической тьесы. Демонические лица не по мне. Отрицание, великая гордыня и т. п. меня не тешат. <...> Лучше бы русское, народное, но можно и вне народности (как „Моцарт и Сальери“). Мне надо отдохнуть, развлечься, а не миры разрушать и против Бога восставать. Да наше искусство и не в состоянии это сделать. Литература может: ей нипочем вратъ, не зная меры».

11 апреля. Сделался сильный приступ удушья. Сразу же вызвали докторов Бородулина и Спенглера. Вскоре Николаю Андреевичу стало лучше. Доктора установили, что у него был приступ сердечной астмы, или, как тогда называли, грудной жабы. Незадолго до этого познакомившийся с Николаем Андреевичем доктор Лазарев сказал тогда, что его землистый цвет лица и расширение груди во время разговора — это плохие симптомы.

Николай Андреевич попросил послать за Лядовым. Тот пришел и застал композитора лежащим в халате на диване в кабинете.

«В настоящую минуту я поправился, хотя голова немного слаба; скверно то, что отвратительный приступ, случившийся со мной, неизбежно когда-нибудь повторится, и не один раз, и что, очевидно, я связан с этим на весь остаток жизни. А пока все ладно».

Следующие дни Николаю Андреевичу было лучше, но он все еще чувствовал большую слабость. Его навещали друзья, приходил Лядов. Он сообщал о своем посещении:

«Это ведь болезнь такая, что сегодня хорошо, а завтра „со святыми упокой“. Он был очень доволен, когда я похвалил его „Петушка“. Он сказал: „Вот это мне большой подарок на праздник“ [приближалась Пасха].

Заходил, конечно, и Ястребцев, которому Надежда Николаевна сказала, что он необыкновенно хорошо влияет на Николая Андреевича,

который в его присутствии всегда оживляется. На это Василий Васильевич ответил, что, видимо, Николай Андреевич чувствует, как он искренне, всем своим существом его любит.

15 апреля. Под вечер к Римским-Корсаковым снова зашел Ястребцев, были там и Рихтер, и Штейнберг. После общего обеда перешли в гостиную, и Николай Иванович Рихтер сыграл второй акт «Золотого петушка». Василий Васильевич записал:

«Около трех четвертей девятого Римскому-Корсакову, видимо, захотелось прилечь, и он, ничего не говоря, потихоньку встал с дивана и прошел к себе в кабинет. Ходя по зале, я видел, как он сперва было подошел к окну, а затем, постояв недолго у него, медленно направился к дивану. (В кабинете было темно.) Он уже лежал, когда я зашел к нему, чтобы проститься; последние его слова были: „Заходите, голубчик“. <...> Уходя, я осторожно прикрыл, по просьбе Надежды Николаевны старшей, дверь кабинета, и при этом мне сделалось вдруг как-то необыкновенно жутко и грустно. И тема колыбельной из „Петушки“ еще долго звучала у меня в голове и мучительно сжимала мне сердце».

16 апреля. Новый сильный приступ удушья не заставил себя долго ждать, он случился под утро следующего дня. Боль отпустила только после впрыскивания морфия. Николаю Андреевичу был предписан полный покой, посетителей было велено к нему не допускать. Ему запретили пить его любимый кофе и курить. Из-за этого он чувствовал себя глубоко несчастным. Николай Андреевич из спальни не выходил, лежал в постели или сидел в халате тут же рядом, в кресле. Каждый день к Римским-Корсаковым заходили узнать о здоровье Николая Андреевича Лядов и Глазунов, заходил и Кюи.

21 апреля. В газетах «Слово» и «Речь» появились заметки о болезни Римского-Корсакова.

Из письма Надежды Николаевны Кругликову:

«К несчастью, газеты не соврали. Николай Андреевич действительно серьезно заболел сердечной астмой. У него было два сильных и очень мучительных приступа удушья. Первый был на спастной неделе. Если б он после него поберегся и дал бы себе полный покой, то весьма вероятно, что второго приступа бы не было или, по крайней мере, он не наступил бы так скоро. Но Н.А. так привык к подвижности, к деятельности, что, несмотря на все старания, его нельзя было заставить полежать и никого не принимать. И вот на Святой, со вторника на среду, сделался второй приступ, после которого он

очень ослабел. Тут уже доктора (был консилиум из трех) абсолютно запретили ему всякие движения, занятия и приемы гостей, и он послушался. Сегодня 6-й день, что он не выходит из спальни, лежит или сидит в кресле и ничем не занимается; курить совсем бросил, кофе не пьет и мяса не ест. <...> Вся семья окружает его и старается своим уходом сделать все, что только в ее силах. Сегодня мы все ожили, так как он чувствует себя лучше».

Постепенно Николаю Андреевичу становилось лучше, и, не умея сидеть без дела, он просил у доктора разрешение просматривать корректуру «Золотого петушка», а затем начал заниматься своим руководством по инструментовке. Были разрешены и посещения его, но только по одному посетителю в день. Первым был принят Глазунов, вторым Лядов, третьим Ястребцев. Постепенно и посещений стало больше, Николай Андреевич уже ходил по комнатам.

Май

2 мая. Василий Васильевич Ястребцев заходил к нему, после чего записал:

«Говорили о том, что Римский-Корсаков сегодня чувствует себя отлично, как давно уже не чувствовал, утром довольно много занимался по оркестровке в кабинете. <...> Сегодня Николай Андреевич был уже в тандже, прохаживался по комнатам, выглядывал в дверь из столовой, когда я вошел в залу, и долго сидел в гостиной».

По желанию Николая Андреевича и, как предполагалось, для его пользы решили как можно раньше отправить его в Любенск, в имение, приобретенное ими за год до этого.

«Впрочем, — говорил он Ястребцеву, — мне и там, по всей вероятности, придется ходить <...> до ближайшей скамейки. Как это все тяжело и скучно!»

В тот же день Надежда Николаевна писала Кругликову:

«Н.А. очень окрен, ходит, хотя и тихими шагами, по всем комнатам, занимается делами, принялся опять за учебник инструментовки. Кашель у него совершенно прошел, сердце работает лучше».

6/19 мая. Премьера «Бориса Годунова» в оркестровке Н. Римского-Корсакова. Париж, Grand Opera.

7/20 мая. Премьера «Снегурочки». Париж, Opéra Comique.

8 мая. Управляющий московской конторой императорских театров фон Бооль сообщил Римскому-Корсакову, что «Золотой петушок» в репертуар будущего сезона не включен.

9 мая, Николин день. Многие пришли поздравить его с днем именин, но большинству пришлось отказать в приеме из-за его усталости. Он получил массу цветов, что очень его радовало. Он говорил, что «истинный художник не может не любить цветов, не любоваться их красотой, не восхищаться их ароматом».

21 мая. Переезд на дачу в Любенск.

31 мая. Николай Андреевич несколько окреп, немного ходил по комнате и, пользуясь хорошей погодой, сидел на балконе. Надежда Николаевна решила пригласить к ним на лето врача для наблюдения за здоровьем Николая Андреевича. Но он всячески этому сопротивлялся.

Июнь

Из письма от 2 июня С. Н. Кругликову:

«В настоящую минуту я снова подправился, выхожу не только на балкон, но и в сад, причем хожу весьма медленно и в малом количестве. Третий припадок навел меня на печальные размышления, что, несмотря на лечение и предосторожности, от ненавистных припадков я оказываюсь далеко не застрахован. Ну, что ж делать! Начал заниматься; постараюсь подвинуть давно задуманное руководство или заметки по оркестровке. Радуюсь, что „Золотой петух“ вам нравится. <...> Послезавтра Надина свадьба, затrostо, по-деревенски. Время хорошее: сирень, акация, яблони в цвету, погода только изменчива».

4 июня. Венчание дочери Надежды и Максимилиана Осеевича Штейнберга в сельской церкви неподалеку от Любенска.

Николай Андреевич чувствовал себя неплохо, но на венчание не ездил, оставался дома с Софьей Николаевной. Деревенские девушки встречали молодых у ворот усадьбы, а Николай Андреевич — у порога дома и по обычанию посыпал их овсом.

5 июня. Письмо от В. А. Теляковского: *«Московский генерал-губернатор против постановки этой оперы [«Золотого петушка»] и сообщил об этом в цензуру, а потому думаю, что и в Петербурге будут против».*

Переживания из-за неудачи с постановкой «Золотого петушка» вызвали еще один, хотя и не сильный, припадок удущья.

6 июня. Николай Андреевич продолжил работу над руководством по оркестровке и был внешне спокоен. Он написал письмо о печальной судьбе «Золотого петушка» Б. П. Юргенсону, спрашивал его, не попробует ли он через Мишеля Кальвокоресси, французского музыканта

и пропагандиста русской музыки, посодействовать постановке «Золотого петушка» в Париже (где недавно с большим успехом исполнялись отрывки из этой оперы в концерте). Это письмо оказалось последним в жизни Николая Андреевича.

В эти дни он был окружен всеми членами своей семьи. Приехал в Любенск и старший сын Михаил, которому предстояло отправиться в командировку. Напуганные припадком, случившимся в ночь на 6 июня, все старались следить за каждым шагом, каждым движением Николая Андреевича. Приезду старшего сына он был страшно рад и много с ним разговаривал.

7 июня, Николай Андреевич долго занимался и написал заключение своего руководства (на этой его рукописи стоит последняя авторская дата). В тот день он много гулял по саду и считал, сколько раз он ходил с балкона в сад; гулял медленно и, всходя на балкон, останавливался на каждой ступеньке по пятнадцать секунд.

Ночь с 7 на 8 июня.

Из воспоминаний Андрея Николаевича: «*Был чудесный июньский день. Любенский сад-парк был напоен благоуханиями. Задержанная майскими холодами весна с третьей четверти мая вступила в полный разгар. Сотни яблонь, аллеи лиловой и белой сирени, кусты душистых китайских тионов, ягодные кусты, акация и свежая зелень столетних дубов и берез — все это превращало влажный воздух парка в подобие густой насыщенной атмосферы оранжереи или парника. Во всех комнатах и на балконе красовались огромные букеты цветов. Необычайный эффект представляло море огромных яблонь, залитых, как малоком, бело-розовым цветом (этих яблонь в любенском саду было свыше тысячи); их окаймляли лиловые дорожки сиреневого цвета по краям. Н. А. с балкона восхищался всей той райской симфонией красок и запахов. К концу дня Н. А. с палкой, в люстриновом пиджачке и в своем обычном головном уборе — синей кепке — медленным шагом спустился по нескольким ступенькам в сад и такой же медленной, размеренной поступью в сопровождении Михаила Николаевича обошел все свои любимые места в саду („простился со всем“ говорили на следующий день служащие Любенска).*

Затем Николай Андреевич долго сидел на скамейке за воротами усадьбы и любовался столь милыми его сердцу красками заката солнца. После чая он немного поиграл на рояле, стоя, затем проследовал в спальню.

«К ночи, — продолжал свои воспоминания Андрей Николаевич, — воздух стал предвещать грозу. В комнатах чувствовалась тягостная духота. Спать было трудно, несмотря на раскрытые окна. Белая ночь томила и наполняла смутными тяжелыми предчувствиями.

Около начала третьего в коридоре послышались торопливые шаги и стук в дверь. А через минуту мы с братом были напротив, в комнате отца. Он сидел около кровати на кресле и мучительно тяжело дышал коротким дыханием, требуя впрыскивания морфия. Н.Н. грела воду для ног. <...> Делом нескольких минут было прокипятить шприц и отдать распоряжение о посылке верхового к врачу за несколько верст. Мы с братом сделали два впрыскивания — морфия и камфоры. Но вопреки ожиданию желанное облегчение не приходило.

В это время за окнами раздался короткий и сильный удар грома, а вслед за ним шум начавшегося летнего ливня. Несколько минут страшного, томительного беспокойства... Вдруг короткие, быстрые вздохи сменились длинным хрипящим выдохом, взор Н.А. остановился, и в сознание окружающих врезалась мысль: «Смерть»... Только через час или более, когда я составлял текст телеграммы Глазунову и перед глазами запрыгали слова: «Сегодня в ночь после припадка скончался Николай Андреевич», у меня градом полились слезы».

Когда приехал доктор, все уже было кончено, он лишь выписал свидетельство о смерти.

Вспоминал о кончине Николая Андреевича и Владимир Николаевич:

«Помню папино лицо, как оно менялось, когда уходила жизнь, и потом, когда он лежал убранный и окруженный букетами сирени в большой комнате любенского дома».

10 июня. Гроб с телом Николая Андреевича был перевезен в Петербург и установлен в церкви консерватории.

11 июня. Отпевание и похороны Н. А. Римского-Корсакова на кладбище Новодевичьего монастыря.

Над могилой своего учителя и друга Александр Константинович Глазунов сказал:

«Мы потеряли одного из людей, подобных которому не было и, может быть, больше никогда не будет. Николай Андреевич был великий гений с пытливым умом и высокой душой. Он всегда стремился к возвышенному идеалу».

В петербургских газетах появилось много заметок и статей с подробным описанием всех событий, связанных с кончиной и похоронами Римского-Корсакова.

ПАМЯТИ Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА
сонет

Баян умолк... Слеза его аккордов
Еще блестит кристаллом неземным,
Как всплески вод таинственных фиордов,
Как над грехом безгрешный Серафим!
Он жизнь отпел... Душа вспорхнула гордо
На небеса эфиrom голубым.
Перенеси удар, отчизна, твердо,
Воспой его, как ты воспета им!
Пусть задрожит в сердцах народных арфа
И воспоют творца Садко и Марфы.
Снегурочка воскреснет в Мая ночь;
Раздастся гимн торжественных созвучий,
Он загудит, живящий и могучий,
Прославив песнь, — нам мать, Баяну дочь!

Игорь Северянин

Послесловие

Мемориальный музей-квартира Николая Андреевича Римского-Корсакова открылся 27 декабря 1971 года в последней петербургской квартире композитора. Семья Римских-Корсаковых поселилась в доме № 28 по Загородному проспекту осенью 1893 года. Внешне ничем не примечательный пятиэтажный флигель был расположен в глубине двора, окружен зеленью и удален от городского шума. Квартира № 39 находилась на третьем этаже. Здесь Николай Андреевич прожил 15 необычайно плодотворных лет жизни.

После событий октября 1917 года Надежда Николаевна Римская-Корсакова, вдова композитора, пережила все трудности революционного времени. Сохранять за собой большую квартиру площадью почти 300 квадратных метров было все сложнее. Как вспоминал внук Николая Андреевича Георгий Михайлович Римский-Корсаков, не было возможности отапливать даже часть квартиры. Кроме того, началось переселение жителей Петрограда с рабочих окраин в центральные районы города, сопровождавшееся изъятием жилой площади, насильственным уплотнением. У квартиры на Загородном впереди было «коммунальное будущее». Надежда Николаевна была вынуждена покинуть свою квартиру, распределив обстановку комнат между семьями детей. В начале 1918 года, взяв с собой весь творческий архив Николая Андреевича, она переехала к сыну Андрею Николаевичу на Суворовский проспект. В конце 1918 года декретом наркома просвещения А. В. Луначарского архив композитора был объявлен национализированным и Надежде Николаевне официально было вверено заведование этим собранием.

До переезда к сыну Надежда Николаевна успела разобрать и систематизировать рукописи Николая Андреевича, его нотную библиотеку, афиши, программы, фотографии, ценные подношения, поздравительные адреса, семейные реликвии. В результате сформировалась большая коллекция — основа будущего музея, о котором уже тогда она мечтала.

После смерти Надежды Николаевны в мае 1919 года все собрание оказалось на руках у среднего сына композитора — Андрея Николаевича. Обеспокоенный в годы Гражданской войны и хозяйственной разрухи, царящей в городе, сохранением

национализированной части собрания, Андрей Николаевич добился передачи его в рукописный отдел Публичной библиотеки.

В те годы будущий музей имени Н. А. Римского-Корсакова в мыслях семьи связывался с консерваторией. Ведь именно там хранились существовавшие музейные собрания М. И. Глинки и А. Г. Рубинштейна. К тому же квартира на Загородном проспекте уже была заселена посторонними людьми и использовать ее для создания музея не представлялось возможным. Поэтому в первой половине 1920-х годов значительная часть предметов, относящаяся к жизни и деятельности Николая Андреевича, была передана детьми композитора в консерваторию для организации музея.

К сожалению, большая часть вещей оказалась так и невостребованной. В 1930 году они были переданы из консерватории в музей Ленинградской филармонии. Позже, в связи с включением музея филармонии в систему эрмитажных собраний, экспонаты перешли в фонды Государственного Эрмитажа. Тогда же некоторые экспонаты были переданы в Театральный музей и Русский музей. И везде ценные предметы оседали в закрытых музейных фондах. А часть вещей за ненадобностью Эрмитаж предназначил к прямой распродаже, о чем откровенно предупредил детей Н. А. Римского-Корсакова. Ходатайство Андрея Николаевича в инспекцию Эрмитажа вернуло прежним владельцам и дарителям целый ряд ценнейших предметов. Экспонаты, совершив ряд сложных перемещений, вновь вернулись в семью Римских-Корсаковых.

В 1933 году усилиями Андрея Николаевича в помещении Русского музея была открыта выставка «Н. А. Римский-Корсаков и его эпоха» — к 25-летию со дня смерти композитора. Богатство представленных материалов подтверждало необходимость и возможность создания музея. К сожалению, в Русском музее сохранять эту выставку как постоянную не было возможности. После Андрей Николаевич напишет: «Выводом из изложенной здесь истории не осуществившегося до сих пор Музея им. Римского-Корсакова в глазах его семьи и друзей является тем большая необходимость по горячим следам, пока не поздно, наверстать упущенное... всякая отсрочка в этом направлении может сыграть действительно фатальную роль... представ-

лялось бы всего естественнее приурочить это скромное учреждение территориально к квартире, где Николай Андреевич не только проживал сам ряд последних, творчески особенно оживленных лет своей жизни, но где постоянно сходились и музицировали многие из близких ему представителей Новой русской школы». В те годы в коммунальной квартире на Загородном проспекте проживало 10 семей — 24 человека. Создание музея-квартиры по-прежнему оставалось маловероятным.

Через пять лет, вновь заботами Андрея Николаевича, в Государственном музыкальном научно-исследовательском институте была открыта комната-музей Н. А. Римского-Корсакова. В ней удалось разместить лишь письменный стол, кресло, бюро и рояль, находившийся последнее время в консерваторском классе Николая Андреевича и бывший в полном распоряжении студентов, а также представить в экспозиции адреса, ленты, подарки, портреты из квартиры на Загородном. Владимир Николаевич записал в своем дневнике: «Сегодня в 8-м часу вечера увезли папины вещи: бюро карельской березы, письменный стол (от Андрюши), кресло к столу с подушкой, вышитой Соней, серебряный альбом с портретами учеников и 9 портретов предков. Ко всем этим вещам образовалась такая привычка с самого детства, что как-то грустно их отдавать, хотя бы и в музей. Дело не в том, что эти вещи вообще жалко отдавать... а в том, что организуется этот музей не так, как хотелось, как предполагалось мамой и нами... Ольга Артемьевна (жена Владимира Николаевича. — *H.K.*) сняла и упаковала портреты предков, теперь на их месте зияющая пустота на стене». Незадолго до войны не стало Андрея Николаевича. А с началом Великой Отечественной войны комната-музей была расформирована. Часть вещей осталась в институте, часть была эвакуирована в Свердловск.

Последние годы жизни Андрей Николаевич работал над архивом семьи Римских-Корсаковых, еще не переданным в институт, сохраняя и систематизируя материалы в своей квартире на Суворовском проспекте. В 1942 году от голода в блокадном Ленинграде погибли жена Андрея Николаевича Юлия Лазаревна Вейсберг, в прошлом ученица Николая Андреевича Римского-Корсакова по классу композиции, и сын — талантливый филолог Всеволод Андреевич. Георгий Михайлович Римский-

Корсаков, внук композитора, должен был эвакуироваться с военно-морским факультетом консерватории в феврале 1942 года. Но его, ослабевшего до такой степени, что он уже с трудом мог самостоятельно передвигаться, пришлось поместить в госпиталь. Взволнованный трагической гибелью Юлии Лазаревны и обеспокоенный судьбой архива, Георгий Михайлович настоял на своей выписке. Когда он со своей женой Александрой Алексеевной Римской-Корсаковой добрался пешком с Васильевского острова на Суворовский проспект, то обнаружил в страшном беспорядке рукописи, письма, фотографии. Опустевшая квартира была варварски разграблена. Все было в спешке выброшено из шкафов. Мебель, представлявшая наибольший интерес в холодную блокадную зиму, конечно, была похищена. Чудом уцелевшие документы архива семьи Римских-Корсаковых Георгий Михайлович, сам находящийся на грани жизни и смерти, все же сумел переправить в Институт театра и музыки.

Несмотря на продолжающуюся войну, в 1943 году в Москве была создана комиссия по проведению юбилея — 100-летия со дня рождения композитора. Специальным правительственным постановлением были назначены многочисленные мероприятия поувековечению памяти композитора, в том числе создание музея в тихвинском доме Римских-Корсаковых. Владимир Николаевич Римский-Корсаков, младший сын композитора, с осени 1943 года находился в Москве и принимал участие в работе юбилейной комиссии. Возможно, в одно постановление нельзя было включать вопрос о создании двух музеев одновременно, но пункт об организации музея на Загородном отсутствовал, создание музея в петербургской квартире композитора осталось за рамками юбилейных мероприятий.

Тогда же в семье принимают решение добиваться отдельного постановления о создании музея в Ленинграде. В связи с прогрессирующей потерей слуха, Владимиру Николаевичу становится все труднее вести переговоры. С этого момента к работе подключается внучка композитора — Татьяна Владимировна Римская-Корсакова. Уже летом 1944 года Татьяна Владимировна осматривает квартиру на Загородном проспекте, как архитектор дает заключение о ее состоянии, а Владимир Николаевич снимает копии с планов квартиры. Дом, находя-

щийся во дворе, от бомбёзек и обстрелов почти не пострадал. С калейдоскопической быстротой рассылаются письма в самые высокие инстанции: Председателю Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК СССР Б. М. Храпченко, заместителю Председателя Совета Народных Комиссаров СССР В. М. Молотову, Председателю Совета народных Комиссаров СССР А. А. Косыгину. Даже была намечена предварительная дата открытия музея — 21 июня 1948 года, к 40-летию со дня смерти композитора.

Вернувшись в Ленинград, Владимир Николаевич занялся восстановлением комнаты-музея в Научно-исследовательском институте театра и музыки. Она была открыта в конце 1946 года. Но статуса музея, открытого для посещения, комната не имела, продолжая оставаться пассивным хранилищем музейных ценностей. А роль Владимира Николаевича, который продолжал заботиться об экспонатах, так и не была официально определена. В 1950 году в институте произошла авария. Некоторые ценные экспонаты комнаты-музея: письменный стол, кресло композитора, бюро, портреты предков, поздравительный адрес работы М. А. Врубеля, ленты — сильно пострадали. Даже после ликвидации аварии едкая известь, осыпающаяся с потолка, продолжала уничтожать мемориальные вещи. Это вынудило Владимира Николаевича написать резкое письмо директору института профессору А. В. Оссовскому:

«Я должен поставить перед дирекцией института нижеследующие вопросы. Кто является ответственным хранителем комнаты-музея? По этому вопросу я считаю долгом заметить, что я нигде не числюсь формально ответственным хранителем.

Если за пять лет со времени „открытия“ музея я не отказывался принимать участие в нем, открывать в торжественных случаях и, по возможности, приводить в порядок комнату, а также давать пояснения отдельным случайным лицам, интересовавшимся музеем, и в двух-трех случаях экскурсиям, то все же заведующим музеем я себя не считал, заботился лишь по мере сил, как лицо, которому музей дорог и близок.

Однако быть уборщиком или исполнять роль сторожа в музее я ни по возрасту, ни по положению не могу. Если у института нет средств содержать музей в благопристойном виде, то не лучше ли его вообще свернуть, закрыть, законсервировать?»

Сказанные Владимиром Николаевичем слова оказались, к сожалению, пророческими. При директоре института Ю. В. Келдыше комната-музей была ликвидирована, а музейные экспонаты переданы в архив.

13 декабря 1948 года исполком Ленгорсовета принял решение «организовать в Ленинграде Музей-квартиру Римского-Корсакова в квартире на Загородном проспекте, в доме 28, кв. 39» и открыть его для посещений в 1950 году. Воплотить в жизнь это решение в послевоенном Ленинграде оказалось чрезвычайно сложно. К тому моменту в квартире проживали 16 человек.

Прошло три года, а положение с расселением не менялось. В начале декабря 1951 года члены семьи композитора обратились с письмом к И. В. Сталину с просьбой помочь делу восстановления музея. Трудно поверить, но даже письмо из секретариата Сталина с указанием рассмотреть данный вопрос не помогло найти площадь для переселения жильцов из бывшей квартиры композитора.

Вместо создания музея Ленгорисполком выдвигает собственное предложение по увековечению памяти композитора, вызвавшее немалое удивление у потомков, — присвоить имя Н. А. Римского-Корсакова одной из станций Ленинградского метро.

Пока потомки композитора доказывали необходимость создания музея и запасались поддержкой многих известных музыкантов, 24 декабря 1954 года Ленгорисполком в целях упорядочения дел по созданию музея принимает парадоксальное решение об отмене своего постановления 1948 года по организации музея. Все пришлось начинать с самого начала. Семья Римских-Корсаковых вновь обращается в различные инстанции, но пока у Владимира Николаевича лишь увеличивается папка с копиями отправленных писем.

Весной 1960 года вопрос о музее в квартире Н. А. Римского-Корсакова был вновь поднят художником М. М. Успенским в его обращении к Е. А. Фурцевой накануне ее назначения министром культуры СССР: «Квартира цела, в этом я убедился по своей работе над реконструкцией кабинета в макете. Счастье еще в том, что живы и сын Николая Андреевича, и его дочь. Совершенно непонятно отношение Министерства культуры

к этому вопросу... Мне недавно попалась газетная заметка о восстановлении чеховской усадьбы в Мелихово, где был выстроен заново дом, воспроизводящий старый, разобранный несколько десятков лет назад. Неужели восстановить хотя бы две комнаты в существующем помещении подлинными вещами кажется кому-то делом более сложным».

Владимир Николаевич и Надежда Николаевна Штейнберг, младшая дочь композитора, одно из обращений к властям заканчивают так: «В организации музея мы приняли бы самое непосредственное участие и, являясь последними членами семьи композитора, помогли бы воссоздать облик квартиры во всех деталях, пока у нас еще есть силы. Наш возраст — 83 и 81 год». София Николаевна, старшая дочь композитора, умерла от голода еще в 1943 году, не пережив блокаду, а старшего сына, Михаила Николаевича, не стало в 1951 году.

В апреле 1967 года Владимир Николаевич получает письмо, перечеркнувшее многолетние хлопоты по созданию музея: «Министерство культуры РСФСР не считает целесообразным создание в г. Ленинграде мемориального музея в квартире Н. А. Римского-Корсакова в связи с тем, что в настоящее время в Плюсском районе Псковской области (в бывшей усадьбе, где жил и умер великий композитор) создается Государственный музей-заповедник Н. А. Римского-Корсакова».

Для того чтобы мечта о создании музея начала приобретать реальные очертания, потребовалось более 50 лет неустанных усилий трех поколений членов семьи Римских-Корсаковых.

В сентябре 1967 года Ленгорисполком принимает долгожданное и вместе с тем совершенно неожиданное в связи с предыдущим решение о создании в 1969 году Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова, который должен был стать филиалом Театрального музея. Неожиданным это решение было не только для потомков композитора, которые считали логичным передать музей в ведение Института театра, музыки и кинематографии, но и для дирекции Театрального музея.

К 125-летию со дня рождения композитора музей открыть не удалось. В начале 1969 года еще даже не началось переселение жильцов. Инна Карловна Клих, директор Театрального музея, сообщила Владимиру Николаевичу, взволнованному бездействием и промедлением, неутешительные новости:

обследование дома выявило необходимость комплексного капитального ремонта всего дома. Внучку композитора Ирину Владимировну Головкину, которая жила в квартире № 48 того же дома, ожидало переселение. А у нее находилась значительная часть обстановки квартиры Н. А. Римского-Корсакова.

Важно было при капитальном ремонте дома и реставрации квартиры не утратить сохранившиеся детали: угловые изразцовые печи, изящной формы мраморный камин, высокие двусторчатые двери, оконные переплеты с медными ручками и задвижками. Владимир Николаевич даже позаботился о том, чтобы определить рисунок и цвет обоев по подлинным образцам, обнаруженным под более поздними слоями оклейки стен.

Так завершилась невероятно сложная, порой парадоксальная предыстория музея-квартиры. Предыстория столь долгая, что ни Надежде Николаевне Штейнберг, ни Владимиру Николаевичу Римскому-Корсакову, приложившему все свои силы и энергию для создания музея, не суждено было дожить до дня открытия.

Более 250 предметов, бережно хранившихся потомками композитора, были переданы музею. Все вещи из кабинета, передней, гостиной и столовой вернулись на свои прежние места. Владимир Николаевич успел подготовить важнейший документ — перечень предметов обстановки и вещей, с точной фиксацией расположения этих предметов в комнатах квартиры на Загородном проспекте при жизни композитора. Указал Владимир Николаевич наличие (или отсутствие и необходимость восстановления) этих предметов, уточнил, у кого из детей и внуков они хранятся.

Обстановка прихожей, частично гостиной, буфет из столовой находились у Ирины Владимировны Головкиной, внучки композитора по линии старшей дочери — Софии Николаевны. Гобеленовый гарнитур из кабинета — у Ольги Михайловны Римской-Корсаковой. От своего отца Михаила Николаевича она унаследовала портреты Стасова, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского и Кюи с автографами. Надежда Максимилиановна Штейнберг передала нотный шкаф, диван из столовой, детский фарфоровый сервис, когда-то принадлежавший ее матери — Надежде Николаевне, младшей дочери композитора. Значительная часть вещей, в том числе столовое серебро,

семейная икона, ковер ручной работы, поступила от Татьяны Владимировны Римской-Корсаковой. Вернулись экспонаты из Института театра, музыки и кинематографии, тихвинского Дома-музея, Русского музея, Ленинградской консерватории. В полноте и подлинности интерьеров мемориальных комнат и заключается особая ценность музея.

Над созданием музея-квартиры с полной отдачей и увлеченностью работали заместитель директора Театрального музея по научной работе Г. З. Мордисон, научные сотрудники З. А. Тури и З. П. Павлова, художник экспозиции Г. Г. Коган, открывала музей И. К. Клих.

Поразительна энергия, настойчивость, с которой Владимир Николаевич, а позже и Татьяна Владимировна добивались точности сохранения всего, что связано с именем Н. А. Римского-Корсакова. Еще в 1973 году Татьяна Владимировна указала на некоторые погрешности при восстановлении интерьеров мемориальных комнат. Портрет Николая Петровича Римского-Корсакова, дяди композитора, не сумевшего пережить смерть жены и трагически ушедшего из жизни, был всегда обособлен от всех других портретов. А при восстановлении столовой этот портрет был неверно размещен над группой овальных портретов предков композитора. Через 30 лет, воспользовавшись ремонтом музея, Татьяна Владимировна настояла на изменениях в ставшей уже привычной экспозиции. Проконтролировать верное размещение портретов она приехала лично. А ведь ей было уже почти 90 лет! Удивительно было наблюдать, как в этом возрасте она работала за компьютером, писала статьи, письма, работала над семейной хроникой, которая, возможно, могла стать следующей книгой. Уже после открытия музея Татьяна Владимировна продолжала пополнять музейную коллекцию, преподнося в дар ценные материалы, редкие фотографии, архив своего отца Владимира Николаевича. В выступлениях на ежегодных музыкальных вечерах, посвященных дню рождения композитора, Татьяна Владимировна щедро делилась со слушателями воспоминаниями, семейными материалами, неопубликованными и неизвестными фактами. Последнее выступление состоялось в 2004 году — в год 160-летия со дня рождения композитора. В нем, как и во всех предыдущих, были интереснейшие штрихи к летописи жизни великого композитора, было

то, что невозможно прочитать ни в одном музыковедческом исследовании, то, что знают и хранят лишь потомки композитора, передавая семейные рассказы из уст в уста.

В удивительной семье Римских-Корсаковых существует неразрывная связь и преемственность поколений. Дети композитора, а затем и внуки считали, что они могут и обязаны восстановить в памяти и точно зафиксировать все, что связано с жизнью и творчеством Николая Андреевича Римского-Корсакова. Существование Мемориального музея-квартиры, на сегодняшний день по-прежнему являющегося единственным композиторским музеем Санкт-Петербурга, лучшее тому подтверждение.

Н. В. Костенко

*Мемориальный музей-квартира
Николая Андреевича
Римского-Корсакова
в Санкт-Петербурге*





Надежда Николаевна Римская-Корсакова



Николай Андреевич Римский-Корсаков.
1882 г.



Дети Надежды Николаевны
и Николая Андреевича
Римских-Корсаковых. 1900 г.
Слева направо: Андрей, Владимир,
Надежда, София, Михаил



Андрей Николаевич
Римский-Корсаков



Михаил Николаевич
Римский-Корсаков



Владимир Николаевич
Римский-Корсаков



Надежда Николаевна
Римская-Корсакова



София Николаевна
Римская-Корсакова



Владимир Николаевич и Андрей Николаевич Римские-Корсаковы в гостиной квартиры на Загородном проспекте



Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова. Гостиная.
Современный вид



В гостиной у Римских-Корсаковых.

Слева направо: И. Ф. Стравинский, Н. А. Римский-Корсаков, Н. Н. Римская-Корсакова (дочь), М. О. Штейнберг, Е. Г. Стравинская

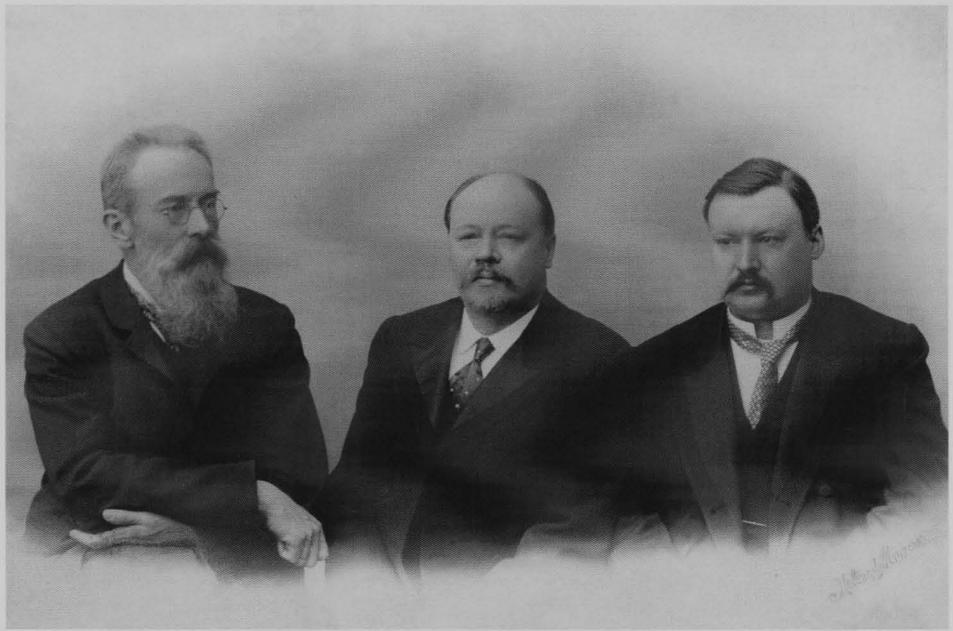


Н. А. Римский-Корсаков с учениками. 1899 г.

Слева направо: И. И. Крыжановский, В. П. Калафати, Н. Н. Черепнин, Ф. С. Акименко, В. А. Золотарев



Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова.
Кабинет. Современный вид



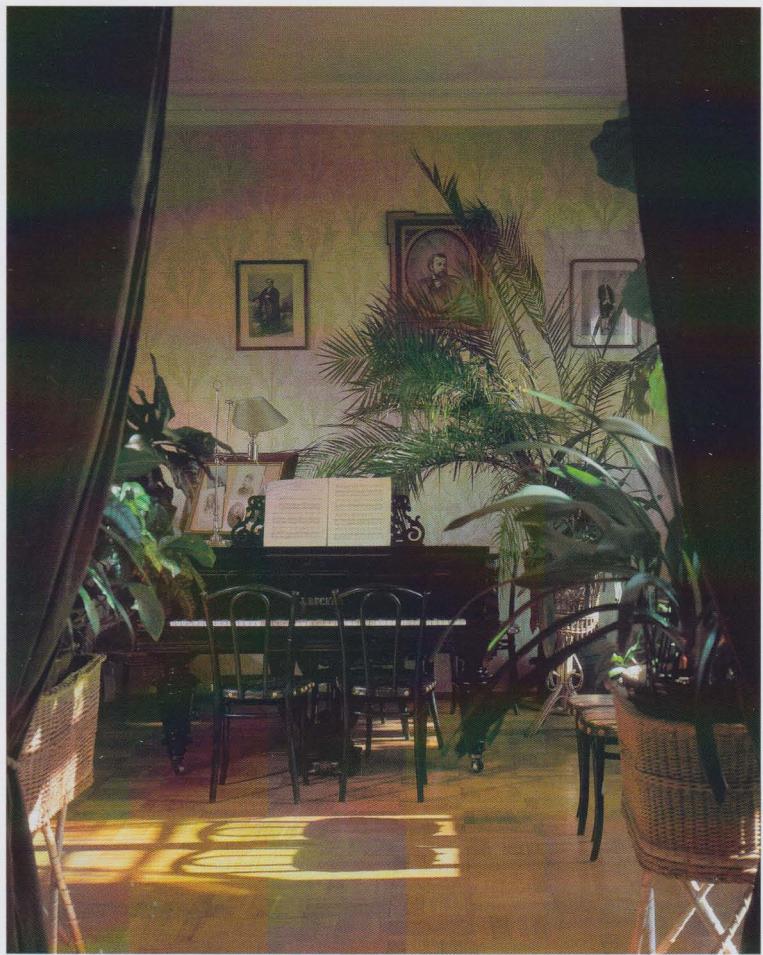
Николай Андреевич Римский-Корсаков,
Анатолий Константинович Лядов,
Александр Константинович Глазунов



Н. А. Римский-Корсаков
в группе русских музыкантов
на встрече с К. Сен-Сансом



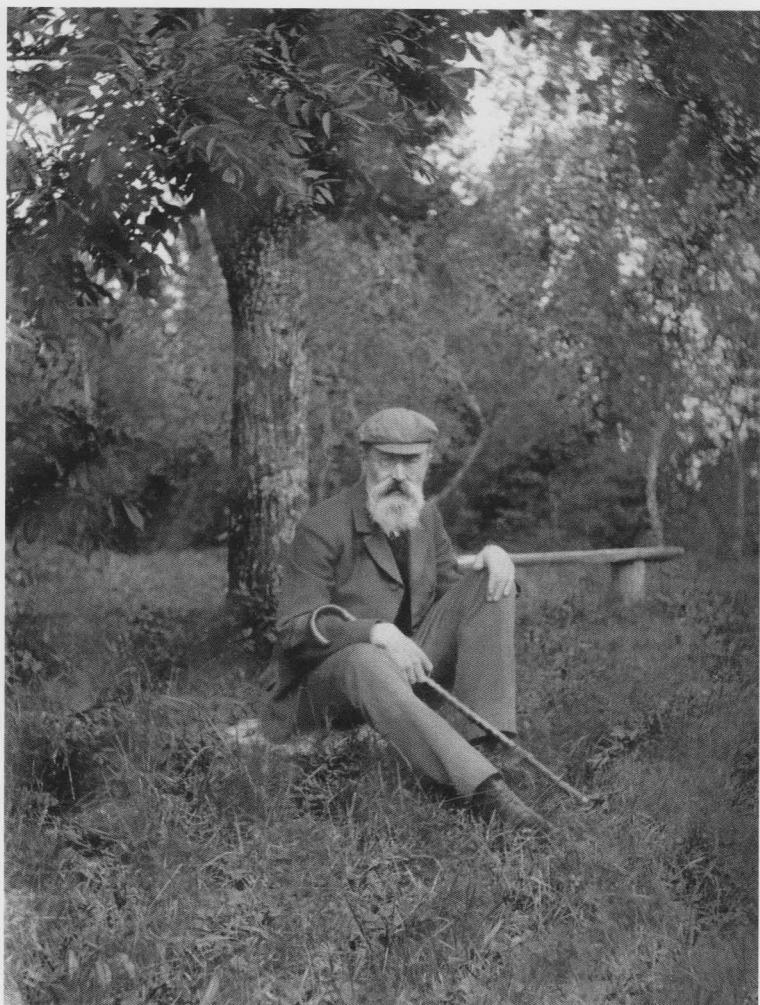
Н. А. Римский-Корсаков в группе педагогов
и учеников Придворной певческой капеллы.
Сидят слева направо: А. И. Пузыревский,
М. Р. Щиглев, А. К. Лядов, Н. А. Римский-Корсаков,
А. А. Копылов, Е. С. Азеев



Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова.
Гостиная. Современный вид



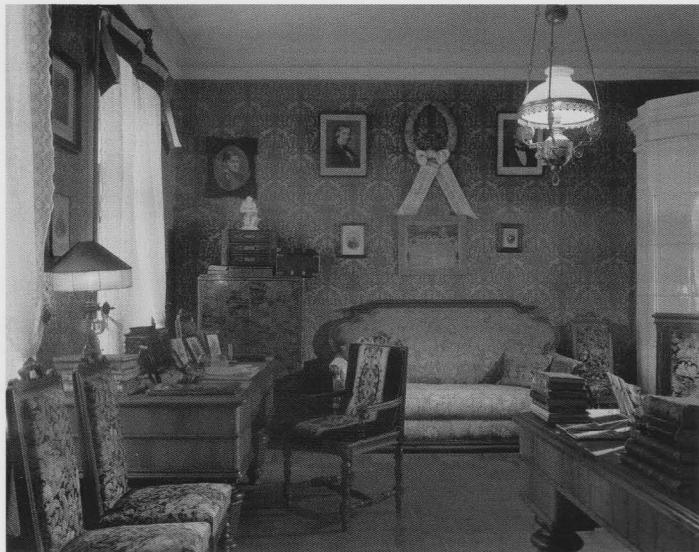
Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова.
Гостиная. Современный вид



Николай Андреевич Римский-Корсаков
в парке Вечаши. 1904 г.



Анатолий Константинович Лядов
и Николай Андреевич
Римский-Корсаков в кабинете квартиры
на Загородном проспекте.
Последняя фотография Николая Андреевича.
Апрель 1908 г.



Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова. Кабинет.
Современный вид



Андрей Николаевич Римский-Корсаков,
Владимир Николаевич Римский-Корсаков,
Игорь Федорович Стравинский



Игорь Федорович Стравинский
и Владимир Николаевич
Римский-Корсаков. 1962 г.



Владимир Николаевич Римский-Корсаков.
1953 г.



Андрей Николаевич Римский-Корсаков



Татьяна Владимировна Римская-Корсакова



Мемориальный музей-квартира
Н. А. Римского-Корсакова. Столовая.
Современный вид



Торжественное открытие Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова на Загородном пр., д. 28.

27 декабря 1971 г.



Мемориальный музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова.
Март 1986 г.

Вечер, посвященный 142-летию со дня рождения композитора.
Слева направо: Елена Михайловна Римская-Корсакова,
Татьяна Владимировна Римская-Корсакова,
Надежда Максимилиановна Штейнберг,
Ольга Михайловна Римская-Корсакова

СОДЕРЖАНИЕ

B. C. Фиалковский. Предисловие 5

Первая часть

I. В СЕМЬЕ	8
II. В МОРСКОМ КОРПУСЕ	22
III. В ДАЛЬНЕМ ПОХОДЕ	63
IV. ВОЗВРАЩЕНИЕ	105

Вторая часть

I. ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ	116
II. СЕРЕДИНА ПУТИ	142
III. НА НОВОМ ЭТАПЕ	184
IV. ПОДВОДЯ ИТОГИ	208

H. B. Костенко. Послесловие 239

Р 51 **Н. А. Римский-Корсаков:** Из семейной переписки / Ред.-сост. В. С. Фиалковский. — СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2008. — 248 с., [24] л. цв. ил.

ISBN 978-5-91461-005-7

ISBN 978-5-7379-0413-5

Настоящее издание основано на двух книгах о Н. А. Римском-Корсакове, написанных его внучкой Татьяной Владимировной Римской-Корсаковой. Цель данной книги — изложить жизненный и творческий путь Николая Андреевича его собственной прямой речью. Биография, рассказанная в письмах, — это фактически жизнь, изложенная самим композитором, его родителями, женой, детьми, друзьями. В этом заключается ценность данного издания. Книга дополнена статьей о создании Мемориального музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге и иллюстрациями из собрания ГУ СПБГМТиМИ.

ББК 85.313(2)1

Н. А. Римский-Корсаков *Из семейной переписки*

По книгам Татьяны Владимировны Римской-Корсаковой
«Детство и юность Н. А. Римского-Корсакова»,
«Н. А. Римский-Корсаков в семье»

Художественный редактор *Т. И. Кий*. Корректор *И. М. Плестакова*.
Сканирование иллюстраций *Е. В. Ампелогова*. Набор текста *М. Ю. Поповой*.
Макет *А. А. Красивенковой*.

Формат 70x100^{1/16}. Бум. офс. Гарн. Garamond.
Печ. л. 15,5 + 1,5 л. вкл. Уч.-изд. л. 16,0 + 1,7 л. вкл. Заказ № 45/1. Тираж 1000 экз.

Издательство «Композитор • Санкт-Петербург»,
190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45
Тел./факс: 7 (812) 314-50-54, 312-04-97
E-mail: sales@compozitor.spb.ru Internet: www:compozitor.spb.ru

Филиал издательства нотный магазин «Северная лира»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 26
Тел./факс: 7 (812) 312-07-96 E-mail: scverlira@mail.ru

Совместно с ГУ СПБГМТиМИ
191023, Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6
Тел.: 7 (812) 315-52-43 Факс: 7 (812) 314-77-46
E-mail: theatremuseum@peterlink.ru Web-site: www.theatremuseum.ru

ООО «Типография „НП-Принт“»
193019, Санкт-Петербург, наб. Обводного кан., д. 14
Тел./факс: (812) 325-22-97